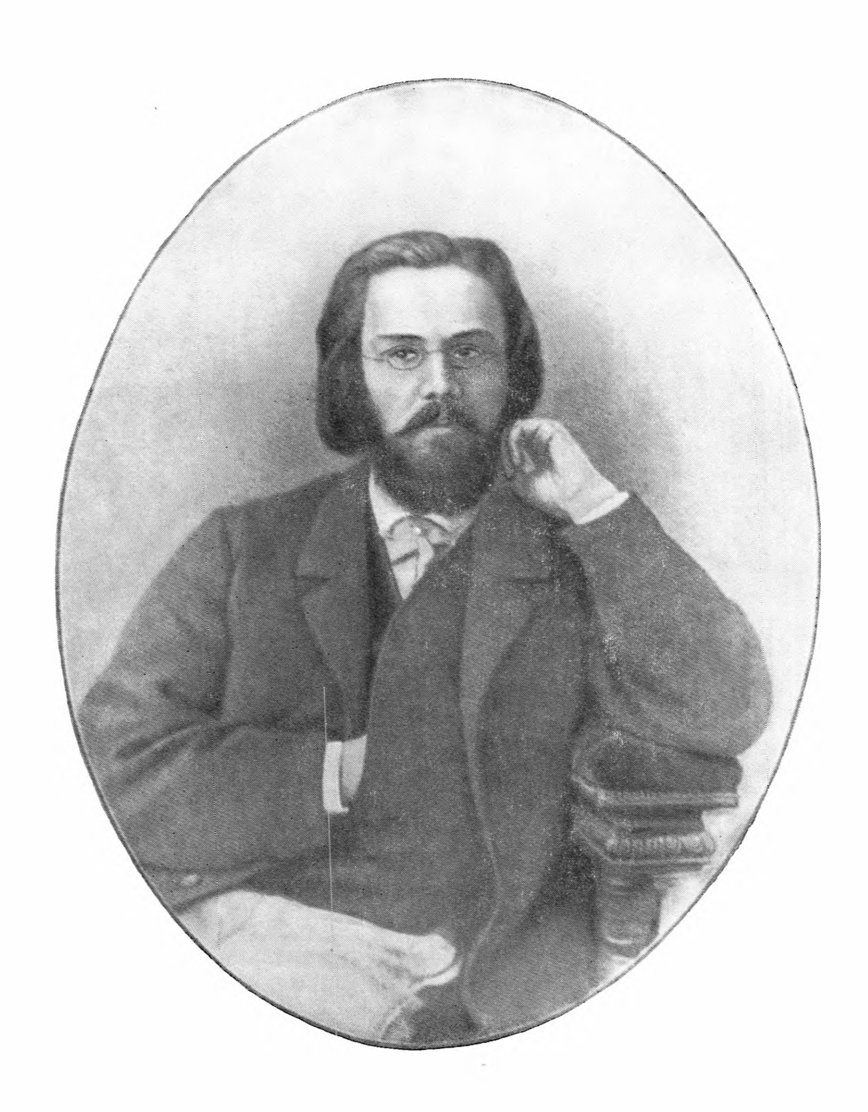


В.А. СЛЕПЦОВ





В. Слепцовъ

В. А. СЛЕПЦОВ

Проза

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1986

Р1
С47

Тексты печатаются по изданию:
Слепцов В. А. Сочинения в двух томах.
М., Гослитиздат, 1957.

Составление, вступительная статья и примечания
Н. И. Якушина

Художник **Н. И. Крылов**

Слепцов В. А.
С47 Проза/Сост., вступ. ст. и примеч. Н. И. Якушина.— М.: Сов. Россия, 1986.— 336 с., 1 л. портр.

Имя писателя-демократа, публициста и общественного деятеля Василия Алексеевича Слепцова (1836—1878) было широко известно и пользовалось большим уважением у передового русского читателя середины прошлого века. О его творчестве с одобрением отзывались Некрасов и Салтыков-Щедрин, Тургенев и Писарев, Л. Толстой и Горький.

В настоящий однотомник включены избранные рассказы писателя, цикл очерков «Письма об Осташкове» — блестящее художественно-публицистическое и социологическое исследование, а также основное прозаическое произведение Слепцова — повесть «Трудное время»

С $\frac{4702010100-192}{М-105(03)86}$ 100—86 Р1

«КРУПНЫЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

В один из весенних дней 1853 года домовая церковь Пензенского дворянского института по случаю большого праздника была переполнена. Помимо учеников, стройными рядами выстроившихся вдоль церкви, на торжественном богослужении присутствовали институтское начальство, преподаватели и много гостей. Обедня подходила к концу. Церковный хор, изредка прерываемый дребезжащим тенорком священника и рокочущим басом дьякона, звучал слаженно и чинно. И в тот момент, когда после небольшой паузы хор торжественно грянул «Верую во единого бога», один из прислуживавших в алтаре учеников, высокий черноволосый юноша с матово-бледным лицом, сделал несколько шагов по амвону, отворил царские врата и вошел в алтарь. Все присутствовавшие на какой-то момент замерли, а потом по церкви прокатился глухой ропот возмущения: ведь в царские врата могли входить только священнослужители. И нарушение этого правила почиталось величайшим святотатством.

В алтаре между тем послышался глухой стон и звук падающего тела. Через несколько минут из бокового предела вынесли возмутителя спокойствия — он был без сознания.

Совершил этот «неслыханный» поступок один из самых прилежных и набожных воспитанников института Василий Слепцов, имя которого в скором времени станет известным всей образованной России.

Едва Слепцов пришел в себя, возмущенный директор института потребовал от него объяснений. И то, что он услышал, привело его в неописуемую ярость:

— Я хотел испытать, что будет,— страдальчески нахмурив брови, слабым, еле слышным голосом проговорил виновник переполоха.— Я ведь, входя, сказал: *не верую!* Я хотел видеть, допустит ли это и накажет ли меня за это бог. Если он есть, он ведь непременно должен был наказать меня, потому что тогда я сделал грех и, пожалуй, даже большой грех. Но вот я, видите ли... я сомневаюсь... Я ведь давно сомневаюсь, вот в чем дело,— закончил он и устало закрыл глаза.

Подобное объяснение лишь усугубляло вину Слепцова, так как свидетельствовало об отсутствии у него религиозных чувств, обнаруживало склонность к атеизму и даже вольнодумство. И возмездие последовало незамедлительно — беспокойный ученик был без особого шума исключен из института, поскольку предавать широкой огласке случившееся было не в интересах начальства[1].

Это был первый, но далеко не последний решительный поступок будущего активного участника демократического движения 1860-х годов и одного

[1] Эту историю рассказала Л. Ф. Нелидова в своем неопубликованном романе о В. А. Слепцове «На малой земле», хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ, фонд 331, оп. 1, ед. хр. 12).

из самых талантливых и самобытных писателей-демократов Василия Алексеевича Слепцова.

О раннем периоде жизни Слепцова сохранилось очень мало сведений. Известно, что происходил он из старинного дворянского рода и родился 17 июля 1836 года в Воронеже, где в то время квартировал полк, в котором служил его отец. Через год семья Слепцовых переехала в Москву и поселилась в доме родителей отца.

Неласково встретили старики Слепцовы семейство сына. Дело в том, что во время польской кампании 1831 года он вопреки воле родителей женился на генеральской дочери Жозэфине Адамовне Вельбутович-Паплонской, которая, с их точки зрения, имела массу недостатков: была бесприданница, некрасива, плохо говорила по-русски и самое ужасное — была католичкой.

Маленький Слепцов воспитывался в атмосфере откровенной вражды и ненависти, и это не могло не оказать влияния на его характер. Он рос замкнутым и очень впечатлительным ребенком. В нем рано проявились редкая наблюдательность и склонность к осмыслению увиденного. Все это способствовало раннему развитию мальчика. По свидетельству матери, он к трем годам научился читать и с этого времени нередко целые дни проводил в библиотеке деда.

Когда Слепцов подрос, его определили в Первую московскую гимназию. А после того как в 1849 году его семья переехала в небольшое имение в Саратовской губернии, которое отец получил в наследство, мальчика отдали в Пензенский дворянский институт.

Учился Слепцов хорошо, но с товарищами сходился трудно и неохотно: мешали замкнутость и нелюдимость, которые с годами не только не исчезли, а, наоборот, усилились. Скованность и застенчивость всегда мешали ему и позднее нередко давали окружающим повод для весьма превратного представления о его личности. И действительно, при первом знакомстве Слепцов производил впечатление человека холодного и высокомерного, играющего какую-то роль. Но вот как писала о нем его близкая знакомая А. Г. Маркелова: «Едва ли он когда рисовался; в нем не было притворства, не было ничего напускного, а некоторая натянутость и как будто рассчитанность манер происходили у него всего скорее от застенчивости»[1].

Годы, проведенные в стенах Пензенского дворянского института, были для Слепцова временем напряженных духовных исканий. Одно время он пытался найти опору в религии. Нельзя не отметить, что и в юности, и в зрелом возрасте Слепцов никогда и ничего не делал вполовину, нигде и ни в чем не искал середины. Если он верил, то верил беспредельно. Если что-то отвергал, то не шел ни на какие компромиссы и отвергал страстно и до конца. Эта особенность характера Слепцова проявилась уже в институте. Уверовав

[1] Лит. наследство, т. 71. М., 1963, с. 446.

в бога, он сделался не просто набожным. Его вера доходила до религиозного фанатизма: он изнурял себя постами, голодал, носил на голом теле самодельные вериги — ржавые цепи. Но все это не приносило удовлетворения и успокоения. Что-то постоянно тревожило и мучило юношу. Его одолевали сомнения. Вот он и решил проверить, а есть ли бог? Как он это сделал и что из этого вышло, мы уже знаем.

Осенью 1853 года Слепцов самостоятельно подготовился и поступил на медицинский факультет Московского университета, но очень скоро понял, что медицина — не та наука, которая может ответить на волновавшие его вопросы. Всего один год пробыл он в стенах университета, но это время не прошло для Слепцова бесследно. Именно в университете начали складываться демократические убеждения будущего писателя. Этому в немалой степени способствовала общественно-политическая обстановка в стране. Начавшаяся весной 1854 года Крымская война вызвала резкое недовольство прогрессивно настроенной части русского общества, где нередко раздавались голоса, осуждавшие внешнюю и внутреннюю политику самодержавия. Кое-где, пока еще очень робко, стали обсуждаться проекты переустройства русской действительности. Слепцов внимательно присматривался ко всему происходящему вокруг и настойчиво искал свое место в жизни, свое настоящее дело.

Оставив университет, Слепцов в течение почти целого сезона 1854/55 года играл ведущие роли на сцене ярославского театра. Однако профессиональным актером он не стал и вернулся в Москву. О жизни Слепцова во второй половине 1850-х годов почти ничего неизвестно, кроме того, что с 1857 по 1862 год он состоял на службе в канцелярии московского гражданского губернатора и был частым посетителем модного тогда в Москве литературного салона либерально настроенной писательницы Е. В. Салиас де Турнемир, выступавшей под псевдонимом «Евг. Тур». Особенно сблизился Слепцов с ее сыном Евгением, активным участником студенческого движения начала 60-х годов, среди друзей которого были известные революционеры П. Э. Аргиропуло, В. И. Кельсиев и др. Общение с ними, а также участие в студенческих сходках и демонстрациях оказали серьезное влияние на формирование мировоззрения Слепцова.

К этому времени относятся два очень важных события в жизни Слепцова. Летом 1860 года он передал брату свою часть имения, доставшуюся ему после смерти отца, и отныне стал добывать средства к жизни только собственным трудом. Слепцов порывает со своим классом и по своим убеждениям и положению становится типичным разночинцем. Осенью того же года по предложению этнографического общества он отправился в Подмосковье собирать произведения устного народного творчества и записывать народные обряды и обычаи. Слепцов шел по знаменитой Владимирке, по проселочным дорогам, посещал заводы и фабрики, встречавшиеся на пути, знакомился с жизнью крестьян, фабричных рабочих, строителей Московско-Нижегородской железной дороги. И то, что увидел Слепцов, настолько поразило его,

что он и думать забыл о песнях и сказках, всерьез занявшись изучением социальных и экономических процессов, происходивших в стране накануне отмены крепостного права. Его глазам предстала ужасающая картина бесчеловечной эксплуатации рабочих на фабриках, беззастенчивого грабежа подрядчиками строителей железной дороги, социальное расслоение деревни, начавшееся еще до отмены крепостного права. Обо всем увиденном Слепцов рассказал в цикле очерков «Владимирка и Клязьма», опубликованном в 1861 году на страницах газет «Московский вестник» и «Русская речь».

Уже в этом произведении проявился самобытный писательский талант Слепцова. Но самое главное — он, наконец, почувствовал, что нашел свое настоящее «дело», и с этого времени навсегда связал свою судьбу с русской литературой.

Поздней осенью 1861 года Слепцов поехал в уездный город Осташков. Результатом поездки явился цикл очерков «Письма об Осташкове». Свое новое произведение писатель предложил журналу «Современник», где оно и было напечатано в 1862—1863 гг. Одновременно в разных журналах начали появляться мастерски написанные рассказы Слепцова: «На железной дороге», «Вечер», «Спевка», «Сцены в больнице», «Питомка», «Ночлег» и другие.

В 1862 году Слепцов переехал в Петербург и близко познакомился с Н. А. Некрасовым и Н. Г. Чернышевским. Это стало поворотным моментом всей его жизни. Один из крупнейших исследователей творчества Слепцова К. И. Чуковский совершенно справедливо отметил, что идейные позиции писателя, «его социально-политические воззрения определились теперь с полной ясностью. То были позиции и воззрения революционного демократа и социалиста, те самые, на которых стоял «Современник» шестидесятых годов, когда журналом руководил Чернышевский».[1]

Обстановка в стране между тем обострялась. Мощный общественный подъем конца 1850-х годов и революционная ситуация, сложившаяся в 1859—1861 гг., сменились периодом глухой реакции. В июне 1862 года на восемь месяцев были закрыты революционно-демократические журналы «Современник» и «Русское слово». Вслед за этим были арестованы Н. Г. Чернышевский, Н. А. Серно-Соловьевич и другие революционеры.

В этих сложных условиях Слепцов развил бурную общественную деятельность. Он принимал активное участие в организации благотворительных литературных и музыкальных вечеров, в пользу нуждающихся студентов, хлопотал об устройстве переплетных мастерских, переводческих артелей, призванных дать заработок женщинам, решившим жить самостоятельным трудом, читал в больших и малых аудиториях лекции и свои произведения. А чтец он был великолепный. «Трудно представить что-нибудь лучше его

---

[1] Чуковский К. И. Литературная судьба Василия Слепцова.— В кн.: Лит. наследство, т. 71, с. 10.

чтения,— вспоминал хорошо знавший Слепцова В. И Танеев,— простота, изящество, одушевление, умение подражать голосу женщин и притом без всякой театральности, без всякой аффектации»[1]. Одновременно Слепцов активно сотрудничал в «Современнике», печатался в радикальной газете «Очерки», в сатирическом журнале «Искра», в котором поместил цикл публицистических статей «Провинциальная хроника».

Имя Слепцова становится широко известным. Тот же В. И. Танеев писал, что Слепцов «сделался одним из самых видных людей в Петербурге» и что «на него возлагались молодежью огромные надежды»[2]. Все привлекало в нем: острый и глубокий ум, широкая образованность, организационные способности и талант писателя, а также умение увлекать и вести за собой людей. К тому же Слепцов владел множеством разных ремесел, хорошо играл на скрипке и гармонии. О себе Слепцов писал: вот «некоторые из моих многосторонних способностей и разнообразных занятий, напр<имер>: слесарь, столяр, портной, механик, лепщик, рисовальщик, маляр...»[3] И он действительно все умел делать и делал превосходно. «До чего ни дотрагивалась его художественная рука, всему он умел придавать изящный вид»[4],— вспоминал критик А. М. Скабичевский. Ко всему прочему, и наружность Слепцова была весьма примечательна. По словам А. Я. Панаевой, «у него были великолепные черные волосы, небольшая борода, тонкие и правильные черты лица: когда он улыбался, то видны были необыкновенной белизны зубы... Он был высок, строен и одевался скромно, но тщательно»[5].

Летом 1863 года, вскоре после публикации романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», в Петербурге стали возникать коммуны и артели, подобные той, о которой говорилось в произведении. Одним из первых за создание такой коммуны взялся Слепцов и организовал известную «Знаменскую коммуну», в которой объединилась для совместного проживания, образования и артельного труда группа демократически настроенной молодежи. В коммуне устраивались вечера, на которых читались лекции, выступали писатели и артисты. Среди гостей можно было встретить известных ученых, общественных деятелей, литераторов. Там бывали писатели Н. В. Успенский, А. И. Левитов, поэт Д. Д. Минаев, профессора Н. М. Сеченов, Н. И. Хлебников, А. Н. Энгельгардт и другие.

Общественная деятельность Слепцова привлекла пристальное внимание правительственных органов. В отзыве канцелярии С. Петербургского обер-полицмейстера о нем говорилось: «Крайний социалист. Сочувствует всему антиправительственному».

За коммуной, возглавляемой Слепцовым, был установлен тайный полицейский надзор. Под видом «сочувствующих» там стали бывать агенты

---

[1] Лит. наследство, т. 71, с. 522.

[2] Там же.

[3] Цит. по кн.: Чуковский К. И. Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934, с. 298.

[4] Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.—Л., 1924, с. 230.

[5] Панаева А. Я. (Головачева). Воспоминания, М., 1956, с. 329.

III Отделения. Просуществовав около десяти месяцев, коммуна была распущена. Как отмечалось в «Записке III Отделения о коммуне Слепцова»: «Коммуна уничтожилась вследствие того, что члены ее узнали, что за ними наблюдают»[1].

В 1865 году в журнале «Современник» было напечатано самое большое и зрелое произведение Слепцова — повесть «Трудное время», посвященное событиям общественно-политической жизни России середины 1860-х годов.

После покушения студента Д. В. Каракозова на Александра II 4 апреля 1866 года в столице начались повальные обыски. Среди арестованных было немало известных литераторов (Г. Е. Благосветлов, Г. З. Елисеев, братья В. С. и Н. С. Курочкины, Д. Д. Минаев и др.). В числе других был арестован и Слепцов, которому припомнили и его «сомнительные» знакомства с людьми, близко знавшими Каракозова, и его общественную деятельность и, конечно же, Знаменскую коммуну.

На допросах в Следственной комиссии Слепцов вел себя очень осторожно и старался называть как можно меньше имен. А если и называл, то только тех, кто не был скомпрометирован в глазах правительства.

Почти семь недель провел Слепцов под арестом. Его содержали в грязной и душной камере, кишевшей клопами, не разрешали иметь ни книг, ни бумаги, кормили впроголодь. И только после настойчивых хлопот Ж. А. Слепцовой, матери писателя, и вмешательства влиятельных родственников его выпустили на поруки «с учреждением за ним полицейского надзора»[2].

Тюремное заключение не прошло для Слепцова бесследно. Как писала позднее мать писателя, «отдали мне его на поруки, больного, с опухшими ногами, оглохшего, исхудалого; вот арест-то его и свел в преждевременную могилу»[3]. И без того слабое здоровье писателя было окончательно подорвано и уже не восстановилось. Слепцов часто и подолгу болел, ездил лечиться на курорты, обращался к знаменитым врачам. На какое-то время ему становилось лучше, а затем снова наступало ухудшение.

Однако после выхода из тюрьмы Слепцов с прежним энтузиазмом принялся за работу. Он принимал деятельное участие в организации журнала «Женский вестник», где опубликовал цикл статей «Новости петербургской жизни»; некоторое время работал в качестве секретаря редакции в журнале «Отечественные записки», который с 1868 года начал выходить под редакцией Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и Г. З. Елисеева; начал писать новый роман «Хороший человек», посвященный духовным исканиям молодого дворянина, который в конце концов пришел к мысли о необходимости сблизиться с народом и служить ему. К сожалению, роман не был завершен. Несколько глав, напечатанных в «Отечественных записках» (1871), были встречены читателями довольно сдержанно.

Летом 1875 года Слепцов познакомился с начинающей писательницей

---

[1] Лит. наследство, т. 71, с. 453.
[2] Там же, с. 471.
[3] Там же, с. 472.

Лидией Филипповной Ламовской (писавшей под псевдонимом «Л. Нелидова»), живой и обаятельной женщиной. Вскоре она стала его гражданской женой и во многом скрасила последние три года жизни к тому времени уже безнадежно больного писателя. Она предпринимала поистине героические усилия, чтобы спасти мужа, искала средства для лечения, трогательно ухаживала за ним, хлопотала о его делах.

До конца своих дней Слепцов оставался человеком с ярко выраженным общественным темпераментом. Едва болезнь немного отступала, он с жаром брался за какое-нибудь дело: ставил любительские спектакли, пытался создать труппу для народного театра, выступал с чтением своих произведений.

Слепцов живо интересовался всем, что происходило в стране и за ее рубежами. Он внимательно следил за начавшимся «хождением в народ», за процессом над Верой Засулич, стрелявшей в петербургского генерал-губернатора, за успехами русских войск, боровшихся за освобождение Болгарии, и другими событиями.

До последних минут Слепцов не терял надежды на выздоровление и постоянно говорил: «Только бы встать, а там писать, писать! Все хорошо!.. Какое время мы переживаем!»

Но болезнь прогрессировала. Не только писать, но и встать с постели с каждым днем становилось все труднее. А то, что все-таки удавалось написать, Слепцова не удовлетворяло: «Все не то, не то! — говорил он.— Если писать, так писать что-нибудь настоящее, такое, чтобы неизбежно органически вызывалось бы из данного положения вещей, воспроизводило бы его и, таким образом, выясняло его. Чтобы каждый, прочитавши, сказал: да, это так, это верно и это непременно необходимо должно быть написано. А иначе не стоит...»[1]

В начале 1878 года Слепцов приехал в город Сердобск Саратовской губернии, где жила его мать. Там он и скончался 23 мая 1878 года, немного не дожив до 42 лет.

Свои первые произведения Слепцов опубликовал в период бурного расцвета русской реалистической литературы, когда публика зачитывалась повестями и романами И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, И. А. Гончарова, когда в печати впервые появились имена писателей-демократов Н. В. Успенского и Н. Г. Помяловского. Но в кругу этих замечательных художников слова имя Слепцова не только не затерялось, но и выдвинулось на одно из первых мест. Он пришел в литературу со своими темами, со своим взглядом на окружающий мир и сразу заставил говорить о себе как о талантливом и самобытном писателе.

Творчество Слепцова формировалось под воздействием идейных и эстетических принципов революционных демократов В. Г. Белинского, Н. Г. Чер-

---

[1] Лит. наследство, т. 71, с. 493.

нышевского и Н. А. Добролюбова, в основе которых лежало требование пристально изучать жизнь народа и воспроизводить ее без прикрас. Этим принципам Слепцов следовал уже при создании первого своего произведения, цикла очерков «Владимирка и Клязьма», в котором воспроизведено множество ярких бытовых картин, красочных зарисовок, отразивших разные стороны русской жизни в период ломки крепостнического уклада и уже начинавшихся складываться капиталистических отношений. По словам М. Горького, здесь было многое «нарисовано очень живо, ловкой, твердой рукой и настолько внушительно, что из краткого, спешного очерка приемов работы, навыков жизни, отношений двух племен как будто возникает некая жуткая и густая тень...»[1]

Еще более яркую и впечатляющую картину «отношений двух племен» и «жуткую и густую тень» российской действительности воспроизвел Слепцов в «Письмах об Осташкове».

Жанр писем к тому времени давно и прочно утвердился в русской литературе. К нему обращались Н. М. Карамзин («Письма русского путешественника»), А. И. Герцен («Письма из Франции и Италии»), В. П. Боткин («Письма об Испании»), П. В. Анненков («Парижские письма») и многие другие, менее известные, писатели. Однако «Письма об Осташкове» существенно отличались от других произведений русской литературы, написанных в этом жанре. И отличие это заключалось не только в том, что Слепцов нарушил сложившуюся традицию и обратился к изображению *жизни России*, а не других стран. «Письма об Осташкове» были задуманы писателем как своеобразное художественное исследование. Ведь отправляясь в уездный город Осташков, он вовсе не собирался писать о всех его «диковинках»: школах, библиотеке, театре и пр. Об этом в достаточной степени и даже с избытком разглагольствовала либеральная печать. Писатель хотел проверить, в какой степени все это соответствовало действительности, и выяснить причины, способствовавшие мнимому процветанию заштатного уездного города. А в том, что это процветание мнимое, писатель нисколько не сомневался. Но это следовало доказать, для чего требовалось серьезное изучение всех сторон жизни Осташкова: экономической, общественной, духовной, культурной. И с этой задачей Слепцов справился блестяще. Он не только проделал всю эту работу, но и результаты ее сумел воплотить в яркой художественной и остро публицистической форме. Его «Письма об Осташкове» — это серьезное социально-художественное исследование, в котором вскрыты важнейшие общественные и социальные процессы, характерные не только для одного уездного города, но и для всей пореформенной России. В этом и заключалось принципиальное идейное и художественное новаторство «Писем» Слепцова. Лишь в «Письмах из Франции и Италии» А. И Герцена можно наблюдать подобное же стремление докопаться до сущности явлений, исследовать факты во всей их совокупности.

---

[1] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 24. М., 1953, с. 221.

«Письма об Осташкове» состоят из девяти писем-корреспонденций, посвященных разным сторонам жизни города. Уже название каждого из них («Наружность города», «Визиты», «Школа» и т. д.) говорит, о чем в них пойдет речь. Автор постепенно знакомит читателя с городом, осташковскими достопримечательностями, представителями разных слоев населения, с их жизнью, бытом и нравами. При этом Слепцов стремится быть предельно объективным и нигде нарочито не сгущает красок. Но уже в первом письме, делясь впечатлениями от увиденного, писатель говорит, что больше всего его поразили не осташковские «диковинки», а бедность и нищета, с которыми он сталкивался буквально на каждом шагу. Но, по словам Слепцова, это была «вовсе не та грязная, нищенская, свинская бедность, которой большею частию отличаются наши уездные города,— бедность, наводящая тоску и уныние и отзывающаяся черным хлебом и тараканами; эта бедность какая-то особенная, подрумяненная бедность, похожая на нищего в новом жилете и напоминающая вам отлично вычищенный сапог с дырой».

И чем пристальнее автор всматривался в жизнь города, тем более убеждался, что существуют два Осташкова: один — официальный, парадный, ухоженный, украшенный разного рода вывесками, в которых неизменно присутствует слово «общественный»: «общественный сад», «общественный банк» и т. п., и другой — неофициальный, с грязными мостовыми, бедными хижинами, в окнах которых мелькают «бледные изнуренные лица с неизлечимой анемией,— одним словом,.. горе-злосчастие, с холодом, да с голодом, да с лихими напастями».

А когда писатель попытался разобраться, что же такое в сущности город Осташков, что лежит в основе его жизни, на чем зиждется внешнее благополучие граждан и что является причиной их тщательно скрываемой бедности, то сделать это оказалось не так-то просто. Он очень скоро заметил, что от него постоянно что-то скрывают, и стоит ему где-нибудь появиться, как перед ним начинают разыгрывать «пошлую комедию».

Только в результате скрупулезного исследования и сопоставления многочисленных фактов автору удалось выяснить, что фактическим хозяином Осташкова является местный богач Савин, что почти все жители города в той или иной степени являются его должниками, что все эти «общественные» учреждения: банк, библиотека, богадельня, театр и др. содержатся «на счет особых сборов, так называемых *темных*», иначе говоря, за счет самих горожан, но преподносятся в качестве «благодеяния». Причем эти «благодеяния» и «культурные» удовольствия Савин очень умело использовал для закабаления осташковских граждан. «Теперь эти удовольствия,— пишет Слепцов,— сделались такою необходимою потребностию, что последняя сапожница, питающаяся чуть не осиновою корою, считает величайшим несчастием не иметь кринолина и не быть на гулянье. Но на все это нужны деньги. Где же их взять? А банк-то на что? Вот он тут же, под руками, там двести тысяч лежат». Только вот деньги там просто так не дают, а под залог и проценты, и на очень короткий срок. А не вернувший вовремя деньги

теряет залог и должен отработать долг. «Заведен у нас такой порядок: — рассказывает один из осташковцев автору,— граждан, которые не в состоянии уплатить долга банку, отдавать в заработки фабрикантам и заводчикам. Оно бы и ничего, пожалуй, не слишком еще бесчеловечно, да дело-то в том, что попавший в заработки должник большею частию так там и остается в неоплатном долгу вечным работником».

Показывая истинное положение дел в Осташкове, вскрывая скрытые пружины чудовищной эксплуатации, которой подвергается трудовой народ, Слепцов опирался не только на собственные наблюдения, но и на суждения самих осташковцев о своем городе и о порядках в нем. Так, один из них говорит: «Какой тут прогресс! Помилуйте!.. Застой, самый гнусный застой и невежество, с одной стороны, и нищета — с другой». А несколько раньше он же с гневом и болью восклицает: «Что толку в том, что я грамотный, когда мнѐ и думать о грамоте некогда? Бедность одолела, до книг ли тут? Ведь это Ливерпуль! Та же монополия капитала, такой же денежный деспотизм; только мы еще вдобавок глупы,— сговариваться против хозяев не можем — боимся; а главное, у них же всегда в долгу».

Одним из первых в русской литературе Слепцов проницательно заметил, что даже в маленьких уездных городках России уже отчетливо проявились те же самые атрибуты капитализма, которые были характерны для стран Западной Европы: монополия капитала и обнищание трудящихся.

Идейное содержание и своеобразие «Писем об Осташкове» очень точно охарактеризовал М. Е. Салтыков-Щедрин, который в статье «Несколько полемических предположений» писал: «Почитайте, например, в «Современнике» «Письма об Осташкове». По-видимому, там нет ни таблиц, наполненных цифрами, ни особенных поползновений на статистику; по-видимому, там одна болтовня. Люди закусывают, пьют ужаснейшую мадеру, несут великий вздор о татарских монетах и жетонах; однако за всей этой непроходимой ахинеей читателю воочию сказывается живая жизнь целого города с его официальной приглаженностью и внутреннею неумытостью, с его официальным благосостоянием и внутреннею нищетою и придавленностью...»[1]

Особое место в творчестве Слепцова занимают рассказы и сцены из народной жизни, в которых во всем блеске проявилось его замечательное писательское мастерство. Они появились в печати почти одновременно с произведениями писателей-демократов Н. В. Успенского, Н. Г. Помяловского, А. И. Левитова, в которых, по словам Н. Г. Чернышевского, народ изображался «без всяких прикрас»[2], без стремления скрыть «рутинные мысли и поступки, чувства и обычаи простолюдинов»[3].

Действительно, в своих рассказах Слепцов стремился показать жизнь

---

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти т., т. 5. М., 1966, с. 265.
[2] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. 7. М., 1950, с. 856.
[3] Там же, с. 876.

крестьян и городских бедняков без слащавого умиления. Он не мог не видеть темноты, забитости и невежества народных масс, беспомощности простых людей перед засильем власть имущих.

Слепцов обычно избегает пространных описаний, отдавая предпочтение диалогам, в которых очень тонко и точно переданы сокровенные движения человеческой души и особенности характеров людей. Писатель почти ничего не говорит о своем отношении к изображаемому, не раскрывает своих чувств. Но читатель понимает, как автор относится к своим героям, кому сострадает и кем возмущается.

В рассказах Слепцова не происходит почти никаких событий: это, как правило, отдельные бытовые сценки, зарисовки с натуры, случайно подслушанные разговоры. Писатель встречает своих героев в железнодорожном вагоне, в крестьянской избе, на проселочной дороге, на постоялом дворе.

Рассказ «Спевка» большинство исследователей и критиков обычно рассматривает только как антиклерикальное произведение, высмеивающее регента и певчих церковного хора. Однако думается, что главное в рассказе — это драматическая судьба регента, талантливого музыканта, сломленного обстоятельствами.

Строго и сдержанно написан один из лучших рассказов Слепцова «Питомка», повествующий о трагедии молодой женщины, которая вынуждена была отдать свою маленькую дочку в «шпитонки» и теперь безуспешно разыскивает ее по разным деревням. И сколько горя и отчаяния в сцене, завершающей рассказ:

«Приезжая баба постояла на одном месте, поводила глазами по двору, потом подошла к двери, сказала:— Ну, прощай!— и вдруг ударилась об землю и зарыдала.— Дочка ты моя милая! детища ты моя ненаглядная!— причитала она, лежа на пороге и ухватив обеими руками свою дорожную палочку. Котомка на ней тряслась, платок съехал с головы».

И. С. Тургенев, прочитав рассказ «Питомка», писал: «Это пробирает до мозга костей — и, пожалуй, тут сидит большой талант»[1].

Во всей своей неприглядности жизнь пореформенного крестьянства встает перед глазами читателя и в рассказе «Ночлег». В неторопливых разговорах, которые ведут мужики на постоялом дворе, раскрывается бесправное положение и незащищенность «освобожденных» крестьян. Реформа не принесла им облегчения, поскольку помещики не только ограбили своих бывших крепостных при разделе земли, но и на каждом шагу стремились утеснить их права, обложить их разного рода штрафами и поборами. «У нас теперь один барин есть,— рассказывает один из постояльцев.— Совсем и хозяйством бросил заниматься. Я, говорит, и так проживу — штрафáми. Сейчас подошла корова к его пруду напиться — штраф! карасей, говорит, у меня в пруду распужала. Потому что карась оченно робок, коров боится и со страху колеет. Мужик проехал мимо саду, зацепил за плетень — штраф!— фрух-

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 5. М., 1969, с. 159.

товые дерева́ повредил. Ну, и ничего. Только уж очень он жаден стал на эти самые на штрафы; ничего даже и бояться не стал...»

Но, пожалуй, самое тягостное впечатление оставляет рассказ пастуха Анкидина Тимофеева о том, как за потраву его должны были выпороть в волости, где ему пришлось, бросив стадо на подпаска, прожить четыре дня, прежде чем начальство удосужилось (и то после того, как вручил писарю целковый) совершить над ним экзекуцию.

Работа над очерками и рассказами подготовила Слепцова к созданию одного из самых интересных и своеобразных произведений демократической литературы 60-х годов XIX века — повести «Трудное время».

Название нового произведения Слепцова очень точно соответствовало его содержанию. Писатель рассказал в нем о действительно трудном периоде русской истории, трудном для народа, для прогрессивно настроенной интеллигенции, прежде всего для деятелей революционно-демократического движения. Это было время, когда не оправдались надежды на крестьянскую революцию, когда демократический лагерь после жестоких ударов, нанесенных реакцией, переживал глубокий кризис и когда правительство, пытаясь сбить волну освободительного движения, приступило к широко разрекламированным либеральной прессой реформам.

«Трудное время» — произведение не совсем обычное. В этой небольшой повести нет ни занимательного сюжета, ни описания значительных событий, ни исключительных характеров. Вместе с тем в ней удивительно полно и зримо отразились многие события пореформенной жизни России, важнейшие общественно-политические и социальные процессы, происходившие в стране. Мы видим, как рушатся веками складывавшиеся экономические устои русской деревни, обостряются отношения между помещиками и крестьянами, углубляются противоречия дворян и разночинцев, либералов и демократов, разваливаются дворянские и крестьянские семьи.

Слепцов нарисовал целую галерею лиц, характерных для русской пореформенной действительности. Это мировой посредник Семен Семенович, который насильно заставляет крестьян подписывать уставные грамоты и изощренно взымает с них недоимки и налоги, поощряет незаконные действия сельской администрации и для пущей убедительности нередко сам «вразумляет» мужиков кулаками. Это деревенский священник, озабоченный больше своим собственным хозяйством, нежели лечением духовных недугов своей паствы. Это лавочник Денис Иванович, опутавший долгами всю округу и беспощадно эксплуатирующий крестьян. Это письмоводитель Иван Степанович, мракобес, убежденный, что учить мужика можно только дубиной. Но основное внимание писатель сосредоточил на раскрытии характеров трех главных героев — демократа Рязанова, либерального помещика Щетинина и его жены Марии Николаевны.

В критической литературе неоднократно высказывалось мнение о бли-

зости Рязанова Базарову из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» и Рахметову из «Что делать?» Н. Г. Чернышевского. Действительно, многое сближает Рязанова с героями романов Тургенева и Чернышевского. Как и Базаров Рязанов резко критикует (правда, в иной манере) основы существующего правопорядка, деятельность либералов, стремящихся за высокими фразами скрыть свои корыстные интересы. Подобно Рахметову Рязанов занят подпольной революционной деятельностью, ведет аскетический образ жизни, отказывается от личного счастья. Однако Рязанов во многом отличается от своих литературных предшественников. Это обусловлено прежде всего тем, что они живут в разное время. Если герои Тургенева и Чернышевского действуют в период мощного общественного подъема, когда казалось, что вот-вот может грянуть крестьянская революция, то Рязанов — это герой «трудного времени», времени спада, кризиса и известной растерянности в революционных кругах.

И еще одно немаловажное обстоятельство: Рязанов — человек обыкновенный. Слепцов не наделяет его никакими из ряда вон выходящими чертами и достоинствами, не подчеркивает его исключительность и необычность. М. Горький писал: «По натуре своей Рязанов — родной брат нигилисту Базарову.., но он — человек более естественный и лучше знающий жизнь, чем знал ее герой Тургенева»[1].

И уж, конечно же, Рязанов отнюдь не «особенный человек», подобно Рахметову. В нем нет ни романтической одухотворенности, ни богатырской силы, ни исключительной выдержки, которыми наделил своего героя Чернышевский. Рязанов — это один из многих «новых людей», связавших свою судьбу с революционным движением,— он скромно и вместе с тем самоотверженно служит великому делу борьбы за народное счастье.

Рязанов появляется в повести утомленным, подавленным, но несломленным человеком. Вероятно, ему пришлось пережить немало трудностей. Об этом говорит даже его «тощая фигура с исхудалым лицом и неподвижным взглядом».

На первый взгляд кажется, что Рязанов живет без определенной цели и его мало что интересует. И действительно, он вроде бы ни во что не вмешивается, ничему не удивляется, а только наблюдает за происходящим. Но это не так. Рязанов внимательно присматривается к людям, к их поступкам, поведению и порой одним-двумя ироническими замечаниями дает очень точную характеристику разного рода «деятелям» вроде мирового посредника Сергея Сергеевича, письмоводителя Ивана Степановича и других. Весьма недвусмысленно высказывает он свое отношение и к своему приятелю Щетинину. Мало того, Рязанов точно подметил, что в пореформенной деревне идет напряженная, но пока еще скрытая классовая борьба, что крестьяне уже начали понимать, кто является их истинными врагами. Вот что говорит он Щетинину о сущности происходящих в деревне процессов: «Война.. Парти-

[1] Горький М. Собр. соч., т. 24, с. 223.

занская, брат, партизанская. Больше всё наскоком действуют, врассыпную, кто во что горазд... везде, где есть сильный и слабый, богатый и бедный, хозяин и работник,— там и война...»

Лишенный возможности в данное время действовать открыто и вынужденный тщательно скрывать свои убеждения, Рязанов тем не менее продолжает борьбу, настойчиво проводит мысль о необходимости «создать новую жизнь». «Нельзя не верить,— говорит он.— Успех-то будет несомненно...»

Деятельность Рязанова — это своеобразная программа действий для «новых людей» в условиях «трудного времени», призыв искать пути для осуществления идеалов социальной справедливости.

Рязанов понимает, что время открытых призывов и пламенных речей прошло, что теперь нужна повседневная кропотливая работа, направленная на поиски новых форм борьбы, на подготовку новых кадров для революционной деятельности. Он ведет такую работу. Его вынужденное пребывание в деревне не прошло даром; уезжает в Петербург искать «новую жизнь» Мария Николаевна, которой Рязанов открыл глаза на несостоятельность ее попыток быть полезной народу в рамках либеральной «деятельности» мужа, а сам он увозит с собой сына деревенского дьячка, чтобы определить его учиться. И хотя Слепцов ничего не говорит о их дальнейшей судьбе, читатель может предположить, что через какое-то время они пополнят ряды революционных борцов.

Разночинцу-демократу Рязанову в повести противопоставлен помещик-либерал Щетинин, личность которого тоже во многом явилась порождением «трудного времени». Щетинин — фигура отнюдь не однозначная. И, думается, не совсем прав К. Чуковский, который писал: «Автор (т. е. Слепцов.— *Н. Я.)* относится к этому помещику с несокрушимым презрением и устами Рязанова посрамляет его буквально на каждой странице, вскрывая всю неприглядность его плантаторской деятельности»[1]. Дело обстоит несколько сложнее.

Щетинин в повести не только «посрамляется». Да и его попытки быть полезным и нужным навряд ли можно назвать «плантаторскими». Рязанов видит, что Щетинин искренне хочет «служить народу» и «порадеть на пользу обществу», но отлично понимает, что из этого ровным счетом ничего не выйдет, поскольку его приятель не знает и не понимает народа и вся его так называемая «деятельность» объективно не только не способствует улучшению положения крестьян, а наоборот,— оборачивается для них новыми тяготами и поборами.

Щетинин относится к категории тех людей, о которых Н. А. Некрасов сказал, что «суждены им благие порывы, а свершить ничего не дано». Он по натуре не борец, а один из тех дворянских интеллигентов, из среды которых в свое время вышли «лишние люди» и «талантливые натуры». И если Рязанова в известной степени можно сравнить с Базаровым, то Щетинин напоминает Аркадия Кирсанова.

[1] Чуковский К. И. Люди и книги шестидесятых годов, с. 186.

Рязанов видит, что Щетинин — человек мягкий, добрый, но он — барин, помещик, который никогда не сумеет отказаться от своих сословных привилегий. Для него крестьяне навсегда останутся «дрянью», «свиньями», «мошенниками» и «скотами». Д. И. Писарев совершенно справедливо назвал Щетинина «добродетельным либералом». По словам критика, он — «существо безликое, бесцветное, бесформенное, не способное ни любить, ни сомневаться, ни мечтать, ни действовать»[1]

Если Рязанов и Щетинин представлены в повести людьми уже сложившимися, то характер жены Щетинина Марии Николаевны показан Слепцовым в движении, в развитии.

Мария Николаевна — натура незаурядная, деятельная, активная. Она стремится к общественной деятельности. Когда-то она поверила своему мужу, который позвал ее «делать великое дело». Но под влиянием Рязанова Мария Николаевна начинает постепенно прозревать. Она видит несоответствие того, что говорит и что делает Щетинин, видит ограниченность и никчемность всех его начинаний, непоследовательность действий и поступков. К тому же Мария Николаевна убеждается, что и ее стремление быть полезной: лечить мужиков, учить крестьянских детей — бесплодное растрачивание сил и времени. Пережив глубокую душевную драму, Мария Николаевна решает порвать с мужем, чтобы начать новую жизнь, но не знает, как это сделать и где найти применение своим силам.

Образ Марии Николаевны — один из самых ярких и убедительных в произведениях Слепцова. «Жена Щетинина,— писал М. Горький,— это одна из тех женщин, которые, увлекаемые тревогой эпохи, смело рвали тяжкие узы русского семейного быта, и, являясь в Петербург, или погибали в нем, или ехали за огнем знания дальше — в Швейцарию, или же шли «в народ», а потом — в ссылку, в тюрьму, на каторгу»[2].

Работая над своей повестью, Слепцов использовал опыт современной ему литературы. В «Трудном времени», например, отчетливо проступают типологические черты социально-психологических романов Тургенева. Как и тургеневские произведения, повесть Слепцова поражает совершенством и законченностью художественной формы, композиционной стройностью, художественным лаконизмом. Как и Тургенев, Слепцов с большим тактом и умением отбирает для своего произведения сравнительно небольшое количество эпизодов, сознательно сужает временную протяженность действия своей повести (около трех месяцев), а действие сосредоточивает в одном месте — в имении Щетинина, откуда главный герой произведения Рязанов выезжает один раз в город и вместе с мировым посредником предпринимает поездку по округе. Однако Слепцову удалось отразить события, происходящие и за пределами усадьбы, где временно поселился его герой. Писатель упоминает многие конкретные факты общественно-политической жизни (например,

---

[1] Писарев Д. И. Собр. соч., в 4-х т., т. 4. М., 1956, с. 53.
[2] Горький М. Собр. соч., т. 24, с. 224.

майские пожары 1862 года, правительственные репрессии против революционно-демократического лагеря, подавление польского восстания и др.), помогающие читателю понять всю сложность обстановки, сложившейся в стране летом 1863 года, когда происходит действие повести.

Повесть «Трудное время» написана предельно сдержанно. В ней нет ни пространных пейзажных зарисовок, ни экскурсов в прежнюю жизнь героев, ни их самохарактеристик, ни тщательно выписанных портретов. Так, характер Рязанова раскрывается через восприятие разных лиц, как сочувствующих, так и откровенно враждебных ему, а также через очень лаконичные его ответы на вопросы интересующихся, кто он такой, зачем приехал, куда направляется и т. п. Вот из всего этого читатель постепенно узнает о социальном происхождении Рязанова (разночинец), о его занятиях (литератор), отдельные сведения о его прошлом (учился в университете, участвовал в революционном движении и т. п.).

Повесть «Трудное время» создавалась в условиях жесточайшего цензурного гнета, и поэтому Слепцов вынужден был прибегать ко всякого рода недомолвкам, намекам и иносказаниям. В завуалированной форме писатель говорит о революционном прошлом Рязанова, о разгуле реакции в стране, о преследовании революционеров и т. п. Стремясь преодолеть цензурные рогатки, Слепцов нередко использовал особый, зашифрованный язык[1].

Повесть «Трудное время» пользовалась огромной популярностью в демократических кругах русского общества и получила положительную оценку передовой критики, прежде всего Д. И. Писарева, который дал обстоятельный анализ произведения Слепцова в статье «Подрастающая гуманность».

Творческое наследие Слепцова невелико по объему, но оно по праву занимает почетное место в демократической литературе середины прошлого века. Его произведения, пронизанные любовью к народу и верой в будущее торжество светлых идеалов, не потеряли своего значения и для нашего времени. «Крупным, оригинальным талантом» назвал М. Горький В. А. Слепцова, и современный читатель, знакомясь с произведениями писателя-демократа, сможет убедиться в справедливости этой оценки.

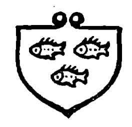
Н. Якушин

[1] Подробнее об этом см.: Чуковский К. И. Тайнопись «Трудного времени» — В кн.. Чуковский К. И. Люди и книги шестидесятых годов.



ПИСЬМА ОБ ОСТАШКОВЕ

Образец городского устройства в России





Ни об одном из уездных великорусских городов не было писано в последнее время столько, как об Осташкове. Всякий, кому случалось бывать в этом городе, считал непременною обязанностию печатно или изустно довести до всеобщего сведения о тех диковинах, которые ему пришлось в нем увидать: о пожарной команде, библиотеке, театре и проч., то есть о таких предметах роскоши, о которых другие уездные города пока еще не смеют и подумать. Всякий, посетивший это русское Эльдорадо, по мере сил и крайнего разумения отдавал должную справедливость заботливости городских властей и хвалил жителей за примерное благонравие. Затем благородный посетитель не упускал случая поставить осташковскую мостовую и пожарную команду в пику всем прочим уездным городам русского царства и намекнуть в конце, в виде нравоучения, что почему бы, дескать, и другим городам не взять примера с Осташкова и не завести у себя и то, и другое, и пятое, и десятое; желательно было бы . . . . . . и проч., как это обыкновенно говорится в подобных случаях. Такого рода похвалы и советы, без всякого сомнения, делали честь благородному посетителю, обличая в нем желание наставлять нерадивые города на путь истины, но вместе с тем они отчасти и повредили Осташкову во мнении прочих городов. Благородный посетитель как будто нарочно всегда старался изобразить Осташков каким-то благонравным мальчиком, у которого и волосики гладко причесаны, и курточка не изорвана, и тетрадочки не закапаны салом, за что начальники его всегда хвалят и ставят в пример другим, нерадивым мальчикам, и за что товарищи его терпеть не могут. Но если бы благородный посетитель потрудился дать себе отчет в том, что он видел, и пожелал бы узнать причины — почему, например, один город сидит себе по уши в грязи, и грамоте даже учиться не хочет (как Камы-

шин), а другой — без театра и библиотеки немыслим? Почему осташковская мещанка, кончив дневную работу (большею частию тачание сапог), надевает кринолин и идет к своей соседке, такой же сапожнице, и там ангажируется каким-нибудь галантным кузнецом на тур вальса, или идет в публичный сад слушать музыку; а какая-нибудь ржевская или бежецкая мещанка, выспавшись вплотную на своей полосатой перине и выпив три ковша квасу, идет за ворота грызть орехи и ругаться с соседками? Почему вышневолоцкий сапожник сошьет сапоги из гнилого товара и еще на чаек за это попросит; а осташковский сошьет хорошие сапоги и вместо чайку попросит почитать книжечку? Почему осташ называет себя гражданином, а не Митькой, Прошкой и т. д.?

Если бы благородный посетитель задавал себе такие вопросы и добился бы на них положительных ответов, то, во-первых, он перестал бы хвалить осташей за благонравие и, во-вторых, не стал бы укорять других за нерадение; потому что уже самое желание решить эти вопросы избавило бы осташей от похвал, от которых им ни тепло, ни холодно, а жителей нерадивых городов — от нареканий, которые им кажутся крайне оскорбительными и пользы, видимо, никому не приносят.

Осташков действительно один из замечательнейших русских городов, даже единственный в своем роде; но замечателен он вовсе не тем, на что обыкновенно туристы и хроникеры стараются обратить внимание публики. Осташков выходит из ряда обыкновенных уездных городов; но не тем, что в нем есть театр, мостовая и доморощенные музыканты-кузнецы, чем любит похвастаться осташковский житель; не тем, потому что все это крайне плохо и не могло бы удовлетворить действительным потребностям города,— если бы таковые существовали и если бы все эти учреждения были вызваны именно *потребностями* развитого общества. Благосостояние Осташкова представляет чрезвычайно любопытное и поучительное явление в русской городской жизни. Осташков, с его загородными гуляньями, танцами и беседками, можно рассматривать, как одну из тех драгоценных картин-игрушек, на которую потрачено много труда и денег и на которой удивительно искусно изображены: рыбак с удочкой, крепость, мальчики, идущие в школу, и барышня в беседке, с цветком в руке. Все это чрезвычайно мило, и если завести ключом скрытый позади картины механизм, то рыбак начнет ловить рыбку, мальчики пойдут в школу, а барышня и крепость останутся на месте, и при этом можно будет слышать

марш. Но как бы это ни было мило, тем не менее картина все-таки останется игрушкой и будет только делать честь и — главное — удовольствие ее изобретателю; что же касается людей, изображенных на картине, то им, надо полагать, ничего больше и не остается делать, как ловить рыбу, ходить в школу и сидеть в беседке. И если бы вдруг рыбаку вздумалось посидеть в беседке, а мальчики сочли бы за лучшее заняться рыбной ловлей, то, вероятно, встретили бы непреодолимые препятствия, потому что такая перемена ролей не входила в план изобретателя, и самовольная отлучка с указанного места послужила бы признаком неисправности механизма.

Но с другой стороны, почему не предположить, что найдется еще искусник — и перехитрит первого, и сделает такую картину, на которой вместо рыбака будет сделан турок, курящий трубку и двигающий глазами, барышня же хотя и будет, но не станет сидеть в беседке, а поедет на осле и за ней побежит собачка, мальчики же, вместо того чтобы идти в школу, будут плясать. В этом случае все, как видно, зависит от искусства и фантазии изобретателя, и если переврать надлежащим образом известное изречение Пинетти, то можно будет довольно удачно выразиться о таких картинах или о таком городе, говоря следующим образом: здесь нет жизни; здесь только механизм, пружинка и колесики. Доказательства тому читатель найдет в письмах, которые за этим следуют.

Взгляд на Осташков, метафорически высказанный выше, сложился не вдруг, а выработался медленно, после многих и самых курьезных заблуждений, хотя у автора этих писем было в руках много средств доискаться истины и разрушать разного рода мистификации. Но все-таки хлопот и недоразумений было много, потому что механики не любят открывать секретов, доставивших им известность, и принимают строжайшие меры против непрошеного любопытства; в чем читатель также будет иметь случай убедиться ниже.

Автор

Письмо первое

НАРУЖНОСТЬ ГОРОДА

Третьего дня, поздно вечером, я приехал в Осташков и на другой же день пошел знакомиться с городом и его жителями. На первый раз мне хотелось сделать визиты разным должностным и другим лицам, пользующимся в городе особенным почетом; к некоторым же из них у меня были и письма. С вечера привезли меня на постоялый двор (гостиниц здесь нет), где дали мне чистую, действительно очень чистую комнату, с постелью без клопов и с отлично вымытым полом. Все было пошло хорошо. Встаю на другой день, посмотрел в окно: дождь идет, грязь непроходимая на улице; спрашиваю: «Есть ли у вас извозчики?» — «Нет извозчиков».— «Что ж я буду делать? А раки есть?» — «Есть». Надо заметить, что Осташков славится раками. Я заказал себе раков к обеду, а между тем от нечего делать разговорился с коридорным... или, не знаю, как его назвать, одним словом, с хозяйским братом, который здесь в доме занимается счетной частию, чистит сапоги, ставит самовар и просит на водку. Хозяйский брат,— некто Нил Алексеевич,— с первого же знакомства поразил меня изумительной юркостию движений и необыкновенным сходством с бессрочно-отпускным солдатом, хотя он просто-напросто здешний мещанин и даже в ратниках не бывал. Впоследствии, впрочем, сколько я ни замечал, осташковские мещане, или граждане, как они себя называют, все отчасти смахивают на отставных солдат: бороду бреют, носят усы, осанку имеют воинственную и, когда говорят, отвечают — точно рапортуют начальнику. Вообще дисциплина в нравах. Так вот, Нил Алексеевич, к крайнему сожалению моему, сообщил мне, что Федор Кондратьевич[1] *уехатчи* в Петербург и неизвестно когда вернутся, но что лучше всего понаведаться к ихнему братцу и

[1] Савин, осташковский городской голова. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

от него узнать о возвращении Федора Кондратьевича. Все же прочие, кого мне нужно было видеть, были в городе. Погода между тем начала поправляться, но все-таки на улицах было грязно, хотя я и жил на главной, так называемой Каменной улице. Сидя в грустном уединении у окна и глядя на камни, потонувшие в грязи, я имел возможность самым очевидным образом убедиться в справедливости пословицы: славны бубны за горами,— до такой степени эти камни, обязанные изображать собой мостовую, дурно исполняли свою обязанность. После обеда, однако, небо совсем прояснилось, и я, несмотря на грязь, пошел бродить по городу. Осташков, как вам известно, стоит на берегу озера Селигера, или, лучше сказать, Осташков стоит на полуострове и с трех сторон окружен озером; а так как город выстроен совершенно правильно и разделен на кварталы прямолинейными улицами, то вода видна почти отовсюду, и притом озеро кажется как будто выше города, чему причиной служит низменность почвы. Город весь в воде, и даже с четвертой стороны у него огромнейшее болото. Над озером стоит туман, и дальние берега чуть-чуть мелькают: с одной стороны виднеются какие-то деревни да несколько ощипанных кустов; в другую сторону, к югу, лежат острова: Кличин, еще какой-то с обвалившейся красильней; Житный монастырь тоже на острове. За этими островами темной полосою синеет опять остров — Городомля с сосновым лесом, а за этим лесом уже не видно Ниловой пу́стыни. Население расположилось в разных частях города по промыслам и ремеслам; так что весь город можно разделить на три части. Если смотреть на Осташков с севера, то есть с материка, так, как он является каждому, въезжающему в город, то увидим, что правую и левую сторону его берегов заняли рыбаки; южная оконечность полуострова, вда́вшаяся в озеро, застроена кожевенными заводами; в центре находится торговая площадь, присутственные места и кузницы; сапожники же разбросаны по всем остальным улицам и переулкам, идущим во все направления. Такая сортировка по занятиям вполне соответствует и потребностям каждого ремесла или промысла, взятого отдельно. Так, например, рыболовный промысел, по существу своему естественно связанный с озером и требующий простора, занял две трети всех берегов, но так как и этого оказалось недостаточно, то невода и сети повисли над водой, потому что до́ма их вешать негде. Кожевенники же удовольствовались одной третью берега, доставшейся им от дележа с рыбаками, которые составляли первоначальное население города,— и так

как воды им нужно гораздо меньше, только бы она была под руками, то они и настроили себе разных амбарчиков и клееварен на самой воде, на сваях, и мочат кожи, почти не выходя из дому, только отворят двери и прямо в озеро. Для кузнецов отведено открытое место внутри города, что, впрочем, нисколько не мешает им замазывать сажей и углем соседние улицы, отчего самая грязь на этих улицах имеет свойство чернить сапоги даже без помощи ваксы. Близость кожевенных заводов тоже легко узнается, во-первых, по кислому запаху и, во-вторых, по кучам старого и уже негодного корья, разбросанного по этим улицам. (По поводу корья я буду иметь случай рассказать впоследствии один очень любопытный анекдот об осташковском либерализме, хотя, по-видимому, между корьем и либерализмом не может быть ничего общего.) Что же касается сапожников, то, я полагаю, всем известна невзыскательность ремесленников, промышляющих сапожным изделием; это особенно заметно в Осташкове, где сапожничеством занимаются почти в каждом доме, в особенности женщины, и где это ремесло дает только что насущный хлеб, следовательно об удобствах тут и разговора быть не может. Если есть $^1/_2$ аршина места для скамейки, так будут и сапоги, или *осташи*, как их называют.

Из первого поверхностного обзора города в этот день я извлек очень немного. Когда я вышел на торговую площадь, то прежде всего мне бросилось в глаза новенькое деревянное строение, выкрашенное желтой масляной краской: *обжорный ряд*. Подходя к нему, я слышал еще издали крик, и из любопытства заглянул туда. В проходе между лавками с разным съестным товаром торговки обступили двух проголодавшихся деревенских мужиков, в холстинных кафтанчиках и в низеньких пастушьих шляпках, которых я никогда прежде не видывал, и друг перед другом старались насовать им в руки пирогов с рыбою, кренделей и еще каких-то драчен; мужики, оглушенные и заваленные пирогами и драченами, долго жмурились, отмахивались от торговок и старались отделаться; но торговки не давали им выговорить слова и пирогов назад брать не хотели; тогда мужики, потеряв терпение, плюнули, бросили пироги и ушли, а торговки стали браниться. Из опасения, чтобы и меня не постигла та же участь, я поспешил скорее уйти и прямо из обжорного ряда попал на бульвар. Но об этом предмете мне хочется рассказать подробнее. Бульвар устроен действительно очень мило (он тянется от торговой площади по направлению дома городского головы — Савина) и содержится в большом порядке:

березки все подстрижены и с подпорками, дорожки усыпаны песком; даже сбоку приделан небольшой пруд с крошечным островочком, и на островочке березка. На самой средине бульвара по одну и по другую сторону стоят по два столбика, выкрашенные белой краской; на столбиках очень искусно сделаны ерши, по три ерша на каждом, всего: трижды-четыре — двенадцать ершей на бульваре; на самой же верхушке каждого столбика сделана деревянная же урна с красным пламенем, очень натурально. Резчики в Осташкове свои, так оно и неудивительно. Одно только меня несколько затруднило: при входе на бульвар в маленьких воротцах устроено что-то в роде капкана или лабиринта, таким образом, что прежде нежели попасть на бульвар, необходимо пройти между барьером направо, потом налево, потом назад, а потом уж можно выбраться и на бульвар; так что если человек с нетерпеливым характером случайно встретится в этих термопилах с другим нетерпеливым человеком и ни один не захочет уступить другому, то, по всей вероятности, должен произойти скандал; но бульварных капканов в Осташкове никто еще не ломал, и о таких случаях здесь не слышно, из чего прямо можно заключить, что нетерпеливых людей в городе нет, а если и есть, то они на бульвар не ходят, так же как и осташковские коровы, для которых, собственно, и назначены эти лабиринты.

Впрочем, занявшись бульваром, я забываю о других осташковских редкостях, а они здесь на каждом шагу. С бульвара или, лучше сказать, с площади,— потому что бульвар на площади,— по прямому направлению идет улица на строящуюся пристань; тут же в базарные дни производится торговля на лодках деревянной посудой, корзинами и овощами, привозимыми крестьянами прибрежных деревень. Пристань с маленьким молом строится из булыжника и известняка, которым изобилует осташковский уезд, но строится, как видно, очень медленно по недостатку средств или не знаю почему. Кроме этой пристани, в городе есть еще несколько малых пристаней с деревянными плотами для причала. Так как погода поправилась, то на озере и у берегов показались лодки, в которых большею частию женщины исполняли должность гребцов. Недалеко от главной площади, на берегу, видел я театр — большое, но неуклюжее здание, переделанное из кожевенного завода. А там, по южному берегу, пошли уже вплоть все заводы, совсем вылезшие в озеро. В одном месте даже капуста посажена на плавучем огороде. Сюда, ближе к центру, показался собор с безобразнейшей коло-

кольней в виде столба; рядом с собором — так называемый «публичный сад». Я было сунулся ко входу,— опять капкан! и опять ерши! В саду оказалось дерев больше, нежели на бульваре, есть и скамейки, павильон, в котором играет иногда доморощенная музыка, и еще какие-то особенного устройства длинные скамейки *для простого народа*, на которых можно очень весело проводить время, покачиваясь, как на рессорах. Тут же, в саду, я встретил одиноко гуляющую козу, которая, вероятно, не затруднилась входом и просто-напросто перескочила через перегородку, из чего я вывел уже положительное заключение, что козы не входили в расчет при устройстве лабиринтов, которые исключительно предназначены для коров. Выбравшись без особенных приключений из публичного сада, я пошел по главной улице, в этом месте почему-то высыпанной песком, и вдруг завидел большое каменное здание, красного цвета, с палисадником; на главном фасаде две вывески: на одной, побольше и повыше, написано золотыми буквами: *Дом благотворительных заведений общественного банка Савина*, а на другой, поменьше и пониже: *Училище для девиц* (основанное Ворониным,— как я узнал впоследствии). Я обошел здание с двух сторон и заглянул на двор: и там все очень удобно устроено, чистота изумительная, двор вымощен; для дров даже сделано особое помещение. У самых ворот стоит ящик вроде бюро; я полюбопытствовал взглянуть внутрь его и нашел там солому. Какая-то девочка, выходившая в это время из дома благотворительных заведений, объяснила мне, что ящик этот выставляется на ночь за ворота для подкидышей, для этой же цели и колокольчик проведен от ворот в странноприимное отделение.

— Ребеночка в ящик положат и дернут за колокольчик; оттуда сейчас выйдут и возьмут ребеночка,— объяснила мне чрезвычайно бойко девочка, причем я мог заметить, что она в кринолине и в руках у ней книга. Девочка опрятная, с воротничком и в белом фартуке, но что-то бледна уж очень. Впрочем, сколько я ни встречал сегодня женщин,— все ужасно худы и бледны.

— Вы, душенька, из училища? — спрашивал я девочку.

— Из училища-с.

— Можно туда взойти, посмотреть?

— Можно-с.

— А где найти смотрителя?

— Он теперь в классе-с.

— И долго там пробудет?

— Часа полтора просидит-с.

Я простился с девочкой и пошел дальше, предполагая зайти в училище часа через полтора. Мне хотелось воспользоваться хорошей погодой и обойти по крайней мере правую сторону полуострова. Но какое же здесь множество часовен! Считал, считал и счет потерял. Иду к оконечности города, вдавшейся в озеро, и бессознательно читаю билеты на воротах: Савина, и по другую сторону Савина, опять Савина и еще Савина, и таким образом вплоть до самой дамбы, ведущей из города на Житный остров. Подхожу к воротам,— опять капкан! Что ж это значит? Неужели же и в монастырь коров не пускают? Повертелся, повертелся я тут у входа, однако прошел и очутился опять на бульваре, а бульвар этот в сущности дамба-то и есть; отличная насыпь, укрепленная с обеих сторон сваями и диким камнем; на половине насыпи сделан пролив, через который ведет красивый деревянный мост. Взошел я на мост — опять ерши на столбах! А какой вид с моста на город, особенно теперь, когда солнце ударяет прямо в эти заливчики, застроенные разным заводским строением и наполненные лодками. Рыбак, стоя в лодке, развешивает на кольях сети; прибрежные крестьяне разъезжаются с базара; две бабы везут мужика и работают веслами совсем не по-бабьи: видно, что они выросли на воде; но зато мужик, возвращающийся с базара под хмельком, знать ничего не хочет; лег себе на какие-то мешки, которыми нагружена лодка,— и ругается на чем свет стоит. Однако бабы в обиду не даются и очень ловко плещут на него веслом и всего обдают водою, отчего мужик начинает еще хуже ругаться, а бабы хохочут. На берегу между тем кто-то вышел из двери, ведущей с завода прямо в озеро, опустил в воду крюк и вытащил оттуда мочившуюся шкуру. Левее виден гористый и пустынный Кличин, невдалеке от него торчит из воды огромный камень, похожий на лодку; за камнем мелькает парус, чайки вьются над озером. Однако нужно еще поспеть в монастырь. Подхожу к Житному острову,— при входе опять ерши! Да когда же это кончится? Впрочем, на столбах, кроме ершей, надписи. На правом написано:

«Покорнейше просят цветов и деревьев не ломать и собак не водить».

«Кто нарушает правила, установленные для общего блага, тот есть общий враг всех».

А на левой стороне:

«Кто умеет уважать себя, тот умеет дорожить благоустройством общественным».

Часть острова, ближайшую к городу, занимает монастырь с огородом и памятником потомственного почетного гражданина и коммерции советника Кондратия Алексеевича Савина, отца нынешнего градского главы. В монастыре только и есть замечательного, что этот памятник, устроенный в виде часовни; перед иконой, как видно, прежде горел газ, проведенный с фабрики братьев Савиных; но газовый рожок в настоящее время, кажется, испорчен. Другую половину острова занимает сад, разбитый необыкновенно затейливо, с павильонами и мостиками в виде колеса, до такой степени красивыми и крутыми, что по ним даже и ходить нельзя, с прудами величиною с порядочную лоханку, башенками и проч. Есть даже домик для пустынника, оклеенный берестой, в котором живет сторож, или даже, кажется, никто не живет, хотя домик и заперт на замок. Я зашел в одну беседку, стоящую на самом мысу, а из нее по лесенке взобрался в павильон,— и опять вид на город и окрестные острова, и еще лучше, нежели с моста. Белые стены павильона все исписаны разными стихотворениями и акростихами, в которых туземное остроумие, сколько я мог заметить, все больше проходится насчет одного известного лица. Монастырская братия, заботясь, как видно, о чистоте нравов и павильона, изглаживала по мере сил и возможности хулы и предерзостные писания; но чья-то неукротимая рука и тут-таки не унялась и начертала перочинным ножом неизгладимые сквернословия.

— Кто так искусно устроил все это? — спросил я гулявшего по саду монаха.

— Это все Федор Кондратьевич занимаются, дай бог им здоровья,— отвечал монах.— Здесь у нас прежде рощица была, самая жалкая рощица; признаться, не так чтобы *горазно* было. По праздникам *чернять* гулять к нам ходила, да больше всё пьяные,— безобразно. Ну, а Федор Кондратьич нам садик развели, будочек понастроили, деревца насадили, кусточки: ишь ты как *горазже* приглядиее стало, как можно. Гулять теперь к нам все больше господа ходят, особливо летом.

— А могу я у вас попросить карандаш или перо и кусочек бумаги?

Монах заметался и похлопал себя по карману.

— Как быть? Перушка-то у нас и не сыщешь, и чернилицы тоже нету. Ах, головушка горькая! Нету! Нету! Вот у просвирника должна быть чернилица-то, за здравие пишет, да *не*, должно в *церкви* она у него *заперши*. Пообождите малость, вот я схожу поспрошаю. А вам это на что? Письмо, что ли, писать?

— Нет, мне бы вот хотелось эти надписи, что на столбах-то у вас, списать.

— Ну так, так. Вот я схожу, может и сыщу.

Пока монах ходил за чернилицей, я опять загляделся на озеро и заслушался шума набегающих волн. Монастырский сад лучшее место в Осташкове, да и не в одном Осташкове: не хочется уйти. Наконец несет монах чернилицу с объедком пера.

— *В силу* отыскал,— говорил он, подавая мне ее.— Один у нас есть такой, тоже этим делом занимается, у него выпросил. Не хотел было давать: зачем, говорит, тебе? Прольешь. Пишите, пишите,— это хорошо тут написано.

— А кто это написал? Ваш настоятель?

— Нет! Это все Федор Кондратьич. Вы, должно, нездешние?

— Я из Москвы.

— *Из Москве:* так, так.

— Прощайте. Извините, что обеспокоил.

— Ничего! Час добрый.

На возвратном пути в город встретил я на дамбе гражданина и офицера. Гражданин, почтенной наружности, чисто выбритый, сейчас же обратил внимание на приезжего человека, оглядел меня с головы до ног и с достоинством поклонился; офицер же запел что-то и, легкомысленно помахивая тросточкой, пошел далее. А в училище так и не удалось побывать мне в этот день.

На первый раз я ограничился прогулкой по городу; да и хорошо так устроилось, что я ни у кого не был сегодня, по крайней мере внимание не разбрасывалось; впечатление, произведенное на меня внешней стороной города, свежо, ясно и не развлекалось сближением с людьми. В сумерки я прошелся по восточному берегу, потом обогнул город с северной стороны вплоть до самого кладбища, следовательно, я видел почти весь город; не осмотренной осталась одна только Америка (северо-западная часть полуострова), которая, по свидетельству Нила Алексеевича, только тем и замечательна, что там окружной живет.

Попробую я теперь дать себе отчет в том, что я видел сегодня. А знаете, что меня всего более поразило в наружности города? Как вы думаете? — Бедность... Но вы не знаете, какая это бедность. Это вовсе не та грязная, нищенская, свинская бедность, которой большею частию отличаются наши уездные города,— бедность, наводящая на вас тоску и уныние и отзывающаяся черным хлебом и тараканами; эта бедность какая-

то особенная, подрумяненная бедность, похожая на нищего в новом жилете и напоминающая вам отлично вычищенный сапог с дырой. На первый взгляд вас приятно поразит и мостовая, и бульвар, и эти громкие вывески: *общественный банк, общественная библиотека, публичные сады, благотворительные заведения* и т. д.; даже и на этих ершей, на это обилие ершей, на все эти декорации вы смотрите снисходительно, добродушно улыбаясь, потому что все это пахнет чем-то таким новым, свежим, благоустроенным. Стриженые березки, капканы, решетки, просьбы цветов не рвать, собак не водить,— все это вам давно знакомо; вам даже почему-то приятно встретить в захолустье, в Осташкове, этих старых чудаков, как иногда приятно бывает встретить какую-нибудь глупую няньку, которая вас бивала в детстве. Но все эти приятные ощущения быстро сменяются тяжелым раздумьем, как только вы свернете в одну из второстепенных улиц. Вы вдруг замечаете ужасно резкий переход, как будто вам подавали все трюфели да фазанов, а тут вдруг хрен!.. У вас и глаза было разлакомились, вам уж начало было казаться, что и дальше все то же будет, а тут и пошли, и пошли: и хижины бедные, богом хранимые, и больные ребятишки, и окна, заклеенные бумагой, и бледные, изнуренные лица с неизлечимой анемией,— одним словом, все это горе-злосчастье, с холодом, да с голодом, да с лихими напастями, от которых вы было вообразили так дешево отделаться. «Что же это значит?» — тоскливо думается вам...

Город расположен чрезвычайно искусно, и надо быть очень непроницательным, чтобы не обратить на это внимания. Если вы захотите всмотреться пристальнее, то вы непременно заметите, что тут прошлась чья-то искусная рука, что кто-то так ловко скомпановал все эти objets d'art[1], что они неминуемо вам должны броситься в глаза. Вы непременно заметите, что для каждой вещи выбрано именно такое место, на котором она больше выигрывает и привлекает на себя ваше внимание. А что делается в отдаленных улицах, того вы не увидите, потому что туда вам и идти незачем, да и мостовых там нет, там болото. И если вы можете понять и достойно оценить все это, то вы отдадите должную справедливость художнику, потратившему много труда и соображения на то, чтобы произвести на вас самое отрадное впечатление во время вашего кратковременного пребывания в Осташкове. Но я предполагаю, что вы приехали в город безо

[1] Произведения искусства *(фр.)*.

всякой особенной цели и не имеете ни малейшего желания видеть сквозь видимый смех невидимые миру слезы,— вы приехали так себе, ни за чем, либо угоднику поклониться. Само собой разумеется, что вы едете на постоялый двор или остановитесь у кого-нибудь из ваших *благородных* знакомых, живущих непременно в центре города; следовательно, вы неминуемо должны ехать по главной улице. Уже при самом въезде в город вас приятно поражает на правой стороне какое-то высокое, красивое здание, вовсе не похожее на острог, который в свою очередь видится вам в приятном отдалении.

— Что это за дом? — спрашиваете вы у ямщика.

— А это казармы.

— Как казармы? Так, стало быть, казенный дом? — пристаете вы к ямщику.

— Никак нет,— отвечает он вам.

— Так чей же это дом? — продолжаете вы допрашивать.

— Обчественный! Как, значит, прежде солдаты очень уж одолевали, так Федор Кондратьич[1] их и вывели за город, да казармы им и выстроили, чтобы уж они свое место знали.

«Вот как! Это хорошо!» думаете вы и едете дальше, а тут уже между тем началась мостовая. Хотя вам и сильно поколачивает бока, но так как, во всяком случае, как бы то ни было, ведь это все же таки мостовая, а не киселевидная грязь, которую вы проклинали во всю дорогу от самого Волочка, то уже один вид мостовой должен произвести на вас отрадное впечатление; и действительно производит, и вы говорите, одобрительно улыбаясь: «Ого! Посмотрим, что дальше будет». Вы едете дальше и, поравнявшись с переулком, случайно бросаете взгляд направо и не без сердечного удовольствия примечаете, что и в соседней улице тоже мостовая; вы смотрите налево и видите, что налево травка; но вы уже так довольны, найдя в Осташкове две вымощенные улицы, что великодушно прощаете этой травке и думаете: «Ну бог с ней! Пусть ее растет; невозможно же вымостить целый город. Ведь на это сколько денег нужно? Страсть...» А между тем вы не оставили без внимания и постройку. Дома, мимо которых вы едете, все такие крепкие, хорошие дома, в нижнем этаже лавочки; на воротах пожарные значки: ведро, крюк, лестница, даже лошадка в одном месте нарисована. Лошадка очень недурно сделана, точно картинка.

[1] Предполагается, что вы уже знаете, кто такой Федор Кондратьич. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

— Как славно, однако, здесь рисуют пожарные значки! — замечаете вы про себя. А тут постоялые дворы.

— К кому въезжать на двор? к Коновалову, что ли? Но так как у вас нет в городе никакого спешного дела, а в комнате одному сидеть скучно, к тому же все виденное вами так успело уже расположить вас в пользу Осташкова, то вам вдруг приходит в голову фантазия сейчас же, не откладывая проехаться по городу и проглотить его разом.

— Нет, брат, ты вот что: ты проезжай-ка лучше так по городу, знаешь? Я тебе дам на чай. А потом уж и на постоялый двор.

— Куда же ехать-то?— спрашивает вас ямщик, не понимая, чего вы хотите, и предполагая, что вас укачало дорогой, а потому и нашла на вас блажь.

— Да ты здешний, что ли?

— Здешний.

— Ну так проезжай немного по городу: мне хочется посмотреть улицы.

— Да, да, да. Так бы вы и говорили. То есть вам это, собственно, как вы приезжий,— значит, вам очень лестно посмотреть.

— Ну да, ну да!

— Это что ж? это ничего.

И, обрадованный возможностию похвастаться родным городом, ямщик вывозит вас на площадь.

— Вон оно, озеро-то! — говорит он, самодовольно указывая кнутом на озеро, показавшееся вправо.

Площадь, впрочем, на первый взгляд ничем особенно вас не поражает, но, оглядывая ее пристальнее вы вдруг замечаете бульвар, прудок с островком, гуляющих дам в модных костюмах, красивый обжорный ряд, лавки... вы видите, что в лавке сидит женщина и вяжет что-то...

«Ого-го!» — думаете вы. Ямщик между тем берет влево и везет вас вокруг всей площади.

— Что это за сарай с колокольчиком?

— Это пожарная команда.

«А! это та самая знаменитая пожарная команда, о которой я так много читал в «Московских Ведомостях»,— думаете вы и в то же время с удивлением и не без удовольствия читаете вывеску: *Осташковская общественная библиотека основана с 1832 года.*

— Каково? — говорите вы уже вслух,— с тридцать второго года и притом *общественная!*.. а в других-то городах!..— но тут вы вдруг начинаете столбенеть.

— Что это? телеграф? — вскрикиваете вы. — Ямщик! глаза мои меня не обманывают? это точно телеграф?

— Верно, — успокоивает вас ямщик, совершенно довольный вашим восторгом.

— Кто же его устроил?

— Федор Кондратьевич.

— А куда проведен этот телеграф?

— Из думы к Федору Кондратьевичу. Ну, куда ж теперь ехать?

— Вези, куда знаешь, — говорите вы растроганным голосом.

Объехав всю площадь и выказав вам один за другим все красивые каменные домики, которыми обстроена площадь, ямщик везет вас в прежнем направлении, то есть по главной же улице, пересекающей площадь. Но уезжая с площади, он указывает опять-таки кнутом на озеро и обращает ваше и без того напряженное внимание на строящуюся пристань. Вы высунулись из экипажа и видите движение, народ: возят песок, сваливают камень, в пристани стоят две огромные лодки, похожие на суда, развеваются паруса, вы слышите где-то свист парохода; озеро, синее и блестящее, точно взморье, так и манит вас к себе, а на том берегу виднеются деревни, лес синеет вдали.

— Экое место! Что за природа! — восклицаете вы. — Воздух-то, воздух какой!

А между тем в то время, как вы смотрели на озеро и наслаждались природой, слух ваш поражается звуками отдаленной музыки.

— Что это? ученье? — спрашиваете глубокомысленно вы, сообразив, что если уж и есть музыка в Осташкове, то не иначе, как военная.

— Нет; ученья у нас никакого нет, — снисходительно замечает вам ямщик, — а музыка у нас своя играет в саду

— Как в саду? что ты говоришь?

— Я врать не стану, сами посмотрите.

Но чем ближе подвигаетесь вы к музыке, тем удивление ваше возрастает все более и более. Немного не доезжая сада, вы снова видите здание совершенно такое же, как и казармы; на здании красуется огромная вывеска: *Дом благотворительных заведений общественного банка Савина.*

— Что здесь, в этом доме?

— Воспитательный дом, богадельня для престарелых и увечных, уездное училище, женское училище, воскресные классы.

— Недурно!..

А музыка слышится все громче и громче. Вы уже ясно слышите, что это не какой-нибудь паршивый квартетишко из отставных дворовых музыкантов, вы уже можете догадаться, что это целый оркестр; вы видите толпы гуляющих дам и кавалеров, шум, говор, изящные наряды; вот стоит карета, вот еще несколько экипажей, а тут народ. Сколько народу! да это просто Тверской бульвар.

— Нет, это выше сил моих! Я этого не вынесу! — говорите вы, окончательно подавленный таким неожиданным сюрпризом.

— Да откуда же у вас музыканты? — спрашиваете вы наконец у ямщика.

— У нас свои музыканты; граждане играют на музыке.

— Как граждане? какие граждане? где граждане?

— Так точно. Осташи, граждане.

— И ты гражданин? — вдруг почему-то струсив, спрашиваете вы ямщика.

— Справедливо. И я гражданин.

— Несчастный! что ты сказал?.. Да где ты живешь?!.— говорите вы шепотом.

— У хозяина живу, у Иван Прохоровича.

— Замолчи, глупый человек!

— Да что ж вы в самом деле? У нас в городе все грамоте знают. Вот ведь вы опять не поверите?

— И ты знаешь?

— Знаю.

— И читаешь книги?

— Читаю.

— Врешь?..

— Ей-богу, читаю. Да что вы, не верите? Вот я вам сейчас покажу человека. Вон наш ямщик стоит у решетки: хотите, я его при вас спрошу?

Вы крайне заинтересовываетесь.

— Парфен! подь сюда! Вон барина я привез, не верит, что у нас все грамоте знают. Слышь, хвастаете, говорит. Скажи ему, какую я книжку читал.

— Это точно, ваше благородие, что он «Трех мушкетеров» прочитал. Будьте без сумления. Мы тоже для праздника хвастать не станем,— подтверждает другой ямщик.

— Да нет, слышь, Парфен, и про музыку не верит, что граждане играют. Вот он у меня чудной какой! — и ямщик смеется.

— И насчет музыки это верно он вам докладывает.

В это время вдруг грянул хор; человек 50 великолепнейших голосов начали разом какой-то торжественный гимн.

Славься, славься, наш Осташков!..

долетает до вас, и вы слышите, как несколько страшных басов забирают верха.

— А вот певчие,— ведь это кузнецы поют,— доколачивает вас ямщик.

Вы уничтожены, вы неподвижно лежите в тарантасе, ничего не видите, не слышите и только в изнеможении, пóкачивая головой, говорите:

— Боже! Боже мой! и кто бы мог поверить? Осташков, уездный город... ямщики романы Дюма читают, кузнецы гимны поют... благотворительные заведения... банк... воспитательный дом!.. И Европа этого не знает!..

— Ступай, ступай, брат, скорее! Что ж ты стоишь? Вези меня к Коновалову, что ли, куда знаешь.

Но ямщик, смекнув в чем дело, не дает вам опомниться и хочет угостить вас уж за один раз всеми редкостями, которыми справедливо гордится Осташков. Ямщик везет вас все же таки по главной улице и, повернув налево, мимо каменных домов, кожевенных заводов, часовен и Никольского подворья, потом, захватив немного берегу, останавливается у входа на дамбу. Побывав на Житном, испытав высокое эстетическое наслаждение от созерцания природы, изумленные делами рук человеческих и подкрепив дух чтением поучительных надписей,— вы чувствуете непреодолимое желание увидеть по крайней мере то место, где обитает этот великий маг и волшебник, велением которого творятся такие чудеса.

— Ямщик! — восклицаете вы решительным голосом, садясь опять в экипаж.— Ямщик! вези меня к Федору Кондратьевичу!..

— Как-с? — переспрашивает ямщик, думая, что он обслушался.— К Федору Кондратьевичу?!.

— Ну да, да! к Федору Кондратьевичу, к вашему градскому голове; разве ты не знаешь?

— Как не знать! — сомнительно отвечает ямщик и насмешливо косится на вас через плечо, как будто думает про себя: «Чудно что-то это он говорит, братцы мои! Ей-богу. Уж не закачало ли и вправду, а может, не поднесли ли ему там, на Житном, святые отцы?» Но, встретив ваш отважный и решительный взгляд и вдруг сообразив что-то, ямщик пугливо схватывает вожжи, отвечает вам: «Слушаю, ваше сиятельство!» — и скачет во весь дух по бульварной улице,

да поскорей, да поскорей, а сам потряхивает головой, как будто говоря: «А черт его знает, кто он такой! может и точно Федора Кондратьевича знает; пожалуй, еще в шею накладет гражданину...»

Перед вами быстро замелькали: аптека, стриженые березки, ерши и капканы; бульвар кончился; экипаж несется мимо банка; влево показались: фабрика, кожевенный завод, литейный завод, газовый завод; телеграфная проволока пересекла улицу и пошла куда-то влево.

— Чьи это заводы и фабрики? Куда это проведен телеграф?

— Федора Кондратьевича, все Федора Кондратьевича, ваше сиятельство, а телеграф к ихней сестрице в вотчину проведен.

По обе стороны улицы вместо тротуара пошли липовые аллеи; толпа разной челяди и четыре огромных водолаза сидят у ворот какого-то барского дома; тут же вы увидали газовые фонари, сараи для склада товаров, множество сараев, и вот наконец перед вами дворец, обращенный главным фасадом к озеру.

— К парадному подъезду прикажете, ваше сиятельство? — почтительно спрашивает вас ямщик; и тут только вы начинаете замечать всю глубину уважения, которой мгновенно проникся он к вашей особе.

— Нет, нет,— торопливо останавливаете вы его,— не нужно. Я только так хотел посмотреть.

— А чтоб вас... совсем! Право! — так же быстро изменяя тон, начинает ворчать ваш ямщик.

— Тоже... к Федору Кондратьичу; ну, куда тебе?!.— бормочет он, поворачивая лошадей, но бормочет так, чтобы вы могли расслушать,— ишь ведь что вздумал? А тут сейчас и назад.

— Что ты говоришь? — спрашиваете вы, не вслушавшись в ворчанье.

— Ничего. Сиди знай! На постоялый двор, что ли? Так-то лучше. А то на́-ко что: к Федор Кондратьичу...— и вы ясно уже слышите, как ямщик вас передразнивает.

Но даже и это последнее обстоятельство нисколько вас не оскорбляет и ни на волос не охлаждает в вас этого горячего чувства расположения к Осташкову, которым вы успели проникнуться. Вас даже радует отчасти это грубое неуважение к вашей личности, выраженное сейчас ямщиком. В нем, в этом неуважении, вам видится та неизмеримая высота, то обожествление, так сказать, возведение в идеал, почти что

в миф, таинственной личности человека, выше которого бедный сын Селигера ничего не может себе и представить; человека, имя и деяния которого составляют справедливую гордость Осташкова... Вы даже чувствуете сильный позыв за только что нанесенное вам оскорбление, за эту грубость — дать ямщику на чай и довольный, веселый едете на постоялый двор. До вас все еще долетают звуки музыки, вы ясно можете расслышать:

Славься, славься, наш Осташков!..

— Веселись, ликуй, Европа!..— вдруг раздается насмешливое восклицание туземного мефистофеля, возвращающегося с гулянья.

Но и это не поражает вас и не забавляет нисколько; вы даже и не заметили ядовитой насмешки, скрытой в последней фразе; вам даже кажется, что второй стих вовсе и не пародия, что так именно и нужно петь и что Европа действительно должна веселиться и ликовать, и даже сами в сладком самозабвении припеваете: «Веселись, ликуй, Европа!..»

Поезжайте, добрый человек, к Коновалову; там отведут вам чистую, очень чистую комнату, за 40 копеек в сутки; дадут вам ухи из налимов и ночью клопы кусать вас не будут. И там же Нил Алексеевич расскажет вам, что он умеет танцевать кадриль и что у них в городе все свое: и пожарная команда, и певчие, и кузнецы, и рыбаки, и сапожники, и резчики, и золотильщики, и что даже фотография есть своя, что по зимам бывает клуб, танцевальные вечера, музыкальные вечера, а на театре «Горе от ума» и «Разбойников» представляют; а завтра утром съездите вы поклониться угоднику, а потом уезжайте скорей из Осташкова. Когда вы вернетесь домой — вы всем расскажете, что вы видели, а может быть даже и статейку об этом напишете, в которой как очевидец самым убедительнейшим образом будете доказывать, что в Осташкове все есть, решительно все, что нужно порядочному городу; даже больше, нежели сколько нужно; что Осташков передовой город и по развитости жителей, и по богатству, и по красоте местоположения; одним словом, во всех отношениях, и что другим городам должно быть очень стыдно. Города сдуру возьмут да и покраснеют, а мы вам так сейчас и поверим.

Письмо второе

ВИЗИТЫ

Сегодняшний день я посвятил визитам к разным, более или менее важным лицам в городе, к которым были у меня рекомендательные письма. Одни из этих лиц должны были принести мне пользу своим знанием города, другие могли указать пути, познакомить с кем нужно или растолковать, чего я не пойму. Вообще все с вечера было хорошо обдумано, на письма я возлагал надежды не малые, и весь следующий день был у меня рассчитан; но при первой же встрече с действительностию, как это часто случается, теория спасовала.

Накануне, с вечера, я отдал Нилу Алексеевичу два письма: первое — к некоторому должностному лицу, а другое — к одному почтенному ремесленнику, с тем, чтобы эти письма он снес на другой день, утром, и кстати бы узнал, когда и кого можно застать дома. Нил Алексеевич отнес их чуть свет, а утром, только что я успел открыть глаза, слышу — уж кто-то меня спрашивает, вбегает ко мне Нил Алексеевич и точно фельдфебель докладывает: «Господин Ф[окин]. Прикажете принять?» Входит очень чистенький старичок с ясным взором, в длинном сюртуке, с воротничками à l'enfant, и рекомендуется: Ф[окин], то есть тот самый ремесленник, к которому было послано письмо. Я было немножко сконфузился, стал извиняться, но Ф[окин] оказался до такой степени любезным, симпатичным и готовым сделать с своей стороны все, что можно, для облегчения мне знакомства с городом, что я успокоился. Напились мы чаю и сейчас же отправились. День был праздничный, а потому мы пошли прежде всего к обедне в*** церковь. Погода с вечера еще разгулялась, озеро покойно, народу на улицах и на воде множество. Мужчины-граждане всё бритые с усами, высокие, больше черноволосые, в синих чуйках, другие и в пальто; женщины в ярких шелковых платках и в шубей-

ках или в кринолинах, бурнусах и шляпках. Кое-где офицер пройдет, неестественно вывертывая плечи; проедет купец, в ваточном картузе с большим козырьком, в старинной, неуклюжей пролетке и медленно, не поворачивая головы, кланяется знакомым. На базаре висят желтые, не вычерненные *осташи* (крестьянские сапоги) с острыми носами, продаются корзины для сушеной рыбы, деревянная посуда и капуста; народ галдит, бабы, сидя на земле, торгуют брусникой и баранками.

Когда мы пришли в церковь, обедня уже началась. Народу было много; но публика рассортирована: почище впереди, посерее сзади, мужчины направо, женщины налево; певчие на обоих клиросах, и голоса очень сильные, особенно баса, о чем свидетельствуют отчасти и здоровенные шеи кузнецов с подбритыми затылками, стоящих на клиросе. Впрочем, пение бестолковое: всё по нотам, всё по нотам, fortissimo[1] беспрестанно, andante[2] и allegro[3] почти различить невозможно, мелодии никакой. Церковь старинная, стены сверху донизу покрыты резьбой, но все это очень грубо, аляповато и без всякого вкуса. Иконостас в одном стиле, а стенная резьба в другом; огромное закопченное паникадило; над дверьми и между окнами множество херувимов с раскрашенными лицами; кисти разные, шнуры по стенам вперемешку с арабесками домашней работы. Вообще заметно желание налепить как можно больше всяких украшений, не разбирая — идет одно к другому или нет. Живопись тоже плохая. Пока мы пробирались вперед, Ф[окин] успел уже кой-кому шепнуть что-то обо мне, так что когда мы стали позади правого клироса и я оглянулся, то встретил уже несколько любопытных взглядов и даже два-три поклона. Стою, вдруг сзади кто-то спрашивает:

— Вы надолго изволили приехать в наш город?

Я оглянулся.

— Не знаю,— как придется.

— Честь имею рекомендоваться, такой-то.

— Очень приятно.

Спустя несколько минут опять:

— А ведь в нашем городе, я вам скажу, любопытного мало.

— Неужели?

— Ей-богу. Невежество это, знаете, грубость какая-то.

---

[1] Fortissimo *(ит.)* — громко.
[2] Andante *(ит.)* — умеренно.
[3] Allegro *(ит.)* — быстро.

— Мм!

За охотой ходить здесь хорошо. Вы не охотитесь с ружьем?

— Нет.

— А вот у нас С. К. все стреляет,— охотник смертный.

Я посмотрел на С. К., а мой сосед фыркнул себе в горсть. С. К. заметил, что смеются, в недоумении обвел вокруг себя глазами и начал усердно молиться. Сосед мой, однако, не успокоился; немного погодя нагнулся мне к самому уху и спрашивает:

— Вы любите стихи?

Я ничего не ответил.

— У нас тут есть стихотворец свой, доморощенный, самородный эдакий талант, и какие же стихи качает — страсть. Вот бы вам прочесть.

Я молчу.

— Если угодно, я могу достать вам тетрадку — любопытно. Что ж такое? отчего ж от скуки и не прочесть?

Но видя, что я не отвечаю, он вздохнул и стал подтягивать певчим.

После обедни Ф[окин] пригласил меня к себе пить кофе и оставил даже обедать. Тут, впрочем, узнал я не много нового: Ф[окин] все хлопотал о том, чтобы я как можно больше ел, а жена его, оказавшаяся отличной хозяйкой, до такой степени суетилась и старалась угодить, что мне даже стало совестно: точно я генерал какой-нибудь. После обеда, когда мы сели на диван, Ф[окин] рассказал, что в городе много купеческих капиталов[1], но что все они, кроме двух-трех, ничего не значат, потому что в гильдию записываются во избежание рекрутской повинности, что город записали было по числу капиталов в первый разряд, но голова поехал в Петербург хлопотать о том, чтобы выписать город из первого разряда, так как купцы не в силах нести всей тяжести возлагаемых на первоклассный город обязанностей.

— Наш городочек маленький, жалкенький, где нам за другими тянуться?— говорил Ф[окин], сидя на другом конце дивана и добродушно, кротко улыбаясь.

— Как же вы говорите, что город ваш беден? Ведь у вас промыслы большие: кожевенный, кузнечный, рыболовный.

---

[1] В Осташкове в 1860 году было 307 купеческих капиталов 3-й гильдии, 2 капитала 2-й и один — 1-й. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

— Это все так, только нам все-таки до Ржева или до Старицы далеко. Всякие промыслы, всякие ремесла есть у нас; каких-каких мастеров у нас нет, а ведь ни одного такого промысла нет, чтобы во всей силе, настоящий, значит, был. Есть вон, пожалуй,— спохватившись, заметил он,— есть, точно, фабрика бумажная, да ведь городу от нее пользы никакой, и работают-то на ней больше чужие, не здешние; ну кузнечики точно, что еще туда-сюда, поколачивают, а настоящий только один и есть Алексей Михайлович Мосягин. Беднеет наш городочек,— заключил он,— очень беднеет. Торгуем больше по привычке, для виду, этими там сапожками да рыбкой. Гордости у нас много, потому и торгуем. Рыбкой и то обеднели: повывелась рыбка совсем.

— Ну, а как же банк-то? Откуда же там двести тысяч?

Ф[окин] улыбнулся.

— А как бы нам кофейку,— закричал он в другую комнату.— Как бы хорошо теперь кофейку со сливочками.

— Сейчас, сейчас, сливки греются,— слышно из залы.

Там уж давно гремели чашки, мальчик бегал, осторожно ступая по отлично вымытому полу, и вот опять является поднос с чашками и с какими-то особенными сушеными булками.

— Пеночек-то, пеночек побольше берите!— угощает меня супруга Ф[окина], вся красная от хлопот по хозяйству. Она тоже берет чашку и садится с нами пить кофе.

— А что, у вас папаша с мамашей есть?— спрашивает она с участием.

— Мамаша есть, а папаши нет.

— Ах, скажите, какая жалость!

Я начинаю скоро-скоро размешивать ложечкой кофе и стараюсь наморщить брови.

— Как у вас женщины хорошо одеваются!— говорю я, желая свести разговор с этого чувствительного предмета опять на Осташков.— Я сегодня видел у обедни: какие шляпки! какие бурнусы!

— Да, уж у нас бабеночки любят принарядиться,— лукаво подмигивая мне, отвечает Ф[окин].— Театры, гулянья да наряды просто их с ума свели. Другая ложечки да образочки последние заложит; хоть как хочешь бедна, а уж без карнолинчика к обедне не пойдет.

— А разве у вас есть закладчики?

— У нас местечко такое есть: что хотите возьмут. Что кокошничков старинных с жемчугами, поднизей, сарафан-

чиков парчовых снесли туда наши бабеночки: все принимают, ничем не брезгают. Мода такая у нас есть; опять танцы, публичные садочки, театры; ну, разумеется, никому не хочется быть хуже другой: осмеют. Из последнего колотятся, только бы одеться по моде да к обедне в параде сходить. Другая гражданочка всю неделю сапожки тачает не разгибаясь, и ручки-то у ней все в вару, ребятишки босые, голодные, а в церковь или на бульвар идти, посмотрите, как разоденется, точно чиновница какая.

А тут опять является поднос с вареньем, брусникой и мочеными яблоками. Наконец я начинаю чувствовать, что наелся до изнеможения, что к продолжению беседы оказываюсь неспособным и потому отправляюсь домой спать.

Странный человек этот Ф[окин]! Родился, учился и состарился в Осташкове, мастерство свое сам, собственными усилиями, довел до замечательного искусства; у него очень много вкуса, страсть ко всему изящному. На старости лет вздумал учиться музыке и самоучкой выучился играть на фортепьяно.

Вечером я сделал еще три визита с рекомендательными письмами.

Прежде всего пошел к одному сановнику, проживающему в городе, и застал его гуляющим по зале с каким-то гостем. Я отдал письмо. Сановник прочел и пригласил меня в гостиную:

— Не прикажете ли трубку?

Я отказался.

— Так вот-с,— начал сановник, свертывая письмо мое фунтиком,— вы приехали, собственно, затем, чтобы посмотреть на нас — осташей,— как мы тут живем?

— Об Осташкове столько писано, столько говорят...— начал было я.

— Да, стоит, стоит, нарочно стоит приехать посмотреть, любопытный город! Нет, я говорю,— обратился он к гостю, который тоже уселся поодаль,— я говорю, что значит Россия-то матушка?

— Да-с.

— Да вот хоть бы наш Осташков. Что такое? Вдруг где-то там, в захолустье, на болоте, стоит уездный городишко, растет, богатеет, заводит у себя свою пожарную команду, банк!.. понимаете?— банк! ведь это что такое? театр!.. библиотеку для чтения!.. а? ну, где это видано? Наконец, живет самостоятельно, как будто там какой-нибудь Любек, что ли.

И никто об этом знать не хочет. А ведь будь это за границей, уши бы прожужжали, а у нас нет. Самолюбием бог нас обидел, вот горе! Я вон депешу сейчас прочел в газетах: дают знать, что королева Виктория проехала из Винзора в Осборн (она туда каждую неделю ездит); ведь депеша, не забудьте! телеграф сообщает такое важное событие, а мы сдуру сейчас печатаем, что вот какое событие: королева проехала в Осборн. Да на кой черт мне это нужно?.. (слово черт сановник произнес *чхорт*). Ты вот мне лучше о родном городе напиши, чтобы я знал, что вот в таком-то городе такие-то улучшения, а он мне про королеву Викторию...

— Ведь это все Федор Кондратьич...— заметил гость.

— А? да, вы про улучшения. Да, ну не совсем. Он, конечно, имеет на них большое моральное влияние и многое может сделать для города. Да чего же лучше? Теперь пожарная команда есть. Своя ведь у нас пожарная команда, не казенная, из обывателей,— сообщил он мне.

— Как же-с, я знаю,— поспешил я ответить.

— Нет, я ему говорю: «Что ты не выхлопочешь себе полиции из обывателей?» Его же там в Петербурге все знают: мог бы выхлопотать; и ведь разрешат.

— Отчего же не разрешить?— заметил гость.

— Как?

— И я говорю, что отчего же не разрешить?— повторил гость погромче.

— Ну да, разумеется. Ведь они могут быть покойны. Знают, кому разрешить. Другому, конечно, не позволят. Эй! подай мне трубку!— вдруг крикнул сановник.

— И мне, братец, тоже,— сказал гость.

Старый лакей, с длинными седыми висками, принес две трубки и зажженную бумажку. Подал трубки, подержал бумажку и потом погасил ее пальцами

— Я слышал, что город, кажется, изъявлял желание провести железную дорогу от Осташкова до Вышнего Волочка?— решился я спросить.

— Был проект, как же,— держа янтарь в губах, отвечал сановник.— Только не город, а частное лицо хотело взять на свой счет половину издержек, а другую половину предлагало другому лицу, но тут вышли какие-то недоразумения, и дело не состоялось. Конечно, это было бы хорошо. Я говорю: соедини только Осташков с Петербургом и Москвой,— ведь он на полдороге стоит,— вы понимаете, как бы это подняло город? Теперь одних богомольцев перебывает здесь до десяти

тысяч; сколько же наедет, если провести дорогу? Потом вся промышленность этого края оживится; Осташков же будет служить ей центром.

— Сколько я знаю,— заметил я опять,— промышленность города и окрестных сел очень незначительна, кроме рыбной, которая тоже, говорят, слабеет, вследствие неправильного лова. И мне кажется, что упадок промышленности края происходит не от недостатка путей сообщения, напротив, их слишком много: вода; а от недостатка капиталов.

— Ну, этого нельзя сказать, чтобы у нас не было капиталов. У нас есть банк, в котором лежат двести тысяч, у нас есть, кроме того, богачи — Савины. Они на своих собственных кораблях привозят хлопок для своей филятюрной фабрики из Америки и Ост-Индии. У нас есть кожевенные заводы, кузнечное производство, потом мужик везет свой продукт тоже в город, а здесь покупает сапоги. Наконец, вот вам еще: мы имеем здесь прекрасную рыбу; мы имеем судаков, лещей, мы имеем налима. Нет, я вам расскажу интересную вещь: сегодня утром (сановник опять обратился к гостю) — говорю я сегодня повару: ступай, говорю, братец, на базар и принеси ты мне леща...

Но, к несчастию, окончания этого интересного рассказа о леще узнать мне было не суждено, потому что вошел человек и доложил о приезде еще двух гостей.

Пошли разговоры о мировых съездах, споры о недобросовестности посредников и о невежестве мужиков; но так как мне хотелось поспеть в шесть часов к одному должностному лицу, которое обещало меня ждать, то я откланялся и ушел.

Солнце уже село, и по всему озеру разлился тот великолепный фиолетовый цвет, который можно видеть только на взморье. Не мог я не заглядеться на озеро, на дальние берега, на сети, развешанные над водой. В воздухе пахнет рыбой и мокрым деревом; рыбаки, вернувшиеся с ловли, выгружают добычу, стоя по колени в воде; лодка несется под парусом, ближе и ближе, и сразу врезалась носом в берег. Чайки уныло кричат, ребенок плачет где-то в рыбачьей избушке. Так я дошел до самого дома должностного лица и позвонил. Застал я его за чаем, в обществе двух офицеров и одного красивого молодого человека в штатском платье. Пошли опять те же вопросы:

— Так вы, собственно, посмотреть на Осташков приехали? — и т. д.

— Не стоит,— говорило должностное лицо, развалясь в кресле.— Самый подлый городишко. Вы не верьте, что вам об нем рассказывали,— врут.

— Чем же он нехорош?

— Да всем. Первое — жизнь дорога, климат убийственный, говядина гнусная, общества никакого; раки только вот одни и есть; да еще воры здесь отличные. Вот это правда.

Офицеры дружно засмеялись.

— Новото́ры — воры, да и осташи хороши,— как будто про себя сказал красивый молодой человек, покачиваясь на стуле.

Я делаю легкое возражение и указываю на поголовную грамотность в Осташкове как на факт весьма знаменательный.

— Помилуйте! что ж тут знаменательного? это все вздор!— отвечает должностное лицо в припадке отрицания.— Все вздор! Невежество полнейшее. Да и какого он черта будет читать? Позвольте вас спросить.

— А библиотека?..

— Библиотека!..— иронически повторяет должностное лицо.— Нашли библиотеку... Да вы не знаете ли... извините, не имею чести знать вашего имени...

— Василий Алексеевич.

Знаете ли вы, почтеннейший Василий Алексеевич, что такое библиотека?

Пауза. Мы смотрим друг на друга.

— Ведь, это, батюшка, четыре тысячи двести тридцать восемь томов. Понимаете? четыре тысячи двести тридцать восемь томов, ну и кончено, и весь разговор. У нас-де вот четыре тысячи двести тридцать восемь томов; у нас двести тысяч в банке; у нас его превосходительство всегда довольны остаются. Ведь это все *у нас*, а *у вас* что? У вас этого нет. У! у! у вас нет, у вас нет! а у нас есть, а у нас есть! Вот вам и библиотека! Помилуйте, что тут может сделать грамотность, когда у меня в брюхе пусто, дети кричат, жена в чахотке от климата и тачания голенищ? Что толку в том, что я грамотный, когда мне и думать о грамоте некогда? Бедность одолела, до книг ли тут? Ведь это Ливерпуль! Та же монополия капитала, такой же денежный деспотизм; только мы еще вдобавок глупы,— сговариваться против хозяев не можем — боимся; а главное, у них же всегда в долгу. А праздник пришел, я первым долгом маслом голову себе намажу и к обедне, потом гулять на бульвар или в театр.

Нелья же, у меня развитой вкус; тщеславие дурацкое так и прет меня врозь. Баба готова два дня не евши сидеть и детей поморить голодом, только бы на бульвар в шляпке сходить да на Житном в беседочке посидеть. Разврат! Девчонка, вон она... (он указал на печку). От земли не сросла, а тоже в училище без кринолина ни за что не пойдет. Вот вы говорите там — грамотность, библиотека, школы... Ну, хорошо-с. Ведь уж учат, кажется, на что лучше: и грамматике, и географии, и истории, и чему-чему не учат; и там в школе они все это отлично знают и гимны там разные поют, а не угодно ли послушать — как он говорит, когда выйдет из школы? Отчего же это от *горазно*, да от *горажже*, да от разных там *питьчи* да *едчи* никак он отвыкнуть не может? Поглядите вы на него в школе, где он вам об Тургеневе расскажет, и потом послушайте его через год по выходе из училища, когда уж он в работу пошел и начнет *в воды* шкуры мочить, или *из воде* рыбу таскать. Вот вы тогда и увидите, какую пользу ему грамотность принесла. А тут вот еще просветители-то радеют.— Он указал на офицеров.

— Ваши солдатики-с!

Офицеры, занявшиеся было своим разговором, стали вслушиваться.

— А что?— спросил один.

— Да разные художества развивают в наших мещанах, то бишь гражданах. Все забываю. Ведь они у нас не мещане, а граждане.

— Что ж? я дурного еще ничего не вижу в том, что они граждане.

— Да и я не вижу; только гражданами-то у нас мещане себя называют. Вчера еще он был гражданин, а сегодня, положим, в гильдию записался; попробуйте-ко его гражданином назвать, так он на вас просьбу подаст — оскорбили. Сегодня уж он купец, а не гражданин. Вы думаете, он понимает, что это такое — гражданин? Он себя потому гражданином называет, что эта кличка все-таки лучше, нежели мещанин, так же вот, как лакей у богатого барина никогда не назовет себя «лакеем», а говорит: «Я камердинер», «я дворецкий». Вы, батюшка, не обольщайтесь этими штуками: банками там разными да театрами,— это все блестки. Вот вы поживите здесь да копните-ко хорошенько, вот и увидите, что Осташков — это маленький Китай, с той только разницей, что мы еще мышей не едим, а то ни в чем не отстали.

— Скажите, пожалуйста,— перебиваю я,— как же теперь

согласить этот китаизм, как вы говорите, с теми успехами, которые заметны здесь в городском устройстве?

— А вот поживете, узнаете, какие мы тут успехи оказываем, как мы эти разные современные польки вытанцовываем. Я вот вам как скажу: осташ кровно убежден в том, что лучше его города быть не может, что Осташков так далеко ушел вперед, что уж ему учиться нечему, а что Россия должна только удивляться, на него глядя. Кроме своей пожарной команды и Федора Кондратьича осташ знать ничего не хочет; он не шутя уверен, что там, дальше, за Селигером, пошла уже дичь, степь киргизская, из которой время от времени наезжают к нам какие-то неизвестные люди: одни за тем, чтобы хапнуть, а другие, чтобы подивиться на осташковские диковины и позавидовать им. Потом он знает еще, что где-то там за Селижаровкой есть город Питер и что ежели в Осташкове что-нибудь нездорово, то Федор Кондратьич съездит в Питер и отстоит своих осташей.

— Это так,— подтвердил красивый молодой человек, а хозяин, прихлебнув из стакана, продолжал:

— Вот хоть бы вы теперь приехали, как вы думаете? Что́ они о вас говорят? Собрались где-нибудь и толкуют: «Вот, мол, приехал, нарочно приехал посмотреть на нас. Стало быть, мы, братцы, известны всему свету, и все только о нас и говорят, только и думают». Впрочем, нет, и это вздор, они о вас думают просто, что вы шпион, только никак понять не могут, от кого и зачем вы подосланы. Какой тут прогресс! Помилуйте!— подумав немного, сказал он.— Застой, самый гнусный застой и невежество с одной стороны, и нищета с другой. Вот стуколка здесь процветает, это правда!— вдруг неожиданно завершил он, обратясь к офицерам.— Так ли я говорю, господа?

Офицеры, осовевшие было во время разговора, встрепенулись и отвечали одобрительной улыбкой.

— А что? не стукнуть ли нам и всерьез?— спросил он меня.— Вы не упражняетесь в сем душеспасительном занятии?

— К несчастию, нет. Да мне и пора. Нужно еще побывать у одного господина.

— Ну, делать нечего. Желаю вам веселиться. А мы вот с господами офицерами стукнем. Здесь, батюшка, без стуколки просто бы смерть. Делать нечего, читать нечего. Из библиотеки журналов не добьешься, нету. Что прикажете? Лежат там у кого-нибудь неразрезанные, а тут жди целый месяц, да когда еще по иерархической линии очередь

дойдет. А вам бы уж дождаться возвращения Федора Кондратьича из Петербурга,— говорил он, провожая меня,— он бы вам все это систематически разъяснил, он на эти дела мастер. До свидания.

Третий визит нужно было сделать одному бывшему влиятельному лицу в городе.

Пока я дошел до него — уже совсем почти смерклось. На бульваре попались два-три чиновника с женами, а за бульваром пошли заборы и фабрики; улица усажена липами; у ворот большого каменного дома толпятся люди. Я подошел к одному, дворнику, и спросил: «Дома ли**?» Дворник пристально посмотрел мне в лицо и тоже спросил:

— Ты от кого?

— Сам от себя.

— Зачем?

— Дело есть.

— К самому?

— К самому.

— Сам-то он у нас не любит, у нас все в контору! Ну, да вот я как тебе скажу. Слушай! Коли хочешь ты себе добра,— ступай ты,— вон видишь подъезд,— стань ты у подъезда и дожидайся. Он сейчас выйдет,— вон лошадь подана. Как выйдет, чтобы ты был тут безотменно и сейчас можешь просить, что тебе нужно. Ну не мешкай, ступай! Я вижу, ты парень хороший.

Поблагодарив дворника за добрый совет, я, однако, вошел на крыльцо и позвонил. Вышел лакей.

— Дома?

— Пожалуйте! Я сейчас узнаю.

Я вошел в приемную, большую комнату с лоснящимся полом, старинной мебелью и фарфоровыми игрушками на горках. Лакей пошел с принесенным мною письмом и через несколько минут возвратился, говоря, что скоро выйдут,— занимаются. В ожидании выхода я стал ходить по комнате. Из приемной дверь отперта в большую залу, выкрашенную желтой краской, на стенах газовые рожки и узенькие старинные зеркала в позолоченных рамах, пахнет киндербальзамом. Минут через десять вышел ко мне человек лет сорока пяти, с небольшой лысиной и недоумевающим лицом, держа в руках мое рекомендательное письмо. Мы вошли в залу и сели у окна.

— Вы...— начал он,— вы, как я понял из письма, определяетесь к нам в город учителем?.

Я вытаращил глаза.

— Как? неужели это могло быть написано в письме?!

Но в ту же минуту я догадался, в чем дело. Ясно было, что он не понял написанного в письме. Взглянув пристально в лицо человеку, который сидел против меня и в недоумении смотрел мне в глаза, я сообразил, что он легко мог спутать выражения *изучать город* и *учить в городе*. Такая ошибка вовсе не удивительна в человеке, который, как видно, никогда никого не учил и ничего не изучал. Однако я поспешил разрешить недоразумение и тут же стал объяснять, зачем, собственно, я приехал в Осташков. Но в то же время мне пришло в голову: если уж этот господин, на которого главным образом возлагались мои надежды, так дико отнесся к моему делу, чего же ждать от других? От него я надеялся получить разные официальные сведения, и, кроме того, меня уверили, что он, с своей стороны, может сообщить мне много интересного, как человек влиятельный и коротко знающий по крайней мере современную ему эпоху из истории цивилизации Осташкова.

— А! да-с; я понимаю-с, понимаю-с,— заговорил он скороговоркой.— Это значит — вам нужны сведения. В таком случае не угодно ли вам будет обратиться в нашу контору: там вам все это... да там уж знают-с. У нас бывали такие случаи. Это можно-с. Очень хорошо-с. Я велю-с.

И все это так скоро, скоро, с озабоченным видом. Самое благоразумное, что можно было сделать после такого полезного разговора, это — поблагодарить за обещание и удалиться, что и сделал я. Тем и кончились в этот день мои покушения на знакомство с осташковскими властями.

Письмо третье

ШКОЛЫ

продолжение этой недели я видел и слышал столько, что вдруг всего и сообразить не могу. А тут еще скверная привычка — систематизировать все на свете и от всякого вздора добиваться смысла,— только сбивала меня с толку. Беспрестанные противоречия и в словах и на деле с каждым днем осложняются все больше и больше, а вместе с ними сильнее и неотступнее мучит меня вопрос: что такое Осташков? И чем проще стараюсь я разрешить его, тем более теряюсь в этой путанице противоречий, которые как нарочно случаются самым непонятным, самым невозможным образом. Наконец, мне приходило в голову, что все эти господа, с которыми я здесь вижусь,— все более или менее врут. Убедившись в этом, я взялся за факты, за цифры — и они врут! Понимаете ли? врут официальные сведения, врут исследования частных лиц, врут жители, сами на себя врут. Вы понимаете, как это должно раздражить любопытство, как это поголовное вранье подстрекает и поддразнивает, и до какой степени вопрос,— что такое Осташков?— становится интересным. Теперь я решился просто записывать, что вижу и слышу, записывать все, не сортируя, не анализируя фактов и слухов. Делайте с ними что хотите, освещайте их как угодно; я буду только записывать.

В хронологическом порядке прежде всего следует рассказать о женском училище.

Попал я туда нечаянно: шел мимо и зашел. Поднялся на лестницу, вижу — дверь в сени отворена; я туда. В сенях девочка стоит и пьет воду. «Можно войти посмотреть?» Говорит: «Можно».

— Есть кто-нибудь в классе?

— У нас в старшем классе смотритель сидит.

— Ну и отлично.

Я снял пальто и прямо в класс, вслед за девочкой. Де-

вочка только успела сказать о моем приходе смотрителю, как я уж вошел. Смотритель сидел на скамейке, а вокруг него столпились ученицы и смотрели в книгу: он им что-то там показывал. Появление мое было все-таки очень неожиданно; все вдруг всполошились, и смотритель тоже не знал, что подумать. Тут только я вспомнил, что поступил не совсем вежливо,— не предупредив никого, вошел в класс,— а потому поспешил извиниться и просил позволения послушать, как они занимаются. Сначала класс немножко было сконфузился, но скоро все пришло в порядок: девочки сели по местам и смотритель начал делать им вопросы.

В классе — в очень светлой и чистой комнате — помещалось девочек 30, не моложе 10—12 лет, все очень тщательно одетые и причесанные, в чистых воротничках. И так как я застал их врасплох, то наверное можно сказать, что заранее приготовленного ничего не было. С первых же двух-трех вызовов можно было догадаться, что ученицы размещены по успехам. На первой скамейке сидели девочки постарше и отличались перед прочими даже некоторой изысканностию туалета. Для первого опыта вызвана была девочка лет двенадцати, сидевшая с краю на первой скамейке, с круглым лицом, тщательно одетая, в белом фартуке, с бархоткой на шее; по всей вероятности, очень скромная, старательная, но не с бойкими способностями девочка.

— Раскройте книгу на такой-то странице,— сказал смотритель.

Все в одну минуту отыскали требуемую страницу.

— Читай!

Девочка начала читать какой-то исторический отрывок, кажется, из руководства Паульсона, где упоминалось что-то о финикиянах.

— Ну, довольно,— сказал смотритель.— Вот мы сейчас прочли о финикиянах. Не можешь ли ты мне сказать, чем занимался этот народ?

Девочка опустила книгу на стол и, бесстрастно глядя на смотрителя и вытянув шею, начала говорить очень скоро, не прерывая голоса:

— Финикияне, финикияне, они занимались, они занимались тор-тор-торговлей.

— Так, торговлей,— одобрительным тоном подтвердил смотритель.— Ну, а почему они выбрали именно этот род занятий? что их побудило к этому?

Девочка продолжала смотреть прямо в глаза смотрителю и, не шевелясь, опять зачастила:

— Их побудило, их побудило к этому то, что они...

— Ну, что?

— То, что они избрали это занятие,— опять было начала девочка и остановилась.

— Почему же они избрали именно это занятие?— допытывался смотритель, притопывая ногой на слове *это*.

Девочка молчала, не спуская своих белых, бесстрастных глаз с смотрителя.

— Жили на берегу моря, на берегу моря...— шепчет кто-то сзади.

— Потому что они жили...— опять начала было девочка.

— Ну, где ж они жили?

— Они жили...

— На берегу моря...— подсказывают сзади.

— На берегу моря,— нерешительно говорит девочка, вдруг изменив тон.

— Ну да. Потому что они жили на берегу моря,— одобрительно покачиваясь, заключает смотритель.

— Потому что они жили на берегу моря,— успокоившись, как будто запоминая уже про себя, повторяет девочка.

— А какие они сделали изобретения?

— Они изобрели меру и вес.

— Хорошо. А еще что они изобрели?

— Компас,— шепчут сзади.

— Еще они изобрели компас,— торопливо отвечает девочка.

— Так, компас,— подтверждает смотритель, моргая от нюхательного табаку, и, обратившись ко мне, говорит вполголоса:

— Многого, знаете, от них и требовать нельзя: мы еще недавно принялись за эту систему. Не угодно ли послушать; вот я еще других спрошу. Довольно!— сказал он отвечавшей ученице.— Петрова!

Петрова, сидевшая на второй скамейке, должно быть, шалунья страшная, быстро вскочила, обдернула фартук, сложила руки на желудке и, как солдат, вытаращила на смотрителя глаза.

— Петрова! Скажи, что такое компас?

— Компас — это астрономический инструмент, употребляемый мореходцами для того, чтобы не сбиться с пути,— бойко однообразным голосом отрапортовала она и сразу оборвала на последнем слове.

— Что он показывает?

— Он показывает страны света.

— Сколько стран света?

— Четыре: север, юг, восток, запад.

— Хорошо. Иванова! Какие еще изобретения сделали финикияне?

Иванова,— бледная, золотушная девочка, очень бедно одетая, встала и печальным монотонным голосом объявила, что финикияне изобрели еще пурпуровую краску.

— А кто был, как говорят, причиной этого изобретения? Матвеева!

Матвеева, занявшаяся было ковырянием стола и, должно быть, не слушавшая, встала, спрятав руки под фартук, и покраснела.

— Кто же был причиной?

— Собака,— шепчут сзади,— собака...

— Соболь!..— не расслушав, пискнула Матвеева нерешительно и в недоумении посмотрела на всех.

Девочки фыркнули в книги.

После того вызвано было еще пять или шесть девочек, и многие отвечали очень хорошо. Видно было, что они, если не всё, то очень многое понимают из того, что отвечают. Потом вызвана была одна девочка к доске; ее заставили написать под диктовку басню,— без знаков препинания,— другая расставила знаки очень удовлетворительно; хотя заметно было, что и эта басня и расстанавливание знаков им давно знакомы. В ответах, несмотря на их точность и ясность, не понравилась мне какая-то казенная манера отвечать по-солдатски, вытянув шею и бесстрастно глядя в глаза тому, кто спрашивает. Да и эта излишняя книжная точность ответов, несвойственная детскому возрасту, показалась мне очень подозрительной. Вообще рассуждения — как я убедился и после — не в духе принятой здесь системы. После этого испытания девочки принесли мне посмотреть разные воротнички, рукавчики и юбки своей работы; потом взяли ноты, стали передо мной в кучку и запели: «Боже, царя храни»; потом смотритель сказал мне, что они в виде забавы учатся и светскому пению.

— Ну-ко, девицы, «Кукушку»!

Все зашевелились, достали другие ноты, стали опять в кучку и затянули старинную песенку, сочиненную каким-то монахом: «Ты скажи, моя вещунья»; причем одна высокая, худощавая девочка делала соло: «ку-ку! ку-у-ку-у! ку-у-ку! ку-ку! ку-ку!» — и делала в это время такое наив-

ное и сосредоточенное лицо, что я чуть было не засмеялся. Наконец, узнав, что пению обучает диакон, и поблагодарив смотрителя и учениц за доставленное мне удовольствие, я собрался уходить, но смотритель повел меня еще в младший класс, где супруга его занималась с девочками рукоделием. Тут я опять имел случай видеть огромное количество воротничков, чулков и проч., очень искусно сделанных девочками лет 9—10. Оттуда мы прошли в приготовительный класс, небольшую комнату, где человек 50 уже совсем маленьких девочек учились читать. Тут были всевозможные девочки и в самых разнообразных костюмах: девочки, еще носившие на себе явные следы родного запечья и не успевшие еще усвоить себе ни этой прилично-бесстрастной наружности, ни приторно-школьной беспечности; девочки вовсе еще не выделанные, с большими животами, разинутым ртом и в родительских обносках. Но и тут показал мне смотритель одну только что приведенную и уже совсем испорченную девочку, дочь достаточных родителей, которая отлично умела читать по знакомой книге, когда ей говорили первое слово, но, начав читать, она не могла уж остановиться, а остановившись, не могла начать с середины или указать слово, которое она только что прочла. Постояв несколько минут в классе и подивившись успехам звуковой системы, вышли мы в сени, где кучей лежало детское платье. Смотритель предложил мне пройти с ним в другое отделение дома и взглянуть на уездное училище. Впрочем, там особенно замечательного мы ничего не нашли. Все было в порядке: в первом классе законоучитель объяснял мальчикам катехизис; во втором классе несколько глуховатый наставник просматривал написанную на аспидных досках басню «Лягушка и вол»; а в третьем — маленький, но необыкновенно шустрый мальчик во все горло доказывал равенство прямоугольных треугольников. Мальчик удивительно бойко подскакивал к доске и, подымаясь на цыпочках, ловко постукивал мелом по буквам, написанным на доске, крича что есть мочи:

— В предыдущий раз показаны были условия равенства всех треугольников вообще, а посему они относятся и к прямоугольным. Но равенство сих последних, как более определенных по своей форме, может быть доказано и при других условиях, которые недостаточны для треугольников вообще.

— А как доказать равенство прямоугольных треугольников?— в том же тоне и так же громко спрашивал учитель,

стоя в некотором отдалении и указывая издали мизинцем на треугольники, нарисованные на доске.

— Для того, чтобы доказать требуемое, предположим, что... и т. д. Если докажем, что AE = DF, то вместе с тем докажем предложение,— повернувшись на каблуках, кричал бойкий мальчик.— Для доказательства вышесказанного мы можем принять три случая.

Кончив все три случая и крикнув в заключение: «что и требовалось доказать» — мальчик поклонился, вытер себе руки и самодовольно сел на место.

Прощаясь с смотрителем, я спросил его, чем можно объяснить такое огромное число желающих учиться в осташковских школах.

— Да как вам сказать?— отвечал он.— Должно быть, сознаем пользу, что ли. Уж бог знает.

— Мне кажется, что главной причиной этому служит грамотность родителей,— заметил я.

Он немного помолчал и наконец, как будто раздумывая о чем-то, сказал:

— Вот, видите ли! О родителях я могу вам рассказать такой случай: приходит ко мне, например, какая-нибудь там сапожница, что ли, приводит мальчика или девочку и говорит: «Возьмите их, сделайте милость. Мне с ними, с пострелятами, смерть пришла. И без них тошно. Смотреть за ними некому: того и гляди друг дружке глаз выколют; а как они половину-то дня в училище просидят, мне все свободнее».— Ну, вот, я их и приму. И пошли они ходить — учиться. И ведь такие случаи беспрестанно повторяются, чуть ли не каждый день. Мать сама ему не дает лениться, чтобы он ей не мешал. У нас, как вам известно, бедные мещанки все до одной заняты работой целый день; разумеется, ей некогда с детьми возиться. В четыре часа он пришел домой, мать его опять сажает за книгу; учи к завтрему урок; а потом спать. Вот и целый день.

— Все это так; но согласитесь, что и в других городах та же бедность и те же дети?

— В других городах, видите ли, не то: там, во-первых, у матерей больше свободного времени, потому что в других городах мещанки обыкновенно ничего не делают; следовательно, имеют возможность сами возиться с ребятишками; а во-вторых, потому, что там и училища большею частию так устроены, что родители боятся посылать туда своих детей. То, глядишь, учитель клок волос у мальчика вырвал, то смотритель велит сказать отцу, чтобы к празднику не-

пременно гуся принес, а не то, говорит, сына запорю. Ну, а у нас этого нет. У нас все это, знаете, облагорожено. Ну, да что тут. Поживете, увидите,— заключил он, махнув рукой, и мы расстались.

«Из вышесказанного что́ следует заключить?— рассуждал я по выходе из училища,— что вопрос о народном образовании сводится на вопрос экономический». Но тут же вспомнил о возложенном мною на себя обете — удаляться по возможности от рассуждений и не произносить приговоров о том, что мне приходится видеть и слышать; а потому непосредственно после этого благодушно занялся обозрением того, что было у меня перед глазами, то есть разных зданий и вывесок. Шел я без всякой определенной цели, завернул в почтовую контору, спросил, нет ли писем из Москвы, поклонился неизвестно по какой причине поклонившемуся мне лавочнику и вдруг на одном перекрестке наткнулся на Ф[окина]. Он отыскивал меня по всему городу и спешил сообщить новость, что он у какой-то вдовы нашел тетрадку, в которой, как я мог догадаться, заключались разные исторические, статистические и этнографические сведения об Осташкове, писанные каким-то умершим священником. Я поблагодарил его за услугу, и мы пошли вместе.

— Ну, куда ж мы теперь пойдем?— спросил я его.

— Да куда хотите. Я было приготовил тут уж человечка три насчет рыбного-то промысла. Эти ничего, они могут рассказать; я их успокоил, чтобы они не боялись; что тут ничего такого нет. Они согласились; ну, а вот насчет кожевенного производства уж и не придумаю, как нам быть. Есть один, да не скажет: боится, и ничем его не успокоишь. А то вот знаю я тут еще одного старика. Он бы мог, если бы захотел, не только о своем деле, но и обо многом бы другом мог рассказать, да нет, никак не уломаешь.

— Вы только познакомьте, может как-нибудь и уладится дело.

— То-то, боюсь. Бог его знает. В какой час попадешь: изругает ни за что. Уж я думал, думал...

— Что это за дом? скажите, пожалуйста!

По ту сторону улицы из деревянных домиков самой обыкновенной, провинциальной наружности, так и вырезывался какой-то старинный, каменный, двухэтажный дом, выкрашенный желтой краской, с неуклюжими окнами и крутой железной крышей.

— А это духовное училище

— Знаете что? Нельзя ли туда зайти — посмотреть? Я ни разу не бывал в этих заведениях.

— Я думаю, что можно. Пойдемте, спросим.

Тут только я вспомнил, что на днях я познакомился с одним из учителей этого училища и мы прошли к нему в квартиру, тут же в училищном доме. В это время была рекреация, и мы застали его. Не без некоторого сердечного волнения проходил я коридором, где попались нам несколько человек учеников, в затрапезных халатах, с коротко остриженными, точно выщипанными головами и с затасканными книжонками в руках. Когда мы вошли в убогую комнатку учителя, он пил чай, встретил меня уже как знакомого и предложил чаю. С Ф[окиным] он не был знаком, несмотря на то что Ф[окина] знает весь город. Учителя духовного училища живут особняком и ни с кем почти не знаются, кроме духовенства. Я объяснил ему мое желание — видеть училище, но он сказал, что не может меня ввести в класс без позволения инспектора, который был тут же в училище и исполнял должность преподавателя греческого языка

Погодите, я схожу, спрошу.

Он ушел. Я стал рассматривать тетрадки учеников, кучей лежавшие на окне. Это был перевод из Саллюстия. На другом окне лежал табак, чай, вакса и другие принадлежности туалета. За ширмочками кровать; на стене какая-то жалкая картина духовного содержания; у стены стол, диван, несколько стульев да самовар за занавеской. Вот и все. Вернулся учитель с разрешением, и мы все трое пошли по каменной лестнице с обшарканными ступеньками наверх; и так как рекреация уже кончилась, то мой знакомый учитель привел нас в свой класс. Он учил латинскому языку. Ученики вскочили, и старший прочел молитву. Я попросил заставить кого-нибудь переводить для того, чтобы мне удобнее было рассмотреть учеников. Боже мой, что это такое?!. И еще, говорят, в Осташкове духовное училище одно из лучших в этом роде. Во-первых, меня поразил особенный запах, который так и бросается в нос, только что отворишь дверь в класс. Что это за запах, трудно определить. Это какая-то смесь, букет какой-то, составленный из запаха капусты, кислых полушубков и дегтярных сапог, смешанный с запахом живого человеческого тела, и притом такого тела, которое бог знает с которых пор не было в бане и страдает изнурительной испариной; только испарина эта уж остыла и прокисла. Это не тот прелый запах жилого покоя, который всем известен; а другой, уже успевший сконцентрироваться,

прогоркший, страшный запах. Комната нетоплена, и ученики сидят кто в чем пришел: в халатах, тулупах, в кацавейках, с бабьими котами на ногах, другие даже в лаптях, простуженные, с распухшими лицами и торчащими вихрами. Уныние какое-то на лицах, точно все ждут наказания. В другом классе шла арифметика. Учитель вызвал ученика к доске и задал задачу. Ученик вылез из парты, поклонился учителю, как будто остерегаясь, чтобы тот его по шее не ударил, и поправил себе штаны. Другой ученик подошел к учителю, точно так же поклонился и подал мел. Наконец, в третьем классе, где ученики были уже постарше и относительно лучше одетые, преподавал сам инспектор, молодой человек очень робкого вида. Когда мы вошли в класс, ученики встали и не садились до тех пор, пока им не велели сесть. Один ученик делал конструкцию, а другой, уж не знаю зачем, молча стоял за ним и смотрел в книгу. Поблагодарив инспектора за позволение, мы вышли в коридор; вдруг бежит за нами инспектор.

— Милостивейший государь!..

— Что вам угодно?

— Осмелюсь утруждать вас моей всепокорнейшей просьбою.

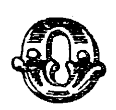
— Сделайте одолжение.

— Я имею некоторое дело, о котором желал бы переговорить с вами без свидетелей.

Я записал его адрес и обещал на днях зайти.

Письмо четвертое

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ


днако город, несмотря на свою стойкость, начинает сдаваться понемногу. На скрытность, как видно, надежда плоха: нет-нет да и проврешься. И чем долее я живу здесь, тем чаще представляются случаи видеть, как осташи провираются, а уж на что, кажется, лукавый народ. Сегодня, между прочим, даже без всякого с моей стороны желания, пришлось быть незримым свидетелем одной из тех сцен, которые разыгрываются теперь на разный манер по всему русскому царству. Хотя дело это и не относится прямо к городу, но тем не менее я считаю долгом его сообщить.

Рано утром разбудил меня разговор в соседней комнате. Еще сквозь сон слышу, кто-то ругается. Такая досада меня взяла: спать хочется, а не дают! Однако, нечего делать, проснулся, слушаю. Что за черт! ничего не разберу. Ходит кто-то по комнате и орет:

— Ах, разбойники! ах, разбойники!.. Уморили!.. совсем уморили!.. Ничего не понимают!.. Ничего... Ах, мошенники!.. Велик оброк!.. а? велик оброк!.. Ах, мошенники! Да ведь земля-то моя? Анафемы вы эдакие! а? Моя земля? а? Моя она, что ли? а? Понимаете вы? Понимаете? а? а? а?..

— Это точно, что...— уныло отвечает несколько голосов, и в это время слышится скрип мужичьих сапогов, происходящий, по всей вероятности, от переминания с ноги на ногу.

— Ну, так что же вы?— продолжает тот же голос.— Ну! что же вы? а? а?

— Да мы, Лександра Васильич,— мы ничаво, только что вот...

— Что же «только»-то? а? «Только»-то что же? Черти! черти! Что же «только»-то? а?

— Мы про то, что трудновато быдто...— нерешительно отвечает мужичий голос.

— Землицы нам еще бы, то есть самую малость,— робко вступается кто-то.

— Не сподручна она, землища-то эта.

— А-а! Так вам земли еще давай и оброка с вас не спрашивай! Ах, разбойники! а? не сподручна! а? Ах, мошенники! трудновато! а? ах, негодяи! Да ведь вы прежде платили же оброк? а? платили?

— Платить-то мы точно что платили. Платили, Лександра Васильич. Это справедливо, что платили. Как не платить,— отвечают все в один голос.

— Мы завсегда...— добавляет еще кто-то.

— И больше платили? а? Платили ведь и больше?

— Больше, Лександра Васильич.

— И не жаловались? нет? Ведь не жаловались? а?

— Что ж жаловаться! Лександра Васильич, дело прошлое...

— Мы жаловаться не можем,— опять добавляет кто-то.

— Так что же вы? Что же вы теперь-то? а?

— Мы ничаво, Лександра Васильич,— мы только насчет того, что которая земля, то есть, к нам теперича отходит...

— Ну!

— Ну, что, значит, она супротив той-то, прежней-то...

— Ну, ну!

— Скупенька землища-то эта,— вкрадчиво замечает еще один голос.

— Камушек опять... Камушку-то оченно уж добре много.

— А вы его вытаскайте, камень.

— Помилуйте, Лександра Васильич. Где ж его вытаскать? Ведь он скрозь, все камушек.

— Ну, так навозцу, навозцу подкиньте!

— Позвольте вам доложить, Лександра Васильич,— начинает один мужик, выступая.

— Ну, что тебе?

— Сами изволите знать: какой у мужика навоз? Скотинешка опять, какая была, поколемши.

— А-а! Ну, так что ж мне делать? Как знаете, так и делайте.

Наступило молчание. Слышно было, что барин ушел в другую комнату, а мужики стали шептаться. Шептались, долго шептались; потом заскрипели сапоги; мужики принялись откашливаться. Постояли, постояли и ушли.

Вижу я, что больше ничего, должно быть, не дождешься; встал, оделся и вышел на улицу. Куда идти? Утро отличное: свежее, сухое. Озеро чистое и голубое мелькнуло между домов. Лавочник стоит у своих дверей, кланяется.

— С добрым утром!

— Здравствуйте!

В первый раз вижу я этого лавочника.

— Ранепько изволили на прогулку выйти.

— Да погода уж очень хороша.

— Погода чудесная. Вон изволите видеть тот берег?

— Да.

— Близко?

— Ну, так что же?

— Погода устоится. Мы вот все по этому замечаем. Как если бе́рег теперича кажет близко, ну и, значит, будет вёдро; а коли если ушел берег вдаль и дерева вон того не видно, то и жди мочи.

— Да, это хорошо. До свидания.

— Мое вам почтение-с.

Куда ж идти-то, однако? Да! в библиотеку. Прихожу в библиотеку; маленькая, проходная комната, полки с книгами, газеты на столе; молодой человек стоит за прилавком. Все, как следует, в порядке.

— Вы библиотекарь?

— Нет-с: я помощник.

— Не можете ли вы мне дать чего-нибудь почитать?

— Что вам угодно?

— У вас есть каталог?

— Есть.

Помощник дал мне каталог, из которого я мог усмотреть, что в библиотеке порядок примерный. Всех книг налицо 1097 названий в 4238 томах. Книги разделены кем-то на XXII отдела в состав которых вошли книги: богословские, философские, детские, правоведение, политические, *свободные художества, увеселения,* языкознание, сочинения в прозе и стихах, сочинения *просто* в стихах, *театральные* (это особый отдел), романы, повести и сказки (тоже особый отдел).

Я полюбопытствовал взглянуть, на книги по части *увеселений,* но, к несчастию, таких в библиотеке не оказалось, и по какому случаю эти увеселения значились в каталоге, узнать я не мог. Зато показали мне «снимок с рукописного реймсского евангелия» («le texte du sacre de Reims»), полученный в 1850 году от г. министра народного просвещения, и

«Карту Венгрии», принадлежавшую Гергею, командовавшему венгерским войском в 1848 году; она была подарена им генералу Беваду, а после смерти последнего продана с аукционного торга и попала к севастопольскому 1-й гильдии купцу Серебряникову, которым и была подарена в осташковскую публичную библиотеку.

Взялся было я за газеты, в надежде, что кто-нибудь придет, но не дождался никого и ушел, попросив помощника библиотекаря сделать для меня выписку о том, какого рода книги больше читаются и кем именно. Из библиотеки я пошел было в думу, но на бульваре встретил Ф[окина], который заходил ко мне и пошел отыскивать меня по городу. Он предложил мне зайти к одному капиталисту-промышленнику, занимающему в думе очень важную должность. Место жительства его отыскать было нетрудно; нужно знать только улицу, а дом и сам найдешь. Улица, где живет капиталист, с самого заворотка, вся сплошь засыпана сажей и углем: и чем дальше идешь, тем гуще становится слой угля, покрывающий землю. Наконец почва до такой степени чернеет, что уж совсем превращается в какие-то угольные копи. По правую руку идут всё кузницы и кузницы. Тут же в одной из них и капиталист живет; и хотя она отчасти походит на дом, но стены закоптелые и двор весь завален углем. Мы опустились в подземные сени; тут попалась нам какая-то женщина.

— Дома А[лексей] М[ихайлович]? — спросил ее Ф[окин].

Женщина пошла узнать, но сейчас же вернулась, отвела Ф[окина] в угол и стала с ним шептаться; затем опять ушла. Наконец нас впустили. Комнаты низенькие, мрачные; тяжелая старинная мебель; в первой комнате стоит диван. На диване сидит сам хозяин. Когда мы вошли, хозяин встал, поклонился и подал руку. Хозяин мрачно улыбнулся и попросил сесть. Я сел и неловко стукнулся локтем обо что-то твердое, звякнувшее на столе. Тут лежали топоры для морского ведомства. Теперь только я заметил, что в комнате сидит еще одно лицо, — гость, и что мы своим приходом прервали их разговор. Одного взгляда на гостя было достаточно, чтобы напомнить мне знакомый тип петербургского чиновника. Полный, чисто выбритый и остриженный под гребенку, в форменном вицмундире, сидел он, положив свои круглые и мягкие пальцы на такие же круглые и мягкие коленки. И каково же было мое удивление, когда вдруг оказалось, что это осташковский 3-й гильдии купец, К[озоч-

кин]! Узнав, что он служит в думе, я стал расспрашивать его о городе. На все мои вопросы гость отвечал как-то необыкновенно уклончиво и все больше общими местами, в таком роде, что город благодаря попечениям господина градского головы, Федора Кондратьевича Савина, находится в отличном порядке, храмы божии украшаются, искусства и промыслы процветают и граждане благоденствуют; одним словом, ничего не сказал. Ф[окин] во все время беспокойно вертелся на своем кресле, барабанил пальцами по столу, безо всякой нужды заглядывал под диван и беспрестанно обращал ободряющие взоры то к хозяину, то к гостю; наконец не вытерпел и сказал:

— А мы к вам, А[лексей] М[ихайлович], насчет одного дельца.

Хозяин мрачно улыбнулся.

— Какое же такое это ваше дело?

Ф[окин] стал подкашливать, подмаргивать и закивал пальцем хозяину в другую комнату. Они вышли. В отворенную дверь слышно было, как Ф[окин] уговаривал его вполголоса:

— Вы не опасайтесь! Что ж такое? Ну, да. Ваше дело такое. Ну, да.

— Да мне что же? — отвечал капиталист. — Я ничего не боюсь. Мое дело такое.

— Ну, разумеется.

— Понятное дело.

— Да-с; так вот, А[лексей] М[ихайлович], — начал Ф[окин], выходя и указывая на меня, — как они очень любопытны узнать все об нашем городке и как они много наслышаны, то вы им все это, если можно...

— Это ничего, — ответил хозяин, с улыбкою посматривая на меня. — Впрочем, ведь все это уж напечатано в отчете министерства.

— Об кузнечиках-то, об кузнечиках. Да, да. Вы расскажите! Ведь это все для славы нашего города. Следственно, можно надеяться? Так вы будьте благонадежны! — успокоивал он меня.

Я поблагодарил и тут же кстати обратился с просьбою к служащему в думе гостю. Мне хотелось добыть городской бюджет за минувший год. Гость ответил мне на это, что ведомость о городских доходах и расходах ежегодно представляется куда следует и что если мне это нужно знать, то лучше всего обратиться... то есть обратиться куда следует. Из этого я не замедлил вывести заключение, что с подобными

требованиями в осташковскую городскую думу обращаться не следует; но, несмотря на это, попытался, однако, убедить гостя, что дело это совершенно невинное и что опасаться тут решительно нечего. Гость подумал немного и сказал:

— Это все так-с. Только вот Федор Кондратьич уехали, а то бы они вам все это разъяснили в лучшем виде.

— Так, стало быть, без Федор Кондратьевича ничего сделать нельзя?

— Вот изволите видеть, что-с...

Ф[окин] давно уже, стоя позади меня, делал гостю разные гримасы и заманивал его в другую комнату. Наконец гость это заметил и ушел с ним пошептаться. Чрез несколько минут он вернулся и сказал, что может дать мне записку в думу, и там сделают для меня все, что можно. Я взял записку и простился. Ф[окин] пошел со мною.

— Ну, слава богу! — сказал он, когда мы уже были на улице,— дела наши улаживаются понемножку.

Новая роль, которую он взял на себя добровольно, до такой степени занимала его, что он даже начал уж мои дела считать *нашими* делами.

На дороге попадались нам беспрестанно разные люди и кланялись. Некоторых Ф[окин] останавливал, отводил в сторону и с озабоченным видом сообщал что-то.

— А, а! Да, да, да. Ну, так, так,— отвечали обыкновенно встречные, делали сосредоточенные лица и задумывались.

— Здравствуйте! — здоровался Ф[окин] с каким-то чиновником, идущим к должности.

— Куда это вы? — спросил чиновник.

Ф[окин] нагнулся к воротнику его шинели и шепнул ему, указав на меня глазами.

— Мм! Вот она какая история!— глубокомысленно сказал чиновник.

Да, самодовольно заметил Ф[окин].— Только вот как вы нам посоветуете? Сходить ли нам прежде к Михал Иванычу или уж прямо обратиться к Петру Петровичу?[1]

Чиновник задумался.

— Дело мудреное,— проговорил он наконец,— как сами знаете. Мой совет — побывать прежде у Михал Иваныча.

— Ну, вот, вот! И я так же думаю. Да. Так до свидания.

— Мое вам почтение.

---

[1] Имена эти вымышленные. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

Чиновник пристально посмотрел на меня и пошел своей дорогой, в раздумье покачивая головой.

— Что вы беспокоитесь?— сказал я Ф[окину],— ведь дали же мне записку.

— Дали-то дали. Это, конечно; только, знаете, все бы лучше побывать нам у одного человека.

— Да зачем?

— Эх, какой вы! Да уж положитесь на меня.

— Ну, ведите, куда знаете.

Мы вошли в какой-то грязный переулок, кончавшийся большим вязким болотом. Кособокие домики с прогнившими крышами окружали его с четырех сторон. Болото это в сущности должно было по плану изображать площадь. По ту сторону болота стоял дом, ничем не отличавшийся от прочих, а в нем жил тот человечек, у которого, по мнению Ф[окина], нам необходимо нужно побывать. На дворе накинулась на нас собачонка, но Ф[окин] сейчас же заговорил с ней, и она успокоилась. На этот лай вышла кухарка и повела нас в переднюю. Ф[окин] пошел предупреждать о моем приходе и вернулся в сопровождении хозяйки дома, очень полной женщины в большом клетчатом платке, которая начала подозрительно осматривать меня с головы до ног. Нужного человечка не было дома, а потому мы и отправились прямо в думу. У церкви остановил нас печник:

— П. Г.! Что ж ты? Я тебя, братец мой, дожидался, дожидался, ажно исть захотил,— сказал он моему спутнику.

— Постой! Не до тебя. Дела у нас тут пошли такие, спешные.

— Что мне за дело? Я глину замесил.

— Погоди немножко: я сейчас.

— То-то, смотри, проворней справляй дела-то свои! Рожна ли тут еще копаться!— кричал нам вслед печник.

— Может быть, я вас отвлекаю от занятий?— спросил я Ф[окина].— Вы, пожалуйста, не стесняйтесь! Теперь я и один найду дорогу в думу.

— Нет; это ничего. Еще я успею. Тут, видите, печка строится в алтаре, так я взялся показать. Вот он и пристает ко мне.

— Так что ж ему дожидаться? Право, вы для меня напрасно беспокоитесь.

— Нет, нет. Я вас одного в думу не пущу. Вы не знаете.

— Ну, как хотите.

Наконец пришли мы в думу. В темной передней встретил нас высокий седой старик в долгополом сюртуке и сердито спросил: «Что надо?» Я показал записку. Старик взял ее, велел мне подождать и ушел куда-то. Ф[окин] сказал мне: «Постойте-ка, я тут в одно место сбегаю»,— и тоже ушел. Я остался в обществе двух мещан, которые, как и я, ждали чего-то и от скуки терлись об стену спиною. Чрез несколько минут выглянул из двери писец и, внимательно осмотрев меня, сказал:

— Да вы бы сюда вошли.

Я вошел. Писец сел на свое место и начал меня рассматривать. Я смотрел на писца.

— Вы, должно быть, нездешние?

— Нездешний.

— Чем торгуете?

— Я ничем не торгую.

— Прошу покорно садиться.

Я сел. Писец принялся перелистывать бумаги и подправлять буквы, сделав при этом чрезвычайно озабоченный вид. Но по лицу его сейчас же можно было заметить, что его мучит любопытство. И действительно он не выдержал, взялся чинить перо и, рассматривая его на свет, спросил меня равнодушным тоном:

— Вы по каким же, собственно, делам?

Я объяснил, что вот так и так, от К[озочки]на записку принес.

— Мм.

В это время вернулся сердитый старик.

— Отнес записку?— спросил его писец.

— Отнес.

— Ну, что?

— Ничего. А вы зачем на пол плюете? Нет вам места, окромя полу?

— Ну, ну, не ворчи!

— Чего не ворчи! Ходи тут за вами, убирай.

Старик опять куда-то ушел. Я сидел, сидел, скука меня взяла: нейдет Ф[окин]. В отворенную дверь видно было, как в передней мещане вздыхают, потягиваются и рассматривают свои сапоги. Пришел еще писец и принялся писать. Я отворил дверь в другую комнату; там было присутствие: большой стол, покрытый сукном, зерцало, планы развешаны по стенам. Я вошел в присутствие и стал рассматривать план Осташкова. Удивительно правильно выстроен, совершенно так, как строятся военные поселения: всё прямоуголь-

ники, улицы прямые, площади квадратные. На столе лежит книга; я посмотрел: «Памятная книжка Тверской губернии за 1861 г. Цена 85 коп.»

— Эй! ступай вон! — вдруг закричал кто-то позади меня.

Я оглянулся: в дверях стоит старик.

— Нешто можно в присутствие ходить?

Я вышел, держа книгу в руках.

— Брось книгу-то, брось! Зачем берешь?

— Я хочу ее купить.

— Купить! Ишь ты, покупатель какой!

Я отдал старику книгу и спросил писца: нельзя ли мне приобрести один экземпляр? Писец сказал, что можно; я отдал ему деньги и потребовал сдачи. Писец взял было трехрублевую бумажку, но другой, вдруг сообразив что-то, вырвал у него деньги и возвратил их мне; потом взял книгу, отвел в сторону первого писца и стал с ним перешептываться; потом позвал старика и послал его куда-то с книгою. Старик заворчал, однако, пошел. Тут же явился Ф[окин].

— Где это вы пропадали?

— Да все хлопотал по нашему делу. Устал до смерти. С этой запиской такая возня была. Ну, да слава богу, уладил. Сейчас секретарь придет.

С книгою тоже началась возня. Старик ходил кого-то спрашивать, можно ли продать. После долгих совещаний наконец решили, что продать книги нельзя, хотя она имелась в числе нескольких экземпляров и назначалась, собственно, для продажи. Вся эта путаница начала меня выводить из терпения.

— Поймите же вы, — убеждал я писца, — поймите же вы, что эту книгу я могу купить везде. Ведь не секрет же это какой-нибудь?

На все мои убеждения писец пожимал плечами и отвечал:

— Это, конечно, так-с. Само собой разумеется.

Тем не менее книги продать не решался. Ф[окин] опять побежал куда-то и вернулся с секретарем, который обещал мне наконец составить выписку из приходо-расходной ведомости и отдал мне книгу, но опять-таки затруднился: взять деньги или нет. Для решения этого вопроса посылали еще куда-то; вышло решение: взять деньги. Я получил книгу и ушел.

— Скажите, пожалуйста, отчего они не хотели продать

книгу? — спросил я у Ф[окина], когда мы сходили с лестницы.

— Боятся. Что с ними станешь делать?

— Чего ж они боятся? Разве это что-нибудь запрещенное? Ведь она прислана для продажи.

— Так-то оно так. Да уж у нас порядок такой. Бог *его* знает! Ведь оно, конечно, пустяки, ну, а вдруг спросит: «Кто смел без моего позволения книгу продать?» Как тогда за это отвечать?.. Так куда же теперь?

— Да мне бы хотелось воспитательный дом посмотреть, только, право, мне совестно, что я отвлекаю вас от занятий.

— Уж вы обо мне не хлопочите. Вот мы как сделаем: сходим теперь в воспитательный дом, а оттуда ко мне обедать.

— Отлично.

Вышли мы на главную улицу, миновали площадь и бульвар. Проехали дрожки с дамою.

— Полковница...— таинственно шепнул мне Ф[окин].

— Какая полковница?

— А наша-то.

— Да, да. Ведь у вас тут полк стоит.

Только в воспитательный дом мы тоже сразу не попали. Зашли мы почему-то в лавку к одному купцу, а оттуда вдруг совершенно неожиданно очутились в какой-то горенке, где застали водку на столе. Я не успел еще опомниться, как уж хозяин, почтенный старец в синем кафтане, стоит передо мною с подносом и, низко кланяясь, просит откушать. Я в замешательстве выпил рюмку и закусил каким-то мармеладом. Только что я успел прийти в себя, гляжу — хозяин уж опять стоит с подносом и опять *просит* мадерой. От мадеры я хотя и отделался, но должен был зато рассмотреть коллекцию старинных монет и жетонов, в числе которых находилась и *подлинная* грамата Дмитрия Донского, отлично сохранившаяся, написанная, должно быть, *древним* ализарином на древней же невской бумаге.

Надо заметить, что страсть к археологии и нумизматике здесь в большом ходу и служит вечным и бесконечным поводом к разного рода препираниям и ссорам. Я рискнул было усумниться в подлинности граматы, но, приметив на лице хозяина происшедшее от того неудовольствие, замолчал, не желая разрушать заблуждение, на котором только и держится, может быть, все его дряхлое существование. А тут, на мое горе, нашелся добрый человек, который, бог его

знает,— из желания ли сделать мне любезность или просто обрадовавшись случаю поспорить,— счел за нужное меня поддержать и тоже усумниться в подлинности этой несчастной граматы. Хозяин, сделавший мне легкую гримасу, не стал стесняться перед тем гостем и прямо обругал его, приняв недоверчивость за личное для себя оскорбление. Гость ожидал, вероятно, поддержки от меня и затеял спор, просто ради искусства; но, не будучи поощряем мною к продолжению его, умолк и надулся. Хозяин копался в монетах и сердито укладывал их на место, ворча себе под нос:

— Знатоки! много вы смыслите!.. Как же!.. Ученые!..— и проч. в этом роде.

Таким образом я невольно внес дух отрицания и раздора в дом почтенного гражданина, который, может быть, и пригласил-то нас, собственно, для того, чтобы мы похвалили его коллекцию. После этого оставалось одно: подмигнуть Ф[окину] и благоразумно удалиться, что я и сделал, разумеется, предварительно поблагодарив хозяина за угощение. Однако совесть меня мучила. Погруженный в сознание только что сделанной ошибки, идя рядом с Ф[окиным], я и не заметил, как мы подошли к воспитательному дому.

— Что же, деточек-то наших посмотреть хотите?— спросил меня мой спутник.

— Ах, да. Пойдемте.

Убежище для сирот и убогих помещается в том же большом каменном доме, где и училище, в доме с красновато-казенной наружностию и огромнейшею золотою вывескою: *Дом благотворительных заведений общественного банка Савина.*

Мы вошли на двор и поднялись на крыльцо. В сенях встретила нас очень свежая на вид нянька, с кружкою квасу в руках, и дружески сказала моему спутнику:

— А! П. Г! Что это вас давно не видать? В кои-то веки заходите.

— Вот деточек ваших пришли посмотреть.

— Что ж, милости просим. Пожалуйте. Да что их смотреть? Какие на них узоры?

— А вот господин чиновник желают видеть,— сказал Ф[окин], указывая на меня.

— Что вы, П. Г.? Какой же я чиновник?— воскликнул я с отчаянием; но дело уже было сделано: слово вылетело и произвело свое действие. Нянька вдруг начала прикрывать фартуком кружку, как будто в ней было что-нибудь запрещенное; стала обдергивать платок на голове и вообще

старалась придать себе наиболее форменный вид. Впустив нас в кухню, она схватила бог знает зачем полотенце и начала смахивать им со стола и утирать носы детям, сидевшим за столом и ковырявшим пальцами кашу. Все эти хлопоты были очень смешны и в то же время обидны, тем более что приготовления к нашему приему совершались тут же, на наших глазах, и уже тогда, когда мы застали няньку, так сказать, на месте преступления. Впрочем, я и не понимаю, из-за чего она хлопотала, потому что преступления-то в сущности никакого не было; только дети, изумленные происшедшей внезапно тревогою, ничего не могли понять и, вытаращив глаза и разинув рты с непрожеванной кашей, в испуге смотрели на нас. Один мальчик с подобранной в виде куртки рубашкою и вымазанным лицом, держа огромную деревянную ложку в руке, поглядел-поглядел, да вдруг как заревет и пополз по лавке, крича и хлопая ложкою. Нянька нашла такой поступок питомца неприличным в присутствии таких почетных посетителей, закричала на него и унесла в другую комнату. Однако, как ни старалась она показать свое рвение и сгладить по возможности все признаки жизни с семейной картины, которую мы успели захватить, но местный колорит все еще уцелел настолько, что давал совершенно удовлетворительное понятие о патриархальном быте, который, подобно язве, вкрался в заведение помимо воли начальства. Благотворители, как видно, не сообразили, что дети, хотя и незаконнорожденные, ни в каком случае не могут быть рассматриваемы, как медные пуговицы, отлично вычищенные суконкой. В ту минуту, когда мы входили, в кухне за столом сидело трое детей, из которых одна девочка лет 7, другие же только что отнятые от груди. Они, как видно, обедали. Мы застали на столе чашки и горшок с кашею, в котором они копались преспокойно, запустив в нее руки по локоть. У окна сидела другая нянька с маленьким ребенком на руках и, разжевав немного пшенной каши, сбиралась отправить ее с помощию пальца ребенку в рот. Мы ее так и застали с разжеванной кашей на пальце. Как ни желал я помешать старшей няньке произвести порядок, как ни торопился застать ее врасплох, все-таки рвение ее опередило нас, и в следующей комнате мы уже не нашли никаких признаков жизни: тут уже все было готово к нашему приходу; только по заспанным лицам кормилиц и по усиленному их дыханию можно было догадаться о той суворовской тревоге, которая подобно вихрю пронеслась по всему дому и все сгладила, сравняла в мгно-

вение ока. Кроватки с сонными детьми, вытянутые в линию, почтительно стояли в два ряда по обе стороны; кормилицы, подобно ефрейторам, торчали чрез каждые две кроватки и как-то невыразимо странно делали какой-то бабий фронт. До этой минуты я никогда не мог себе представить, чтобы из кормилиц в платках и в ситцевых сарафанах можно было сделать нечто парадное; но я и до сих пор не могу себе представить ничего глупее и нелепее той роли, которую мне пришлось, по милости моего проводника, разыграть перед этим строем детских кроваток, перед этими несчастными детьми, которые и не подозревают, в какой пошлой комедии должны они участвовать с самого почти дня рождения и каким горьким унижением платят они за право жить и есть разжеванную нянькой кашу.

Оскорбленный и сконфуженный, нагнулся я к одной из кроваток, чтобы скрыть таким образом смущение, против воли выступившее у меня на лице, и посмотрел на спящего ребенка. Кормилица удивительно ловко отдернула полог и опять вытянулась, прямо и бодро глядя мне в глаза. Старшая нянька шепталась с Ф[окиным]; я стал прислушиваться: она называла по имени мать этого ребенка. В то же время вошла семилетняя девочка, которую мы видели в кухне, и стала ласкаться к няньке.

— А вот эта у нас дворянка,— сказала нянька, указывая на девочку.

— Так вы барышня?— шутя спросил ее Ф[окин].

Девочка положила палец в рот и спрятала лицо в платье няньки. Нянька вытащила ее за руку и, поставив перед нами, сказала:

— А, дура! что ж ты прячешься? Слышишь, дядя спрашивает. Говори, кто твоя мать?

Девочка молча вертела угол своего фартука.

— Ну! что ж ты?

— *Гуфинанка*,— шепотом проговорила она и опять спряталась за няньку.

— Губернанка,— пояснила нянька,— а отец у ней помещик... такой-то (она назвала фамилию).

Из воспитательного отделения прошли мы в странноприимное, где застали уже все в отменном порядке. В первой комнате вскочили перед нами какие-то увечные старики в серых халатах и с тупым изумлением поглядели на нас; в другой, очень большой и светлой комнате с лакированным полом и портретом коммерции советника Савина в великолепной раме мы нашли с десяток кроватей удовлетворительно

казенной наружности, со стоящими подле них тоже достаточно убогими старухами с чулками в руках, которые попытались было в свою очередь отдать нам подобающую честь, но я от этой чести успел вовремя ускользнуть. Все это, бог знает почему, было мне до такой степени противно, что я почти выбежал из дома благотворительных заведений и тут только вздохнул свободнее. Того, что я видел и слышал в этот день, было для меня слишком много, и потому, положа руку на сердце, я счел себя в праве пообедать. Ф[окин] опять окормил меня какими-то рижскими пирогами и, кроме того, угостил меня великолепною коллекциею разного рода гравюр, относящихся до его специальности; коллекциею, состоящею из огромного собрания фресков, орнаментов и множества архитектурных рисунков, скопленных им в продолжение многих лет. После обеда повел он меня в мастерскую, где я наглядным образом мог убедиться в том, что у этого человека бездна вкуса и удивительно разнообразные способности. Я видел несколько моделей иконостасов его собственного сочинения, и особенно понравились мне чрезвычайно простые, но в то же время необыкновенно легкие и художественные изделия по этой части для сельских церквей. После чаю ушел я домой, то есть на постоялый двор. Только что успел отворить дверь, слышу,— опять за стеной та же история, как и утром, и опять те же вопли; мужики по-прежнему *ничего не понимают*, помещик по-прежнему орет: «Ах, губители! Уморили... а? Ах, губители!..»

За стеной происходит так называемое *добровольное соглашение*. Помещик старается, как слышно, во что бы то ни стало растолковать мужикам необходимость выкупа и для этого решился прибегнуть даже к наглядному способу, каким учат детей арифметике.

— Антон!— кричит измученный и уже отчасти охрипший помещик,— Антон! поди сюда! Сюда, ближе к столу. Да чего ты, братец, боишься?

Слышен скрип мужичьих сапогов.

— Давай сюда руки! что ж ты? давай же! я ведь не откушу. Где твоя шапка?

Мужичий голос говорит шепотом·

— Матвей! давай свою! Вот, Лександра Васильич, эта шапочка будет превосходнее. Извольте получить.

— Все равно. Ну, да хорошо. Давай ее сюда. Теперь, Антон, держи эту шапку крепче.

Мужик вздыхает.

— Представь себе, что эта шапка — земля!— Понял?

— Тэкс-с.

— Эта шапка — моя земля, и я тебе эту землю отдал в пользование. Понял?

— Слушаю-с.

— Нет, не так. Постой! я возьму шапку. Представь, что тебе нужна земля, то есть эта шапка! Ведь она тебе нужна?

— Чего-с?

— Дурак! я тебя спрашиваю: нужна тебе шапка или нет? Можешь ты без нее обойтись?

— Слушаю-с.

— Ах, разбойник! Да ведь я тебе ничего не приказываю, глупый ты человек! Я тебя спрашиваю: чья это шапка?

— Матюшкина.

— Ну, хорошо. Ну, положим, что Матюшкина, но ты представь себе, что эта шапка моя.

— Это как вам будет угодно.

— Дура-черт! Мне ничего не угодно. Я тебе говорю, представь только.

— Я приставлю-с.

— Ну, теперь бери у меня шапку. Ну, бери, бери! Ничего, ничего, не бойся! Бери! Что ж ты?

Мужик не отвечает.

— Что ж ты не берешь?

Молчание.

— Губитель ты мой! Я тебя спрашиваю: что ж ты не берешь? а? а? а?

— Да коли ежели милость ваша будет...

— Фу, ты, господи! Ах, разбойники! Уморили! Ничего, ничего не понимают!— завопил опять помещик и начал ходить по комнате.

Несколько минут продолжалось молчание, наконец один из мужиков спросил:

— Лександра Васильич!

— Ну, что тебе?

— Позвольте выйти на двор!

— Зачем?

— Оченно взопрели.

— Ступай.

Немного погодя попросился и другой. Я отворил немного дверь в сени и стал слушать.

— Ну как же теперь это дело понять?— шепотом спрашивал один у другого.

— Известно, жилит. Прямо, то есть, сказать не может,

потому воли ему теперь такой нет; ну, он, братец мой, и хочет, значит, чтобы, то есть, обманом. Слышал про шапки-то?..

— Да. Что такое? не пойму я никак, что это он про шапки-то?

— Эво-ся! Рожна ли тут не понять? Вот сейчас отберу, говорит, у вас шапки и до тех пор не отдам, поколе, то есть, не будете согласны.

— Ишь ты ведь, черт! Да. А я так думал, что это он пример только делает. Ах, волки тя ешь! Матюшкина-то шапка, значит, аминь. Новая... Ну, хорошо, парень, я свою не дал! Ровно мне кто в уши шептал: «Не давай, мол, пути не будет!» А твоя здесь?

— Вот она!

— Так что ж ты? Давай убежим! Я теперь так запалю: на лошади не догнать.

— Ой ли?

— Да ей-богу!

— Валяй!..

— Что вы там долго прохлаждаетесь? — отворив дверь, закричал вдруг помещик.

Мужики вошли в комнату, и опять начались разговоры в том же роде. Я слушал, слушал и наконец заснул.

Письмо пятое

ЗНАКОМСТВА

После всех моих бесплодных хождений по разного рода присутственным местам и прочим общественным заведениям с более или менее казенной обстановкою я наконец догадался, что, идя этой дорогой, я ровно ничего не узнаю; что с этой стороны город достаточно укреплен и почти неприступен; что официальная ложь стоит при входе и не допускает любопытного проникнуть в тайную мастерскую осторожного механика. Соображая это, я нечаянно напал, хотя и на самый битый, но зато и самый верный путь, и именно: шляться по домам и просто слушать все, что ни попало. Для приезжего человека, непричастного местным интересам, даже сплетни и всякого рода самая пустая болтовня имеют огромную цену, особенно если умеешь обращаться с этим материалом. Как, по-видимому, ни ничтожны эти данные, но я убежден, что они только так кажутся ничтожными на первый взгляд. Согласитесь, что осташковские сплетни, например,— имеющие, разумеется, все-таки более или менее серьезный характер,— способны созревать только на местной, только на осташковской почве и, следовательно, должны неминуемо заключать в себе соки породившей их среды, должны отражать в себе местный взгляд, местные интересы. Что же касается неизбежного в этом случае преувеличения и даже искажения фактов, то я убедился, что при внимательном сличении нескольких экземпляров все лишнее, нехарактерное слетает, подобно шелухе, и в результате остается все-таки голая истина.

В продолжение трех дней пришлось мне познакомиться с несколькими промышленниками средней руки. Все мои визиты к этим так называемым гражданам удивительно похожи друг на друга. Мне случилось как-то в один день быть в трех домах, и эти три дома до такой степени ничем почти не отличаются один от другого, что после, дня два

спустя, мне нужно было ужасно напрягать память и воображение, чтобы дать себе отчет: в каком доме и что именно я видел и слышал. Даже расположение комнат и вся внутренняя обстановка домов чрезвычайно однообразны. В передней непременно темно и пахнет шубами, в зале чистый, крашеный пол, жиденькие стульчики под орех, два ломберных стола красного дерева, на которых стоят по два подсвечника аплике. В гостиной кожаный диван, такие же кресла, бисерный поддонник на круглом столе с одной качающейся ножкой; иной раз портрет какой-нибудь на стене; чаще изображение Нила преподобного, стоящего на воде, с виднеющеюся позади его пу́стынью. Из гостиной дверь куда-то, вероятно в детскую, потому что оттуда всегда тоже выходит какой-то кисловато-прелый запах молочной каши. Из этой же двери время от времени выглядывают, точно зверьки, два, а иногда и четыре маленькие глаза и долго с пугливым любопытством рассматривают гостя; и во все это время слышится за дверьми торопливый шепот, отпирание комода и сдержанные восклицания: «Гость, гость». Затем отворяется заветная дверь, и хозяин, большею частию человек средних лет, в долгополом сюртуке, с бритым подбородком и недоумевающим лицом, покорнейше просит садиться. Через пять минут на круглом столе вместо бисерного поддонника является мадера, мармелад, а иногда и просто водка с солеными огурцами.

И говорить нечего, что все эти люди — народ чрезвычайно общительный и гостеприимный, но, разумеется, в том только случае, если гость может представить более или менее благонадежную рекомендацию. Зная это условие, я запасался всякий раз проводником из тех же граждан, который мог бы поручиться, что я не шпион. А заручившись таким проводником, я уже мог проникнуть всюду. И что это за милый народ, эти граждане! Куда вдруг девается у них и эта мнительность и это тупое сосредоточенное пересыпание из пустого в порожнее? Мрачный, неразговорчивый на первый взгляд человек вдруг оказывается необыкновенно любезным, откровенным и чистосердечнейшим малым, готовым рассказать всю подноготную с той самой минуты, как только убедится вполне, что вы нигде не служите и с городскими властями не имеете ничего общего. Но замечательно, что пока говоришь с ними о промышленности или просто болтаешь о разных мелких предметах, все идет хорошо; но как только сведешь речь на городское управление, на достоинства и недостатки их общественной жизни, так в то же

мгновение человек как-то свихивается и начинает молоть бог знает что. Осташков и его учреждения — это для них какой-то пункт помешательства. Только что весело и даже остроумно говоривший о всякой всячине человек при одном имени Осташкова сейчас задумывается, начинает смотреть куда-то вбок и потом вдруг ударяется в безобразнейшее и пошлейшее хвастовство своим городом и его заведениями: певчими, бульваром и проч., или впадает в желчное расположение духа и с злобным, ядовитым смехом начинает беспощадно язвить свой родимый город. Я старался замечать: чем, собственно, они хвастаются и что бранят? и заметил следующее. Хвалится осташ своим озером, паникадилами, рыбою, танцами и павильонами. Чем-нибудь, да уж непременно хвалится: это здесь какая-то повальная болезнь. Кто поразвитее, те обращают ваше внимание на банк, библиотеку, театр и кринолины, указывая в особенности на последние (т. е. театр и кринолины) как на самые очевидные и несомненные признаки той высокой степени цивилизации, на которой стоит Осташков. Хвалится осташ своим городом больше по привычке хвалиться, потому что похвальбу своим городом он с детства привык считать своей священной обязанностию и знает, что все его хвалят. Ругается же он или вследствие скептического миросозерцания, привитого ему долгими странствиями по чужим городам, или потому, что уж очень допекут его разные удобства и общественные учреждения; но это бывает редко; чаще всего ругается осташ в тех случаях, когда бывает оскорблен и мелкое самолюбишко его уязвлено каким-нибудь мелким случаем. Что касается хвастовства, то мне особенно бросилось в глаза вот какое обстоятельство. Общественная пожарная команда, как известно, составляет справедливую гордость Осташкова, но замечательно, что хвастаются ею только люди, по своему положению не обязанные принимать участия в тушении пожаров, то есть служащие и вообще достаточные люди. От тех же, которые составляют пожарную команду, я не только не слыхал похвальбы, но даже просто не мог добиться толком: каким способом производится это тушение. Я не знаю, отчего это делалось? Оттого ли, что я не умел спросить, или оттого, что эти люди до такой степени привыкли смотреть на свои общественные обязанности как на дело очень обыкновенное, что даже ни разу не потрудились дать себе отчет, как это делается. Мне второе кажется более вероятным потому, что и в других подобных случаях я замечал то же самое. Так, например, сапожники умели отлично рассказать мне все, что касается

танцев или павильонов, но я никак не мог узнать от них: каким порядком попадают они в кабалу к своим хозяевам-капиталистам; и узнал это уж от посторонних людей, вовсе не занимающихся сапожным мастерством. Точно такая же история и с банком; например, люди, не имевшие надобности прибегать к его помощи, хвастаются им напропалую: у насде банк, у нас 200 тысяч!.. Тот же, кто отнес туда последнюю ризу с родительского благословения, ничего о пользе банка сказать не может: или просто молчит, или замечает: «Да, оно хорошо; когда деньги нужны, отнес вещь и сейчас денег дают». О разорительных для города свойствах банка узнал я тоже от посторонних людей, никогда не имевших в нем нужды.

Что же касается недовольных, то надо признаться, что их тоже не мало в Осташкове. Их тоже, как и хвастунов, можно разделить на два разряда. Примется, бывало, кто-нибудь ругать город; ну, я, разумеется, и слушаю: на что он станет налегать. При этом я заметил, что из недовольных люди, не страдающие от существующих в городе порядков, являются большею частию самыми толковыми ругателями и всегда могут представить очень основательные причины своего недовольства, хотя обвинения их и выходят всегда более или менее желчны и насмешливы. Но есть другой разряд ругателей: это люди с уязвленным самолюбием, люди, кем-нибудь задетые, обойденные какими-нибудь милостями и вследствие этого одержимые завистию. Эти обыкновенно ругают все наповал, все, что касается их самих. Но ругательства и нападки их отличаются в то же время удивительною односторонностию и узостию взгляда, так что, послушав их раза три-четыре, можно всегда более или менее верно определить: кем и чем они недовольны; и всегда оказывается, что причина их недовольства в сущности какой-нибудь вздор, а до сограждан им нет никакого дела. Зато люди, действительно потерпевшие и постоянно терпящие, обыкновенно тупо молчат и, поняв безвыходность своего положения, признают его даже законным и необходимым для славы своего родного города.

На днях познакомился я с одним рыбаком. Случилось это следующим образом: на той неделе, часов в 10 утра, по заведенному мною обычаю, не дождавшись Ф[окина], прихожу я к нему; вижу, он собирается.

— Куда вы?

— К одному гражданину в гости. Пойдемте со мною.

— Как же я пойду? Ведь я с ним незнаком.

— Ну, так что же? Познакомитесь.

— А и то правда.

Пошли. Рыбак, как и следует рыбаку, живет у самого почти озера, в грязной прибрежной улице, в беленьком каменном домике с высокими воротами на старинный манер. Гражданин-рыбак, к которому мы отправились,— один из крупных промышленников и ведет большую торговлю соленою и вяленою рыбою; кроме того, занимается изготовлением рыболовных снарядов на продажу. Встретил он нас в халате и повел в залу.

— Прошу покорно садиться.

Ф[окин] сделал обо мне свою обычную рекомендацию:

— Как они очень любопытны и проч.,— и сейчас же прибавил:

— Ты им насчет рыбки-то порасскажи. Кто же и может разъяснить это дело, кроме тебя?

Хозяин задумался.

— Да, уж разумеется, кроме меня разъяснить этого дела нѐкому,— сказал он наконец, обращаясь к Ф[окину].

— Еще бы. Ведь ты у нас... известно...

— Так, так, так, так. Что и говорить. Все дело в наших руках. Ну, как же теперь? С чего же начинать?

— Уж это как сам знаешь.

— Так, так, так. Знаю, знаю. Я и начать-то с чего знаю.

— Мне тебя не учить.

— Так, так. Где тебе меня учить? Да. Знаю, знаю,— говорил он, как бы соображая что-то.— Да не прикажете ли кофею? А то, может, водочки не угодно ли?

— Какая теперь водка? Что ты? Давай нам кофею.

— Это можно. Велим кофей заварить.

Он вышел.

— Скажите, пожалуйста,— спросил я между тем у Ф[окина],— отчего же этот не ломается и не скрытничает?

— Уж такой человек,— отвечал Ф[окин].— Характер имеет легкий и никого не боится.

Чрез несколько минут вернулся хозяин, говоря:

— А я, брат, признаться, хотел то железо купить — сукционное; только вижу я, что купить его — значит, врага себе нажить. Пусть пропадает.

— Да и я ходил, видел: лежит железо, а купить нельзя. Бог с ним. А ведь дешево.

— Еще бы. Потому-то мы и не можем его купить, что уж очень оно дешево. Это, брат, не нам, не нам, а имени твоему.

— Ну, да что об этом толковать,— сказал Ф[окин].— Ты лучше про дело-то нам.

— Про какое дело?

— Да зачем мы пришли?..

— Зачем вы пришли?

— Ах, чудак! А о рыбе-то?

— О! Да что ж об ней рассказывать? Известно, рыба. Вот ежели солить, это другой расчет. Сейчас заготовим посуду, рассол сделаем и солим. Такие мастера у нас есть.

Хозяин, видимо, не знал, с чего начать.

— Ну, а сушить? — спросил его Ф[окин].

— Сушить? Сушить, я тебе скажу, тоже надо умеючи. Ежели теперь ты не досушишь, а как, значит, свалил ты ее в ворох, то она сейчас должна паром изойти.

Мы все трое затруднялись. Он не знал, что нам нужно, а мы не знали, как спросить, и потому все трое замолчали, томительно ожидая чего-то друг от друга.

— И опять-таки,— начал снова хозяин, по-прежнему обращаясь к Ф[окину],— опять-таки и сушить без соли нельзя,— сгноишь.

— Ну, это так,— сказал Ф[окин],— а как же теперь это?

— Что?

— Как ее ловить — рыбу?

— Ну, и ловить можно всячески. Какая рыба? на всякую рыбу свой особый припас. Потому нам без припасу никак невозможно.

Мы опять затруднились. Ф[окин] посмотрел на меня, желая, вероятно, спросить: «Какую же рыбу тебе нужно?» Я вдруг догадался об этом, и в голове у меня завертелись слова: «Какую рыбу? Никакой мне рыбы не нужно». Хозяин тоже смотрел на меня, ожидая вопроса. Я сделал над собою усилие и совершенно неожиданно для самого себя спросил:

— Какие же у вас припасы?

Сделав этот вопрос наобум, я нечаянно попал в точку. Хозяин сейчас же оживился и начал:

— Невода есть, *сшивка* есть, *одинок плавной,* летний; *одинок снетковый,* в полторы сети; тянем бойчее и пужаем. *Мережи межточные*[1] о двух крыльях и о трех крыльях, глядя по месту; бывают о двух горлах и о трех горлах;

---

[1] Межток — пролив. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

мережа хвоевая, то бескрылая, ставим для плотвы и уклеи, во время *нароста* между свежей ели; ну, еще *редуха*, для крупной рыбы; *норот*, без крыльев, плетется из прутьев; *обор, обереж*, у берега, значит, пужаем *болтком*. Ну, вот я вам все сказал, что же еще? спрашивайте!

Я подумал-подумал и опять спросил на удачу:

— Где вы берете невода?

— Гм. Невода нам брать негде. Невода и всякий припас мы сами сряжаем. Вяжут сети в уезде мелкими частями и разной длины, а сшиваем и смолим уж мы сами. Вот я вам как скажу: есть у нас такая книга. Нужен вам теперь хоть бы, к примеру, невод; вот вы и пишете мне: так и так, чтобы, значит, изготовить невод — такой длины, такой ширины! И мы ту ж минуту в книгу все это и вносим. И уж что там написано, то верно. Через десять лет, через двадцать лет, а уж вы получите свое. Я вам ее покажу.

Хозяин вышел, а нам между тем принесли кофе. Чрез несколько минут он вернулся, неся записную книгу и еще какой-то большой сверток бумаги, и сказал:

— А вот я захватил кстати показать вам одну вещицу.

С этими словами он положил на стол сверток и открыл его. На столе вдруг очутилось несколько сот штук серебряных и медных монет и жетонов.

— Ах, я и забыл совсем о них,— сказал Ф[окин],— показывай! показывай!

Я стал рассматривать монеты, что доставило хозяину видимое удовольствие, и хотя я в них ровно ничего не смыслил, однако внимательно разбирал подписи вроде: *де-нга, мон. ру-бль* — и даже почему-то счел нужным похвалить их. Хозяин совсем забыл о книге, верней которой, по его словам, быть ничего не может, и, увлекаясь все более и более, начал уж рассказывать мне разные, по его мнению, любопытные подробности о том, как ему досталась та или другая монета; и сожалел только о том, что у него не хватало экземпляра времен Иоанна III.

— Ну, это все хорошо,— сказал наконец Ф[окин], когда ему надоело рассматривать монеты,— ты нам о рыбке-то порасскажи, а мы послушаем.

— Можно и о рыбке,— самодовольно сказал хозяин, усаживаясь на диван.— Рыбка-то, она, я вам скажу, вот какая вещь. Самое пустое дело.

Мы принялись слушать. Хозяин помолчал немного и продолжал:

— Будем так говорить. Кто ее не знает — рыбу? Что такое есть рыба? Ну, однако, мудреней этого дела нет. Теперь хоть бы вас взять. Спрошу я вас: где рыба живет? В воде. Так. Карась в воде, налим в воде, уклея там, что ли, опять-таки в воде. Верно. Так, стало быть, все они там в куче сбимши и лежат? Понадобился мне ну хоть налим; сейчас закинул я в воду припас и тащи? Так, что ли? По-вашему, так, а я скажу, что нашему брату за это следует в глаза наплевать. Потому какой я рыбак, когда я не знаю, где какая рыба живет, в какую пору, в какую погоду, в каком месте жительство свое имеет и какое такое имеет себе продовольствие?.. Все это я должен знать, как *Отче*, и ошибиться ни под каким видом не могу. Опять, какая рыба строга и пужлива? какая глупа? какая прожора? И это должен я знать. Теперь вот, к примеру, надобен мне ерш. Хорошо. Знаю я: ходит ерш поверху, мошкой питается, комарём. Сейчас я *разлячил частицу*[1], опустил на самое дно, потянул ее кверху,— нет ничего. Что за оказия?.. Опять опустил, потянул,— опять нет. Худо. Как быть? Коли нет, стало быть, и искать его тут — в пустяках время проводить. Ну, нет, погоди! Я рассуждаю об этом деле не так. Погляжу я на нёбушко, попытаю: откуда ветерок? а и того лучше, навязал на палку конопли; сейчас мне и видно: вон он куда потянул! Греби к берегу! Там под бережком, под кустиком, в затишье комара ветром страсть что нанесло. Рябью да холодом сбило его в кучу, и лететь ему некуда. Стой! Вот он где ерш! Ну, это летняя пора. Летом пища у ней была скоромная: червяка, мошки всякой вволю. Лепесток она весной гложет, а летом травки там какой-нибудь и даром не надо. Ходит рыбка поверху, цельное лето шутя живет. А осень пришла, и совсем рыба стала не та. Пришло, видно, и ей поститься. Ни комаря, ни мухи и в заводе нет. Стужа пошла, ветра пали крепкие. Но и в эту пору все еще ей не так трудно, потому как зерна всякого много ветром наносит. Ну, все уж не летняя пища. Совсем другой расчет. И бойкости в ней этой уж нет: ходит как сонная, нехотя зернышки клюет. Выйдет, выйдет наверх, сиверкой-то ее хватит и сейчас опять вниз. А зима пришла, пала рыба на самое дно. Да. Ах, кофей-то я и забыл. Еще по чашечке?

— Нет, брагодарю покорно.

Ф[окин] сидел рядом со мной на диване и заслушался.

---

[1] Раскинул. Частица — частая льняная сеть. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

— Ишь ты как расписывает! — сказал он наконец,— в какой это ты книжке вычитал?

— Эта книжка, брат, мудреная,— я тебе скажу. По ней учиться — надо много мочиться. Вон оно,— озеро-то! Книга любопытная и рассудку требует не мало. Селигер называется. А вот про книжку-то ты мне напомнил. Что я в сочинении Карамзина вычитал? Ну, я так считаю, ошибка там у него есть.

— Какая ошибка? — спросил Ф[окин] и так удивился, как будто его это ужасно поразило, что у Карамзина ошибка нашлась.

— А вот какая. Сказано у него: Литва воевала Серегер. Смотри: степенная книга, часть вторая, страница... страницу забыл. Хорошо. Серегер — это озеро. Теперь спрашивается: как его можно воевать — озеро? Понятное дело, что воду воевать нельзя. Вот я и рассуждаю, что, значит город был, или жители, то есть, по озеру.

— Да,— подтвердил рассеянно Ф[окин].

— Так ведь?

— Так, так.

— Ну, и сейчас это пишет Карамзин... Вот, постойте, я принесу книгу. По книге это дело видней будет.

Он пошел за книгою.

— А не пора ли нам? — спросил меня Ф[окин], по-видимому, уже начинавший скучать. Но хозяин уже нес Карамзина и, помуслив палец, смотрел в книгу, говоря про себя:

— У меня тут это место заложено. Где оно? шут его возьми совсем! Да. Примечание сто второе, страница четыреста девяносто четвертая. Вот, вот: «В тысяча двести шестнадцатом году сам князь новгородский, Мстислав Мстиславич, шел с войском на зятя своего Ярослава Всеволодовича Новоторжского...» Постой! постой! нет, не здесь. Том пятый, страница четыреста сорок четвертая.— Нет, ты послушай, любопытная, брат, вещь. Собираюсь я об этом написать, да все некогда. Вот оно! Послушай-ка! «В исходе четырнадцатого столетия великий князь Василий Дмитриевич, из Кличенской волости...» — Слышишь? из Кличенской волости... Вот ведь это истинная правда. «Дал в Симоновский монастырь, с некоторыми деревнями, озерами и угодиями, слободку Рожок, что после был монастырь». Это тоже справедливо сказано: «деревнями, озерами и угодиями». Рожок-то ведь и теперь *существует*, но только не слобода, а погост.

— Это так,— подтвердил Ф[окин], задумываясь все больше и больше и отыскивая глазами картуз.

Хозяин прочел еще несколько мест из Истории Государства Российского, но я все-таки никак не мог понять: в чем, собственно, заключается ошибка Карамзина. Дело шло, разумеется, об Осташкове. Наконец Ф[окин] остановил хозяина, сказав ему:

— А вот что я тебе скажу.

— Что?

— Мы лучше в другой раз придем. Ты нам тогда это все разъяснишь. Теперь нам некогда.

— Ну, хорошо,— с неудовольствием сказал хозяин, прерванный на самом интересном месте,— так когда же вы зайдете? Я вам это все докажу. Такая мне досада! Читал, читал,— все хорошо; вдруг,— ах, ты, пропасть! ошибка!..— говорил он, хлопнув рукою по книге.— Очевидная ошибка! Да вот вам еще доказательство! — И, помуслив палец, он уж замахнулся было им, чтобы отыскать эту самую убедительную страницу, но Ф[окин] поскорее надел калоши и закричал:

— Прощай, прощай, брат. В другой раз.

— Ну, так до свидания. Будьте знакомы!

На другой день после визита к рыбаку я ездил в Нилову пустынь и чуть было не утонул. Случилось это, то есть собрался я, совершенно неожиданно. Началось с того, что сижу я в своей комнате и думаю: «Куда бы мне пойти?» Вдруг вбегает Нил Алексеевич[1] и говорит:

— Ваше благородие, позвольте вас побеспокоить?

— Что вам нужно?

— Не будет ли у вас на рубль мелочи: с постояльцем нужно расчесться.

— Нету. Четвертак есть.

— Ну, так позвольте хоть четвертак.

Рубля я ему не дал потому, что на другой день по приезде моем в Осташков он сделал со мной точно такую же штуку, и потом сестры его, хозяйки постоялого двора, убедительно просили не давать ему денег. И эту хитрость он употреблял со всеми почти неопытными постояльцами: вдруг прибежит с озабоченным видом, возьмет на рубль мелочи и потом пропадет дня на два. А тут же кстати капустный сезон подоспел: бабы и девки собираются друг у друга капусту рубить, песни поют, а кавалеры посылают

---

[1] Хозяйский брат, он же и слуга. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

за водкой и устроивают угощение. Я знал очень хорошо, на что Нилу Алексеевичу понадобилась мелочь, и, по поводу капусты вспомнив об увеселениях, спросил его: «Есть ли в городе трактир?» Оказалось, что есть один, но только господа там не бывают. Потому-то я туда и отправился немедленно. Это было около шести часов вечера, на улицах тьма непроглядная, только в булочной на окне горит сальный огарок и освещает связку баранок, да сквозь закоптелую дверь кабака видны какие-то тени, слышны голоса: не-то песни поют, не то ругаются. Отыскать трактир вечером было довольно трудно: на улицах ни души, спросить не у кого; ходил-ходил я и наконец отыскал дверь, ведущую куда-то во мрак. В этом мраке виднелся где-то вдали погасавший ночник. Я пошел прямо на него и наткнулся на собаку. Собака заворчала и отошла в сторону. Ощупью взобрался я на лестницу и стал шарить по стенам. Слышу где-то близко голоса, а никак не могу понять,— где они. Шарил я тут долго, наконец это мне надоело, и я стал кричать: «Отоприте!» На голос мой отворилась дверь, и половой со свечой в руке, прищуриваясь и всматриваясь в меня, сказал:

— Что ты? очумел, что ли? Двери не найдешь? Иди скорей!

Я вошел и в первой же комнате увидел такую сцену: за прилавком стоит гражданин лет пятидесяти в волчьей шубе, с трубкой в руке, пьяный, и придирается к девице, тоже порядочно выпившей и сидящей на столе. Она болтает ногами и ругает гражданина самым неприличным образом. Буфетчик моет чашки и в то же время принимает живейшее участие в ссоре, покрикивая время от времени:

— Ишь ты ведь шкура какая! Упрямая, дьявол! Пашка! А, волки тя ешь! Не хочет гостя уважить.

Позади гостя стоит половой, высокий и краснощекий малый, в долгополом сюртуке, и в валеных сапогах, и, держа в одной руке графин с водкой, а в другой рюмку, равнодушно смотрит на ссорящихся. Тут же у прилавка стоит небольшого роста полицейский служитель в коротеньком полушубке и, закинув одну ногу на другую, поигрывает втихомолку на гармонии. У кухонной двери виден прислонившийся к притолоке повар с бородой и трубочкой в зубах. Позади повара в кухне уныло шипит куб. Из другой комнаты слышны звуки шарманки.

В зале, освещенной одной сальной свечкой, я застал за шарманкой ямщика. В углу молодой чиновник, с красным

шарфом на шее, пил пунш. Так как в трактире было довольно холодно, то все сидели, в чем пришли. Половой предложил мне пройти в особую комнату, но так как там никого не было, кроме необыкновенно жирной голой женщины в сладострастной позе, написанной масляными красками, то я и предпочел остаться в зале, где была шарманка, и спросил чаю.

Ямщик между тем проиграл: «Уж как веет ветерок» — и стал налаживать другую песню; но что-то у него все не клеилось. Сходил он за свечкой; поковырял, поковырял в шарманке, завертел: опять все то же. Ямщик плюнул и стал кричать полового. Вместо него пришел пьяный гражданин с девицею, все еще не перестававшей ругаться; за ними следом шел половой с графином и, равнодушно посматривая на нас, пел какую-то песню. Немного погодя пришел и полицейский служитель с гармониею и, наигрывая на ней, припевал:

Уж ты, шуточка-машуточка моя...

Пьяный гражданин остановился посреди комнаты и подбоченился. Из-под расстегнутого жилета его торчали выбившиеся углы ситцевой манишки, шуба сваливалась с плеч. Он нерешительно посмотрел на всех своими красными глазами, не зная, к кому бы придраться, и только морщил брови и сопел; наконец сказал: «Ёрники вы, ёрники!» — и, вспомнив о водке, велел налить себе рюмку. Половой налил и, заткнув пальцем графин, запел басом:

Уж вы, горы, горы крутые!..

Девица между тем подсела к столу против чиновника и стала делать ему глазки. Чиновник робко посматривал то на нее, то на пьяного гражданина и дул в стакан. Ямщик, потеряв терпение, вдруг опять заиграл: «Веет ветерок», а полицейский служитель пустился плясать, подыгрывая и приговаривая:

Уж ты, шуточка-машуточка моя...

Служителю, должно быть, ужасно хотелось чем-нибудь поразвлечься, и он несколько раз пробовал развеселиться, но все у него как-то не выходило: засеменит, засеменит ногами, захочет выкинуть штучку помолодцеватее и тут же запнется.

Гражданину, однако, эта веселость не понравилась,

и он сейчас же поймал развеселившегося служителя за шиворот, крича:

— Пошел вон! Я тебе не велю здесь быть.

Служитель попробовал было обидеться: поправил галстух, отошел к стороне и надулся; а через несколько минут забыл оскорбление и опять стал наигрывать, но, не решаясь плясать, только притопывал ногой.

Гражданин, справившись с солдатом, обратился опять к девице и, видя, что она кокетничает с чиновником, потребовал, чтобы она бросила его и полюбила его, гражданина. Девица между тем имела явное намерение сесть к чиновнику на колени, чего, впрочем, чиновник, кажется, и сам не желал, опасаясь гражданина, который уже стоял за его стулом и, размахивая чубуком над головою чиновника, кричал через него девице:

— Я тебе говорю, иди сюда!

— Поди ты к черту! пьяная твоя рожа,— отвечала девица,— ну, что ты со мной сделаешь? Ну?

Гражданин замолчал, соображая, вероятно, что бы ему сделать с девицею, да так и задумался с трубкой в руке, глядя на огонь. Он, по-видимому, решительно не знал, за что взяться. И вдруг стало тихо. Среди этой тишины только слышно было гнусливое гудение гармонии, да полицейский служитель, стоя у двери, вполголоса припевал свою шуточку-машуточку. В зале было темно и холодно; буфетчик в первой комнате уж ложился спать и, сидя на прилавке, стаскивал с ноги сапог, кряхтя и говоря про себя:

— А, варвар, не лезет.

Ямщик, наигравшись досыта, взялся делать себе папиросу. Он подошел поближе к моей свечке и вытащил из кармана щепоть табаку, превратившегося в какой-то зеленый песок. Насыпая табак в бумажную трубочку, он сбоку заглянул мне в лицо и улыбнулся, лукаво подмигнув мне на гражданина. Не знаю почему, но мне стало от этого как-то ужасно неловко, такая тоска меня взяла...

И ничего вы, го-ры, не поро-одили...—

запел половой, стоя с графином среди комнаты.

Под тяжелым влиянием всего, что происходило передо мною, я задумался бог знает о чем. Взглянул я на них, и мне вдруг показалось, что всех их томит страшная, гнетущáя, безвыходная скука...

Милостивый государь, позвольте у вас папиросочку попросить! — сказал у меня над ухом чиновник.

Я вздрогнул и предложил ему чаю. Он отказался, но сел у стола, и мы понемножку разговорились. Чиновник оказался приезжим по казенной надобности и, не имея знакомых в городе, пошел развлечься в трактир.

— Эдакая пошлость в здешнем городе эта ресторация,— жаловался он мне.

— Чем же?

— Помилуйте! спрашиваю пуншу,— с французской водкой подают. Нет, у нас такой подлости никогда не сделают. Как можно с Торжком сравнить, а уж об Ржеве и говорить нечего. А здесь и город-то весь какой-то оглашенный: ничего достать нельзя. Сижу третьи сутки, лошадей не дают.

Разговорившись с чиновником, я узнал от него, что так как ему придется пробыть в городе еще сутки, то желательно было бы побывать в Ниловой пу́стыни, угоднику поклониться. Я рассудил, что и мне не мешало бы съездить туда, и мы условились на другой день отправиться вместе.

На другое утро, только что я успел проснуться, гляжу — входит мой вчерашний знакомый.

— Ну, так как же? Едем?

— Едем-то едем, да только не советуют: озеро очень разыгралось; ветер силен. Я уж ходил на пристань, справлялся.

— Что же, не везут?

— Нет, отчего же? только, говорят, опасно, можно утонуть; три целковых просят.

— Стало быть, за три целковых можно утонуть, а за два дешево,— не стоит. Это хорошо.

— Вот вы подите потолкуйте с ними.

Пошли мы толковать. Пришли на пристань; озеро действительно разыгралось: волны так и хлещут, так и заливают пристань, но лодочников мы не нашли. Спросили, где нам взять лодку?

— А вон там, в лавочке, спросите арендателя.

Пришли в лавочку.

— Здесь арендатель?

— Здесь. На что вам?

— К угоднику ехать хотим.

— Постойте, мы приказчика кликнем.

Кликнули приказчика.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— К угоднику лодку дайте нам.

Опять тот же разговор:

— Меньше трех рублей взять нельзя, потому очень опасно.

— Ну, а если мы утонем?

— Да уж мы возьмемся, так не утонем.

— А если мы трех рублей не дадим, так утонем?

— На что тонуть? Мы этого никому не желаем, чтобы утонуть. Авось, бог даст, живы будем.

— Ну, а как же такса-то? Ведь вы обязаны за два рубля везти.

— Это точно. Только время теперь такое. Не ровен час, долго ли до греха?

Спорили, спорили, наконец порешили на том, что возьмут с нас по таксе, но зато посадят еще двоих и оттуда, если будут попутчики, и чтобы гребцам полтинник на чай. Поехали сначала на веслах, всё держались берега, обогнули заводы, и во все время наш шкипер перекликался с каким-то мещанином, который бежал между тем по берегу и должен был сесть к нам в лодку тайком от хозяина. Наконец остановились мы в каком-то закоулке и посадили еще бабу; выгреблись под ветер и поставили парус. Чем дальше выбирались мы на средину озера, тем волнение становилось сильнее. Баба, храбрившаяся было вначале, присела на дно, зажмурила глаза и ужасно сердилась на нас за то, что мы не боимся бури. Мы все сидели молча, закутавшись и надвинув шапки на лоб, потому что ветер действительно разошелся не на шутку. Шкипер прежде все пугал нас для того, вероятно, чтобы показать, что лишние деньги взяты не даром, но под конец перестал и, не спуская глаз с волны, строго покрикивал на гребцов, помогавших с одной стороны веслами. Мещанин отыскал на дне лодки какую-то дощечку и тоже усердно болтал ею в воде.

По небу неслись темные тучи, прорываясь время от времени, и осеннее солнце вдруг обдавало холодным блеском сероватые волны. Гребцы, щурясь и отворачиваясь от него, с мокрыми волосами, дружно налегали на весла, и лодка наша, покачиваясь и поскрипывая, быстро неслась по озеру. Наконец влеве из-за синего бора показался остров, необыкновенно красиво выступивший из воды, с ка-

менными берегами и лесом позади. Через четверть часа долетел до нас заглушаемый ветром далекий благовест, а еще минут через двадцать мы уже входили в пристань и поспели еще к обедне.

Церковь в монастыре старинная, с темными стенами и тусклой живописью; тихое, необыкновенно растянутое пение и, странная вещь, у всех монахов, не исключая и самого отца архимандрита, стриженые усы. После обедни я подошел к архимандриту и сказал, что приехал издалека и желал бы видеть монастырь, о котором много слышал, и проч. Отец архимандрит вместо ответа подал мне крест и пригласил к себе пить чай. Спутникам моим отвели даровой номер в гостинице и принесли обед. Отца архимандрита я застал в зале сидящим на диване; на стульях же, по стенке, сидело еще несколько человек приезжих; я тоже сел. В дверях показалась монахиня, вся закутанная разными платками. Она молча поклонилась в пояс и остановилась у дверей.

— А,— сказал отец архимандрит,— ну, что? собралась совсем?

Монахиня опять поклонилась.

— Ну, хорошо. Ступай с богом!

Монахиня получила благословение и, поклонившись еще раз, ушла. Подали чай. Высокий и плотный прислужник в сером сюртуке разносил чашки и сейчас же вслед за чаем подал завтрак, состоящий из разных водок и закусок. Мы в благоговейном молчании сидели у стены и как будто ждали чего-то. Наконец отец архимандрит встал и, благословив закуску, сказал: «Прошу покорно!» После завтрака он повел нас в другую комнату и показал нам какие-то планы предполагавшихся построек; причем объяснил нам, что стоила ему переделка келий и устройство набережной. Мы всему этому очень удивлялись и хвалили планы. В то же время слышен был где-то тоненький свист, похожий на свист кулика. Это меня заинтересовало, и я решился спросить о причине этого свиста. Отец архимандрит рассказал нам, что некоторый доброхотный датель пожертвовал было монастырю маленький пароход, для того чтобы возить на нем богомольцев даром, но что *город* вступился в это дело и запретил, на том будто бы основании, что оттого может произойти убыток городу. Тогда доброхотный датель пожелал узнать, сколько город от этого потеряет! Оказалось, что с лодок получается в год около 400 рублей.

— Вот вам четыреста рублей,— сказал доброхотный датель.

— Не хочу,— сказал *город* (то есть осташковская дума).— Деньги, пожалуй, взять можно, а пароход все-таки чтобы не смел ходить и богомольцев чтобы не возил.

— Почему ж так?

— А потому — озеро городское.

— Как так городское? Озеро божье. По воде ездить никому не запрещается.

— Мало что не запрещается? Архимандрит с братиею не замай катаются, а за богомольцев плати деньги.

— Какие же деньги? Ведь вам дают четыреста рублей? Чего ж вам еще?

— То доброхотный датель дает, на то его воля; а по закону за причал с каждого богомольца пять копеек подай.

— За что ж за причал? Ведь у нас пристань в городе своя?

— Так что ж, что своя? Да ведь она в городе!

— Ну, вот и разговаривай тут с ними! — заключил отец архимандрит.— Прошу покорно хлеба-соли кушать!

Не успели мы позавтракать, как уже вновь явились перед нами: уха стерляжья, налимы маринованные, налимы отварные, налимы жареные, грибки и соленья всякого рода и отличное монастырское пиво.

Во время обеда один из богомольцев, до тех пор смиренно молчавший, вдруг заговорил. Что такое? Знакомый голос! Прислушиваюсь и узнаю моего соседа помещика, жившего рядом со мною на постоялом дворе в Осташкове. Но какая перемена! Как он ругался и кричал там на своих мужиков, и как униженно и подобострастно говорит он здесь! По всему было заметно, что на отца архимандрита он почему-то смотрел, как на какого-то начальника; только время от времени прорывалась у него дурная привычка после каждой фразы говорить — а?

— Ваше высокопреподобие, какая у вас отличная рыба! А? Отличное пиво! А? — Что выходило очень смешно.

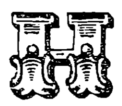
Мы так долго засиделись за обедом и от монастырского пива в голове у меня так загудело, что мне и не удалось осмотреть здешние достопримечательности. По свидетельству «Памятной книжки Тверской губ., издан. в 1861 году», в Ниловской пу́стыни 7 каменных церквей и 25 других каменных зданий, между которыми есть гостиный двор, два конных двора, три хлебных амбара, три бани, ремесленный

корпус, квасоварня с солодовнею, рыбный садок и другие хозяйственные постройки; несколько десятков пуд серебра, драгоценных каменьев и множество золотых вещей. Здесь бывает питейная выставка пять раз в год. Кроме братии, живет в обители довольно значительное число трудников, наемных рабочих и *вкладных людей.* Под именем вкладных людей известны были крестьяне, присланные туда помещиками ради спасения своей (помещичьей) души на неопределенное число лет, и даже вольноотпущенные, с обязанностию прослужить условное время в пу́стыни.

В сумерки вернулись мы благополучно в город и узнали, что за час до нашего приезда вытащили пятерых утопленников, возвращавшихся с базара мужиков. Вечером в тот же день попал я к одному купцу на именины. Об этом событии расскажу в следующем письме.

Письмо шестое

ИМЕНИНЫ


икто, вероятно, не сомневается в том, что знакомства, самые разнообразные, в самых широких размерах, служат одним из надежнейших способов изучения нравов. Никакие статистические данные, никакие внешние наблюдения и впечатления не дают такого ясного, осязательного понятия о жизни какой-нибудь местности, как личное сближение с так называемым *живым материалом*. Но, несмотря на все превосходство этого способа перед прочими, а может быть и потому, что я лично чувствую к нему наибольшую склонность, мне несколько раз приходилось убедиться собственным опытом, что это один из самых трудных и самых шатких способов. Личное знакомство с предметом изучения, как и всякий другой прием, в таком только случае дает вполне удовлетворительные результаты, когда наблюдатель относится к изучаемому предмету совершенно свободно, ни на одну минуту не стесняясь своими личными симпатиями, и пока знакомство для наблюдателя остается только средством, а не целию. Но как скоро он позволил себе втянуться в интересы изучаемой им среды и принял в них хоть малейшее участие, так сейчас же знакомство теряет для него свое поучающее значение и получает совершенно бесплодный смысл. Наблюдатель из наблюдателя превращается в действующее лицо и как заинтересованный в деле уже лишается возможности видеть жизнь во всей ее полноте и неприкосновенности.

К подобным же результатам приходят и те легкомысленные наблюдатели, которые не могут воздержаться от желания *разыгрывать роль наблюдателя*. Такие люди никогда ничего узнать не могут, потому что они прежде всего заняты сами собою и выполнением своей роли, не говоря уже о том, что самый вид наблюдателя заставляет каждого скрытничать и притворяться. Следовательно, каждый,

смотрящий на дело изучения серьезно и желающий извлечь из наблюдения существенную пользу, должен поставить себе за правило: выбрать себе по возможности самую ничтожную, самую невыгодную роль и скромно пребывать в ней, почти не показывая признаков жизни. Если я хочу застать чужую жизнь врасплох, то понятно, что я сам должен уничтожиться и притаить дыхание, чтобы не возмутить покоя в интересующем меня болоте. В некоторых случаях, разумеется, такое чисто объективное отношение к предмету изучения встречает большие затруднения со стороны самого предмета, а иногда становится и совсем невозможным, но городская, да и всякая русская жизнь вообще, сколько я мог заметить, до сих пор еще не слишком противится пытливому взору всякого маломальски искусного наблюдателя. Большинство у нас до сих пор еще так неспособно к объективному взгляду на жизнь, и в то же время до того поглощено своими домашними нуждами, что ему даже и в голову не приходит, чтобы кто-нибудь мог серьезно заниматься наблюдением и изучением общественной жизни просто для того только, чтобы наблюдать и изучать. Подсматривать, подслушивать и после снаушничать, или, наконец, поднять на смех, это еще понятно; но бескорыстного, совершенно безучастного наблюдения большинство не понимает и даже в других допускает с трудом, считая подобное занятие совершенно пустым и праздным делом, а потому и не дает себе труда остерегаться и скрываться от наблюдения. Да к тому же и остеречься-то очень трудно. Как тут остережешься, когда бог его знает, что нужно скрыть и что обнаружить. Если же иной раз изучаемый субъект и догадается, что его изучают, спохватится и начнет скрытничать, то большею частию и это ни к чему не ведет, потому что, даже струсив и съежившись, он невольно обнаруживает такие свойства, скрыть которые уже решительно невозможно. И чем больше он скрытничает, чем хитрее старается обмануть вас, тем больше помогает вам. Так что во всяком случае уйти от наблюдения трудно. И притом надо заметить, что осторожных людей вообще мало, то есть действительно осторожных; большинство же везде составляют люди легкомысленные и до крайности беспечные. В известных случаях действительно общество впадает и в другую крайность; так например, иногда целый город вдруг ни с того ни с сего заражается страшною подозрительностию по поводу какого-нибудь приезжего или какого-нибудь слуха.

Подозрительность в это время совершенно принимает вид эпидемии и свирепствует некоторое время дико, безобразно, поглощая очень часто и таких людей, которые в другое время вовсе не способны верить всякой сплетне. Заподозренному в подобных случаях лучше всего отмолчаться и переждать грозу. Как легко появляется эпидемия подозрительности, так же легко она и проходит. Переждешь неделю, другую, и все пойдет по-старому. Но и для подозрительности, как и для всякой другой эпидемии, бывает известный период зрелости, когда появление ее становится возможным и признаки заболевания начинают носиться в воздухе.

Я приехал в Осташков как раз впору, прожил в нем ни много, ни мало, а именно столько, сколько нужно было для того, чтобы насмотреться, наслушаться вдоволь, сойтись со всеми и ни с кем не сблизиться, и уехал. Вследствие крайней невзыскательности моей относительно знакомств всякого рода число их с каждым днем возрастало. Этому возрастанию очень благоприятствовало еще и то обстоятельство, что самые подозрительные люди скоро поняли, что мне в сущности ничего не нужно, что я ничего не ищу, ни о чем очень не стараюсь. Этого было вполне достаточно для начала и хватило на тот короткий период времени, который я пробыл в городе, а признаки заболевания подозрительностию обнаружиться еще не успели.

Только что успел я вернуться из поездки в Нилову пу́стынь, как узнаю, что заходил за мною мой знакомый, Иван Иваныч. В сумерки я пошел к нему узнать, зачем он заходил. Оказалось, что в тот день были именины одного рыбного промышленника, и знакомый хотел предложить мне отправиться вместе к нему на вечер. Я, разумеется, с удовольствием согласился, и мы пошли. Хозяин встретил нас в сенях со свечою и провел в кухню. Здесь мы застали хозяйку, хлопотавшую что-то над пирогами, и мальчика, ковырявшего свечку. В следующей комнате на комоде стояла водка, и два старика, тоже рыболовы, разговаривали в углу. В гостиной, посреди комнаты, учитель уездного училища, два чиновника и один старый купец играли в стуколку; несколько граждан стоя смотрели на игру. В зале виднелись сидящие по стенке дамы в желтых и зеленых платьях. Они наклонялись друг к другу и вели тихий разговор. Да и вообще было очень тихо; только играющие, пристально и серьезно следя за картами, восклицали иногда: *«Стукну!*

свежих!» — и проч. Хозяин, кланяясь и несколько конфузясь, пригласил нас к водке, а когда мы выпили,— попросил сесть на диван. Мы сели, а хозяин стоял возле нас, прислонившись к косяку спиною и заложив руки за спину. На нем был новый долгополый сюртук и красный платок на шее. Мы с Иваном Иванычем стали глядеть на гостей, отчего они, то есть не играющие, начали понемногу вздыхать, задумываться и подергивать плечами, а некоторые даже вышли из комнаты. Мы так долго сидели. Наконец Иван Иваныч спросил у хозяина: как его дела? Хозяин покраснел и сказал, что слава богу, помаленьку, и подумав немного, спросил:

— Да не угодно ли еще по рюмочке?

Мы отказались.

— А то выкушайте. Что ж такое?

— Нет, уж благодарим покорно.

— Ну, как угодно.

Далее разговор не продолжался. Иван Иваныч вынул табакерку и очень старательно начал нюхать табак; а я все рассматривал лежащий передо мной на столе бисерный поддонник и чувствовал, что язык у меня после балыка сделался совсем гладкий, точно суконный. Я время от времени начинал коситься в залу, на дам, и замечал, что и они тоже на нас косятся; но, встретясь глазами, мы сейчас же отворачивались, и я серьезно рассматривал поддонник, а через несколько минут опять принимался подсматривать и опять встречался с любопытными взорами дам. Это было весело.

Когда мы достаточно, по мнению хозяина, посидели, он предложил нам пройтись. Мы прошлись по зале, но дамы при нашем появлении замолчали, причем многие из них даже стали отмахиваться от мух, хотя их вовсе и не было. Мы поспешили уйти и, посмотрев на играющих, направились в ту комнату, где стояла водка. Там горела свеча на комоде, и граждане, увидя нас, встали, так что нам оставалось только одно: опять сесть на диван, что мы и сделали. Хозяин, прогулявшись за нами по всем комнатам, тоже прислонился к косяку и снова принялся тоскливо смотреть за гостями. Его, по-видимому, томила скука смертная, но варвары-гости этого не замечали. Но вдруг лицо хозяина стало оживляться: он наморщил лоб, заморгал глазами и скрылся. Чрез несколько минут вошел мальчик, неся на подносе чай. Мы взяли по чашке. Иван Иваныч в то же время нагнулся ко мне и сказал шепотом:

— Вы знаете этого господина? — Он указал глазами на одного из игравших.

— Знаю. А что?

— Не советую быть знакомым.

— Почему же?

— Да так. Будьте осторожны. Конечно, мне не следовало бы говорить о знакомом; но что ж делать, надо сознаться, что это не человек, а чудовище, изверг рода человеческого.

— Мм!

Я посмотрел на изверга рода человеческого с любопытством и подумал: «Отчего же это прежде я ничего не замечал чудовищного», да и теперь чудовище преспокойно записывало мелом и, помуслив большой палец, отбирало карты.

— Сделайте такое ваше одолжение! — вдруг сказал мне хозяин, стоя предо мной с рюмкой хереса и мармеладом.

Гости между тем уходили в ту комнату, где стояла водка, и возвращались с куском пирога. Игра понемногу стала оживляться. Один старик, набирая в руки карты, говорил всякий раз:

— Ну-ка, дава-кась я посморкаю (т. е. посмотрю).

— Ах, черт тебя возьми совсем, старый хрен! — помирая со смеху, восклицал всякий раз после этого один чиновник.

Иван Иваныч заговорил с хозяином о его сыне, том самом мальчике, который подавал нам чай. Хозяин очень обрадовался этому случаю и все просил, чтобы Иван Иваныч как можно больше порол его сына.

— Зачем же,— сказал Иван Иваныч,— лучше увещаниями действовать. Он и так послушается.

— Нет, уж сделайте божескую милость! Как чуть что, сейчас драть. Дерите сколько душе угодно. Что их баловать!

— Это что у тебя? а? — спросил вдруг хозяин у своего сына, вытаскивая у него из-под жилетки какую-то тесемку.

— Пошел, вели матери пришить. Ишь болван! так это все делает *мышионально*,— и хозяин хлопнул сына по затылку, желая этим, вероятно, показать Ивану Иванычу свое усердие.

Надоело мне сидеть, и я стал опять бродить по комнатам. В это время вошел старый заштатный причетник.

— А, Иван Матвеич![1] — весело закричал ему Иван Иваныч.— Садитесь сюда! что я вам скажу.

Причетник недоверчиво поглядел на Ивана Иваныча.

— Что вы? подойдите! Не бойтесь!

Причетник подошел и нагнулся. Иван Иваныч сказал ему что-то на ухо, отчего тот очень рассердился, замахал руками и ушел в залу, ворча что-то себе под нос.

— Ну-ка, дава-кась я...— вдруг воскликнул было игравший в карты старик, но, заметив, что я стою сзади его, кашлянул и замолчал.

Наконец в зале поставили большой стол и подали ужин. Игравшие рассчитывались и шумели. Потом все пошли к водке. Хозяин оживился и стал ежеминутно бегать в кухню. Хозяйка, красная и захлопотавшаяся до поту лица, выглядывала из двери и вполголоса кричала сыну, несшему блюдо:

— Смотри не пролей.

У комода один из гостей, тот самый, на которого указывал мне Иван Иваныч, взял меня за руку, отвел в угол и таинственно сказал:

— Вы будьте осторожны с тем господином, с которым вы пришли.

— Почему же?

— Да так уж. Поверьте.

Иван Иваныч между тем опять уж успел рассердить Ивана Матвеича, так что он стал плеваться и ушел от него в кухню.

Начался ужин. Дамы взяли тарелки и уселись в гостиной, а мы остались в зале, одни мужчины. Во время ужина, впрочем, не случилось ничего особенного; только подразнили немного Ивана Матвеича, напомнив ему о каком-то шесте. Хозяин все хлопотал, потчевал и давал сыну подзатыльники, чтобы он скорее ходил.

— И чудак этот у нас Иван Матвеич,— говорил мне смеясь Иван Иваныч.— Что только с ним делают! Вы спросите его: как ему сажи в рукавицы насыпали, поглядите, как разозлится.

Но я не решился спрашивать его об этом, тем более что старик вдруг захмелел и начал ругаться.

— Что ж, еще рюмочку? — спросил меня хозяин.

— Нет-с, благодарю.

— Да вы так, *мышионально*.

---

[1] Вымышленное имя. *(Примеч. В. А. Слепцова)*

— Не могу.

— Ну, принуждать не смею.

— Давай я выпью. Принужу себя и выпью,— покачиваясь и махая руками, говорил Иван Матвеич; потянулся к рюмке и разлил вино.

— Ха, ха, ха! — покатились гости.

После ужина сейчас же все стали расходиться, и я ушел.

У ворот постоялого двора встретил меня Нил Алексеич, пропадавший без вести несколько суток сряду и только что вернувшийся из продолжительного странствия по кабакам, а потому необыкновенно услужливый, но в то же время грустный и прикидывающийся казанскою сиротою. Он сейчас же объяснил, что дожидался меня и нарочно не ложился спать по этому случаю; побежал со свечою отпирать дверь, бросился снимать с меня пальто и вообще употреблять все зависящие от него средства, чтобы мне понравиться. Я очень хорошо понимал, что эта услужливость означает только, что у Нила Алексеича от пьянства болит голова, и следовательно, нужно опохмелиться; я и дал ему на шкалик. Так как было еще рано, то я и сказал ему, чтобы он, опохмелившись, зашел ко мне на минуту. Взял было я книгу, начал читать; входит Нил Алексеич, уже веселый, и вытянулся у дверей.

— Пришел-с.

— Вот что: возьмите-ка вы мои сапоги; да еще я хотел спросить вас об одном деле.

— Слушаю-с.

— Видите ли: собираюсь я ехать на этой неделе, так нельзя ли мне заранее подыскать попутчика до Волочка?

— Это можно-с.

— Так устройте это, пожалуйста, да разбудите меня завтра пораньше.

— Слушаю-с.

Я замолчал. Нил Алексеич постоял-постоял и вдруг сказал:

— Ваше благородие!

— Что?

— Осмелюсь вам доложить, это пустое дело — попутчики.

— Как пустое дело?

— Да уж... так как мы здесь, можно сказать, вот с эта-

ких лет при этом деле, довольно хорошо понимаем, что к чему.

— Нет, уж вы пожалуйста...

— Нет, позвольте-с. Это как вам угодно, ну, только я так рассуждаю, что вам это нейдет, совсем нейдет, чтобы с попутчиками ехать. А вот как ежели сейчас приказать тройку — тарантас, ямщика подрядить до места; по крайней мере спокой. Чудесное дело-с. А между прочим, как угодно.

— Ну, да мы об этом после поговорим. Скажите-ка вы мне лучше вот что: где здесь у вас продаются осташи?[1]

— Осташи-с? в лавке-с.

— Да ведь у вас здесь их в каждом доме делают. Так нельзя ли на дому у мастера купить? Ведь это будет дешевле.

— Это справедливо. На дому совершенно дешевле. Ну, только не продадут-с. А вам много ли требуется?

— Одну пару.

— Не продадут-с. Изволите говорить, осташи. Осташи вам нейдут-с. Как вам угодно. А вот у нас такие мастера есть, особенные, которые вытяжные сапоги могут сделать. На городничего и на прочих господ тоже потрафляют. Но осташи, конечно, только теперь, как я понимаю, совсем, можно сказать, не к лицу.

— Нет, это я не для себя. А почему же вы говорите, что на дому не продадут? Кто же может мне запретить, если я сам купил товар, сам сшил?

Это невозможно-с. Хозяин запретит.

Какой хозяин?

— Как какой? Хозяин, то есть вот хоть бы я, к примеру, завел мастерство, ну я шить могу и на дому, а товар у меня хозяйский и должен я представить работу хозяину. Ваше благородие! осмелюсь вас обеспокоить,— одолжите покурить!

— Возьмите. Так стало быть, ваши граждане из хозяйского товара шьют?

— Так точно-с. Из хозяйского.

— Кто же эти хозяева?

— А тоже граждане-с, которые купцы, капитал у себя имеют и торгуют.

— А много ли таких?

— Нет, не много-с. Человек пять настоящих хозяев,

[1] Осташи — крестьянские сапоги здешней работы. *(Примеч. В. А. Слепцова)*

а то все мелочь, все больше из-за хлеба дома сапожишки ковыряют.

— А почему же эти мастера сами не торгуют?

— Где же? Помилуйте! Бедность. И опять же нет такого мастера, который чтобы хозяину не был должен. У нас уж такое заведение. Еще банковские должники — вот тоже. Кто ему не должен? Как в яму, в этот банк так и валятся. А все лучше нет. Который если задолжал, пришел срок,— не могу заплатить, ну льготу дают; льгота прошла — шабаш: отдают тебя какому-нибудь хозяину, работай на него! Ну, известно дело, хозяину век не заработаешь. Ты заработываешь, а он приписывает, ты заработал, а он приписал. Так и пойдет до скончания века. И дети все будут на хозяина работать.

Нил Алексеич в три приема вытянул всю папиросу, сразу выпустил целую тучу дыма, поперхнулся и сказал решительным голосом:

— Ваше благородие, позвольте вам сказать!

— Говорите.

Он несколько минут соображал что-то, потом сделал шаг вперед, спрятал руки назад и опять сказал:

— Ваше благородие! Я понимаю-с, очень даже понимаю, что вам требуется.

— Что же вы понимаете?

— Я вам вот доложу-с. Все-с! Вы меня извольте спросить, и я вам могу, даже то есть до нитки рассказать.

Нил Алексеич подошел ближе и начал шептать:

— Вот как теперь господин Савин и прочие, ежели что рассказать... что ж? я человек маленький. Меня погубить недолго. Только это им будет стыдно. Как я вам докладываю, я всей душой перед вами. И как я надеюсь на вас. Ну, а они совсем напротив, и даже, можно сказать, стараются, как бы человеку сделать то есть вред, а не то что.

Я начал теряться в догадках: хочет ли он мне сообщить что-нибудь очень любопытное или так, бессознательно с похмелья несет вздор.

— Какой же вред? — спросил я наудачу.

— А уж они найдут такую вину. Им это ничего не значит — человека погубить. Что ж? Я молчу. Я не могу против своего начальства говорить ничего. Я молчу-с.

Я увидал, что Нил Алексеич действительно молчит и что толку от него, должно быть, не добьешься. Я взял книгу.

— Так завтра в котором часу прикажете разбудить?

— Часов в восемь.

— Слушаю-с. А что я хочу еще попросить ваше благородие.

— Что? Еще на шкалик?

— Никак нет-с. На табачок.

Дня через два после описанного вечера проснулся я утром и даже как-то обрадовался, услыхав за стеною знакомый голос помещика, которого я видел в Ниловой пу́стыни. В продолжение этих двух дней я почти не сидел дома, возвращался поздно, а потому и не знал, что у нас делается. В это время уже успело произойти так называемое *соглашение*, и, судя по тому, что долетало до меня из соседней комнаты, можно было предположить, что соглашение совершилось к общему удовольствию; по крайней мере помещик уже не кричал и не ругался, а так просто ходил по комнате и кротко разговаривал с посредником. Время от времени слышался звон затыкаемого графина и веселое покрякивание, обыкновенно следующее за выпивкою. В передней скрипели сапоги, и в дверную щель влетал в мою комнату запах дегтя и овчины, по которому всегда можно еще издали узнать о присутствии мужиков.

Поговорив с посредником, помещик выходил в переднюю и заговаривал с крестьянами следующим образом:

— Ну, что? а? Ну, вот и кончили благодаря бога. Довольны? а? а? довольны?

— Благодарим покорно. Что ж? — отвечали крестьяне.

— Ну, да. То-то. А? Барин вам зла не пожелает. Не хотели, а теперь сами благодарите. А? Благодарите ведь? а?

— Так точно, Лександра Васильич, благода́рим покорно.

— Мы за вас, Лександра Васильич, должны вечно бога молить,— вмешивался какой-то назойливый, тоненький голосишко.

— Иван Петрович[1],— обращаясь к посреднику, говорил помещик,— вот я говорю, не хотели, а теперь сами благодарны. А?

— Да, да,— из другой комнаты отвечал посредник.

— Своей пользы не понимают, глупы,— продолжал помещик.— Ведь вы глупы? а?

[1] Вымышленное имя. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

— Это справедливо, Лексаидра Васильич,— со вздохом отвечал тот же тоненький мужичий голосишко.

— Ну да. Вот вас на волю отпустили. Ну да. Вы теперь будете вольные. А? Вот я зла не помню. Ведь я вас люблю, даром что вы мошенники,— говорил помещик, рыгая и, видимо, смягчаясь все более и более.— Вот я какой! а? А почему я вас люблю? Потому что вы моей жены-покойницы. Да,— заключил он и пошел в другую комнату.

После непродолжительного молчания мужики пошептались, и один из них кашлянул и сказал, подойдя к двери:

— Мужикам, Лександра Васильич, как прикажете, домой? или как ежели насчет чего приказывать изволите?

— Каким мужикам?

— А то есть нам-то-с?

— А ты кто ж такой?

— Я-с? Гм, мужик-с.

— Так что ж ты? Чучело!

Барин смягчился совсем и даже стал шутить.

— Нет, постойте. Я вам сейчас велю водки дать. Эй! кто там? Подать водки моим мужикам по рюмке. Вот видите,— продолжал он из другой комнаты,— я зла не помню. Бог с вами. Я вам все прощаю. Я за вас хлопочу, а вы что? Вы моим лошадям овса пожалели. Бесстыжие ваши глаза! а? Не стыдно? а? Мошенники! мошенники! а? И не стыдно? а? Овса пожалели!

Мужики молчали.

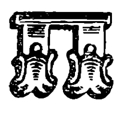
— Антон! и не стыдно тебе? Богатый мужик. Меры овса пожалел. А?

— Виноват, Лександра Васильич,— растроганным голосом отвечал мужик.

— А ведь я вас люблю. Ведь я вам отец. А? Не чувствуете? Ну, черт с вами! Пейте, подлецы, за мое здоровье,— заключил помещик и ушел в другую комнату.

Письмо седьмое

ОСТАШКОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


опалась мне рукописная книжка «Летопись города Осташкова», писанная каким-то священником. Много было хлопот и беготни, чтобы отыскать ее. Ходит она в городе по рукам уж очень давно, и все ее знают чуть не наизусть, но добыть ее, если кому понадобится, трудно. Лежит она у кого-нибудь, а у кого, бог знает. Иногда и тот, у кого она находится в данную минуту, не знает наверное: у него она или нет. Дети куда-нибудь затащат, ищи. Точно так же странствуют и другие рукописные тетради. Одну из них мне тоже удалось найти совершенно, впрочем, случайно. Тетрадь большого формата в лист, в переплете; на первой странице написано: *Выписки из журналов, разных писателей, сочинений, также К. Н. Гречникова и П. К. Стременаева. Прозы, стихи, басни, романсы и гимны. С 1835 г., а мною выписаны с 1851 года. Вин.*

Тетрадь эта, несмотря на крайнюю бедность заключенных в ней мыслей и вообще скудость материала, а может быть, именно и поэтому, показалась мне несколько занимательною. Этот жалкий сборник состоит главным образом из произведений туземной музы, вдохновлявшей двух друзей, гг. Гречникова и Стременаева. Один из них, Гречников, как видно из тетради, безвременно похищен раннею кончиною; и на первой же странице читатель находит грустную элегию г. Стременаева «Предсмертие» стихотворение, по-видимому, написанное под влиянием смерти друга и *наставника*, как называет его автор. Да и вообще произведения этого поэта (г. Стременаева) отличаются грустным тоном и большею частию написаны *по случаю* чего-нибудь.

Потом следует восторженный дифирамб: «Пароход на Селигере», написанный по случаю появления в Осташкове

буксирного парохода братьев Савиных, *Осташа*. Этот пароход в свое кратковременное служение фабрике Савиных наделал в городе много шуму и служил вначале не малым поводом к самохвальству всего города. Но, к несчастию, скоро кончил он свое поприще скандалом, по случаю которого не замедлил появиться ядовитейший, хотя и безграмотный, пасквиль. Как видно из рассказов и из пасквиля, дело происходило таким образом: пароход был предложен одному прибывшему из губернии значительному лицу для проезда в Нилову пу́стынь. Отправление гостя сопровождалось, разумеется, подобающими почестями и торжественностью. Хлопот было много. Больше всего старались о том, чтобы торжество вышло как можно торжественнее; но на всякий час не убережешься. И на этот раз, как часто в подобных случаях бывает, самое ничтожное, самое пустое, непредвиденное обстоятельство вдруг совершенно разрушает всю торжественность обстановки и все хитро и задолго обдуманные приготовления. Гость взошел на пароход и отчалил от берега. Ну, слава богу! Но увы! ничто не прочно под луною. Однако я буду лучше продолжать словами туземного юмориста.

Осташ-пароход
Насмешил весь народ...
Лишь от пристани пустился,
За угол бани зацепился,
Людей в бане испужал.
Стена стала валиться,—
Люди бросили и мыться;
Испужались, закричали,
Вон из бани побежали.
Не успели смыть и мыло
(Это, верно, так и было).
Бежали все нагие...
Слушатели дорогие!.. и т. д.

Да. От великого до смешного один только шаг. Говорят, распорядители торжества очень сердились на эту проклятую баню. И подвернула же ее нелегкая, да притом, как нарочно, именно в такое время, когда уже все кончилось так хорошо, все приготовления удались как нельзя лучше, и тут... Черт знает, что такое!.. После неудавшегося торжества пароход, разыгравший такую скандальную штуку, куда-то исчез, вероятно, испугавшись насмешек. Странная судьба этого парохода! Давно ли еще г. Стременаев приветствовал его следующими восторженными строфами:

Селигер! где дни былые?
На раздолье своих вод
Ты не видишь ли впервые
Сына мысли — пароход?!.
Посмотри, ж, вон он дымится,
Без весёл и парусов,
Но, послушный пару, мчится
Прямо в грудь твоих валов.
По бокам горами пена,
Зыбь сверкает назади,
Будто вырвавшись из плена,
Он летит с огнем в груди... и проч.

Давно ли толпами ходили городские и сельские жители на пристань любоваться *сыном мысли* и хвастаться приезжим!

И вот, вследствие какого-нибудь ничтожного случая, те же осташи вспомнить без смеха не могут о своем пароходе. Ужасно непостоянный народ. Смешливы очень. Это я заметил.

После дифирамба о пароходе следует всякая всячина: отрывок из какой-то повести (сентиментальная сцена объяснения двух любовников); потом «Романс» г-жи Языковой:

Лиры томной звук плачевной,
Выражай печаль мою!

Сладчайшее стихотворение Карамзина к Лизе, и опять «На смерть Гречникова», г. Стременаева; из этой *элегии*, как называет ее сам автор, видно, что с кончиною г. Гречникова

Еще не стало дарованья,
Еще безвременно угас,
Чей ум и добрые деянья
Пребудут памятны для нас... и проч.

Из этой элегии ясно, что между двумя друзьями-поэтами существовала самая тесная и трогательная связь. Г. Стременаев, стоя на могиле умершего друга, кладет на нее

Цветок, который был посеян
Природою в моей (Стременаева) душе,
А им, почившим, возлелеян,
Воспитан дружества в тиши.

Цветок этот — цветок *поэзии смиренной*.

Что же касается музы г. Гречникова, то она вовсе не

так смиренна и не ограничивается, подобно музе г. Стременаева, дифирамбами и элегиями по случаю чьей-нибудь смерти. Сколько можно понять из прозаических и стихотворных произведений покойного, муза г. Гречникова не только откликалась на все мало-мальски значительные случаи, которыми так бедна жизнь уединенного уездного города, но и рвалась даже куда-то дальше, за пределы видимого мира. Чем больше вчитывался я в затасканную тетрадь, в дождливый вечер лежа на диване постоялого двора в Осташкове, тем яснее и рельефнее рисовалась передо мною эта глухая, бедная жизнь с ее жалкими мишурными украшениями и не менее жалким самодовольством и этот г. Гречников с своею бедною поэзиею и неясными для него самого позывами куда-то туда. Впрочем, преобладающим мотивом этих позывов и у него все-таки половые стремления, и дальше Киприды он не идет. Хотя сам он говорит о себе в одном месте:

«Пошли, господи, в душу мою покаяние, смирение и возможность испить мою горькую чашу, которую я вполне заслужил своим *развратом и всевозможными пороками*»[1]. Такое признание могло бы привести читателя в соблазн относительно развратного поведения автора. Можно бы подумать, что автор сильно кутил, предавался всякого рода излишествам, наказан за это и, приготовляясь *испить горькую чашу*, чувствует угрызения совести. Но на деле вышло иначе.

«Я впал в руцъ бога живаго! Страшно!!!» — говорит далее автор. Это случилось 6 апреля 1847 года. Из этого видно отчасти, что г. Гречников был немножко романтик и, вероятно, любил преувеличивать свои страдания и смотреть на жизнь несколько мрачно. Окружающая среда его не удовлетворяла; это заметно по многим прозаическим размышлениям его, помещенным в той же тетради. Так, например, еще в 1844 году, 28 октября, г. Гречников писал против преобладания материальной стороны нашей жизни.

«Признаюсь, иногда делается грустно при взгляде на странную нашу жизнь. Хотя *материальность* занятий наших непременно движется и живет *умственностию;* но самый ум наш обратился в какой-то *механизм*, в котором цифры прыгают будто условно, и мы щупаем их и понимаем просто незамечаемым нами животным инстинктом!..

[1] Курсив в подлиннике. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

Увы! Есть бухгалтеры, но только не мы с вами, которые наслаждаются и сердцем и мыслию. А мы-то что за пешки на пестрой шахматной доске мира? Грустно, а без цифр прожить нельзя».

Но все это было еще в 1844 году. Поэт был молод, полон стремлений, хотя и неясных, но все-таки стремлений. Понятным образом развившееся недовольство окружающим, преобладание *материальности* в жизни возмущали его, и потому являлось желание «забыться» и искать спасения в «этом блаженном забвении». Но потребность жить действительною жизнию и пользоваться действительным счастием все-таки не унималась, несмотря на все желание обмануть самого себя. Эта странная, уродливая борьба, однако, была поэту не по силам, и потому являлось стремление как-нибудь кончить, помириться с жизнию и устроить с нею маленькую сделку вроде следующей:

«Но хотя бы и не всем нам, землежителям, *не всем, да и то изредка*, залетать в мир неземной, в мир таинственный, в благоговейном восторге целовать покрывало Изиды, верить в лучшее, ожидающее нас в необъятной, непостижимой земным умом вечности...» — и т. д.

Так писал г. Гречников г. Головану в лучшие годы своей жизни, но в 1845 году читатель уже застает осташковского поэта по уши в уездной тине и уже занятым совершенно другими предметами. Поэт терзается ревностию и непонятою страстию (к актрисе, как видно из одного намека).

Моя любовь погибла безвозвратно!

восклицает поэт.

На вопль души отзвуков сладких нет!
Как поняла *она* меня превратно!
Как понял страсть мою превратно свет!..

В октябре того же 1845 года поэт уже впадает в мистицизм. Склонность к романтизму, заметная в нем и прежде, под влиянием страсти увлекает его в бездну кабалистики.

«Роковые числа приближаются...— пишет г. Гречников в своем дневнике,— предчувствую, что в это время нынешнего месяца совершится многое. Я потеряю *ее!..*»

«Так и есть. 21 числа она... Роковое число не изменило...»

В святом невежестве бездушно расцветая
И ада не страшась, не ожидая рая...

К. Гречников.

Но благородство чувств так свойственно высокой душе поэта.

«Пусть будет она счастлива, а мы... мы будем справедливы...» — через десять дней после рокового числа уже писал поэт.

Вскоре после описанной катастрофы г. Гречников женился и по этому случаю произвел сладострастный перифразис в стихах, под заглавием «Милая, а потом жена» Весь интерес означенного стихотворения вертится на трех словах: «шарф, улыбка и корсет».

Перечитав сделанные мною выписки из тетради, я к удивлению заметил, что это письмо принимает вид какой-то повести из уездных нравов, где героями являются темные для меня самого личности двух друзей поэтов. Но это случилось как-то само собою, по мере того как я читал и выписывал. Повествовательный характер получился просто потому, что тетрадь эта заключает в себе и дневник покойного поэта; а стихотворения, рассыпанные в разных местах, почти все с означением года и числа. Это обстоятельство дает возможность проследить их в хронологической связи и найти отношение их к некоторым событиям в жизни поэта. Так, например, видно, что в то время, когда достойный друг и выученик г. Гречникова упражнял свой природный дар в «скромной поэзии» и писал послания «Поэту» и «К своему портрету», сам г. Гречников занимался сочинением темы для повести и философскими соображениями вроде следующих:

«Мир не на час создан. И я вам скажу: мир вечен».

8 марта 1847 года г. Гречников кончил свой журнал.

Конец журнала Гречникова.

«В царство небесное не может внити ничто же скверно (Апок. XXI. 27)».

«Страшно впасти в руцѣ бога живаго (Евр. X, 30)».

«Вот какими ужасными словами пришлось мне заключить журнал мой! И когда же? В период полного развития *внутренних сил*, когда бы мне должно наслаждаться *самосознанием* и проч.

«Всему причиною мой разврат...» — сознается автор и все более и более проникается драматизмом своей участи. Какие-то терния все мерещатся расстроенному воображению бедного поэта.

«Я вполне заслужил мои терния!!.. Даже к богу страшно обратиться мне!!!»

Далее, перебирая всю бесплодность попусту растраченной жизни, поэт казнит самого себя и даже ссылается на свои прежние мысли.

«В одном месте я сам сказал: сила, сила нужна, чтоб сломать до основания великолепный храм своих мечтаний, а из новых материалов воздвигнуть простой, но несокрушимый храм действительности». Рассматривая свои произведения, г. Гречников приходит к печальному заключению, что он «до сих пор еще не писал ни одной дельной статьи», а если что и было хорошего в них, то это все чужое. Но чужого он не хочет, «а своих не только нет запасов, но и крох от всего того блага, которым пользовался по милости других!»

Мрачно кончил свое поэтическое поприще осташковский поэт, но благодарные сограждане и теперь еще услаждают свою скуку чтением его произведений. А ведь странное это обстоятельство: в городе есть публичная библиотека, в которой лежит 4238 томов и, кроме того, получается 22 экземпляра разных периодических изданий, а между тем *при всеобщей грамотности* большинство или вовсе ничего не читает, или пробавляется песенниками и рукописными тетрадями вроде той, о которой сейчас было говорено.

Перелистывая «Летопись города Осташкова», о которой я упомянул выше, я должен признаться, что и эта рукопись не слишком изобилует материалами для характеристики города. Летопись писана старинным поповским почерком очень чисто и разделена на рубрики, вроде следующих: «Местоположение города.— Воздух.— Пространство озера Селигера» и проч. Исторические сведения о происхождении города и его развитии почерпнуты большею частию из Татищева, Карамзина, Пантеона российских государей, Зерцала российских государей и даже из Житий святых. Кроме того, рукопись заключает в себе кое-какие изустные предания о происхождении города и некоторых частей его и, наконец, личные соображения самого автора летописи.

Я считаю нужным заметить здесь кстати, что, как я упоминал уже в одном из предыдущих писем, в городе вообще между достаточными гражданами сильно развита страсть к древностям; разного рода исторические данные о происхождении города служат одним из наиболее употребительных предлогов для спора или разговора с приезжими, которых хоть сколько-нибудь интересует история

города. К чести осташей нужно сказать, что все, касающееся этой истории, всем более или менее известно, и разговоры в этом роде возбуждают в городе какой-то патриотический, хотя довольно узкий, интерес. А потому «Летопись» эта не более как сборник разных отрывочных сведений, бывших давно в обращении между здешними археологами. Священник, составлявший ее, поступил, как следует всякому добросовестному летописцу, то есть просто собрал и систематизировал все, что, по его мнению, хоть сколько-нибудь относилось к истории цивилизации Осташкова. Спорные пункты (как, например, о названии города) он так и оставил спорными, поместив в своем труде догадки и предположения и pro u contra[1]. Это последнее обстоятельство, то есть примерное беспристрастие летописца, вызвало, разумеется, неудовольствие двух спорящих сторон, так что и те и другие равно недовольны. Но это-то, мне кажется, и служит уже некоторым ручательством добросовестности автора и придает его труду тот бесстрастный характер, который необходим для простого сборника материалов.

Из «Летописи» видно, что о первоначальном заселении полуострова, на котором стоит теперь город, никаких положительных сведений нет. В первый раз упоминается о *Кличне* (острове близ Осташкова) в духовной князя Бориса Васильевича, брата великого князя Иоанна Васильевича, то есть около 1480 года. Осташков, под именем *Столбова*, принадлежал к Кличенской волости, по мнению Татищева; другие же (акты археографической экспедиции) утверждают, что осташковские слободы с 1587 года управлялись волостелями и тиунами под ведением ржевского наместника Волоцкого и ржевского князя Федора Борисовича. О названии города существует предание, характеристичное по простоте и наивности. В летописи оно записано так:

«Устное доселе сохраняемое (предание) то, что здесь сперва поселился якобы некто *Осташка* (верно Евстафий, которое имя древле и на словах и на письме изражалось так: Иван — Ивашко, Евстафий — Осташка), и как Осташка сей стал жить хорошо, то стали к нему и другие приходить сожительствовать, и место сие по имени первенца — жителя Осташки — назвалось Осташковом. С сим и историческое предание как бы согласно».

Из истории Татищева видно, что князь Владимир Ан-

[1] За и против (*лат.*).

древич пожаловал Столбов воеводе своему, какому-то Евстафию, который и переименовал полуостров в Осташков. Летописец приводит еще разные мнения, но как бы то ни было, Осташков тем не менее был сделан городом, а в 1651 году, по указу царя Алексея Михайловича, построена в нем деревянная крепость. Впрочем, существует основание предположить, что деревянный город, то есть крепость с земляным валом, пушкарскими дворами, погребом с зелейною и свинцовою казною и съезжею избою существовала гораздо раньше и даже потерпела от литовского поражения. Потом городская стена несколько раз горела, возобновлялась по указам царей и великих князей окрестными крестьянами, а из грамот Михаила Федоровича и Алексея Михайловича видно, «чтобы непременно быть таможне в Осташкове и приезжие торговые люди товары свои привозили бы к таможенной избе (приказу) и являли таможенникам»[1].

«В 1753 году последовал высочайший именной указ уже повсеместно дозволить монастырским в слободах крестьянам записываться в купечество. На основании оного высочайшего указа в Осташкове немедленно записались 290 душ из крестьян в купечество и в то же время испросили учредить правление свое — ратушу. Итак, еще новое разделение для Осташкова»! — восклицает летописец и тут же утешает себя тем, что «...это, можно сказать, заря, предвещающая скорую свободу, равенство и совокупность всех в один уже состав и правление, что всегда к лучшему: потому что, как всякое разделение, в особенности по сердцу (т. е. по несогласию происшедшее) изводит несогласие, зависть и нестроение; так и последовавшее разделение на купцов и крестьян сделалось было следствием тому, что крестьяне стали притеснять купцов в том, что живут и владеют их землею, выживали вон и не допускали до рыбной ловли: купцы не давали крестьянам производить никакого торгу, и затеялись между жителями хлопотные дела».

К сожалению, летописец не сообщает ничего, что могло бы хоть сколько-нибудь осветить путь, по которому шла городская жизнь Осташкова и как она слагалась. Каковы были условия, благодаря которым город вдруг

---

[1] «Пошлины были с товара: с рубля по 2 деньги да за мыту по деньге с рубля; а с денег: по 4 деньги да за мыту по деньге». *Летопись гор. Осташкова. (Примеч. В. А. Слепцова.)*

ни с того, ни с другого выдвинулся вперед. Обращая взоры свои к прошлому, автор летописи видит только, что еще в недавнее время «строение домов в городе было малою частию каменное и то старинной архитектуры и расположения; а все почти деревянное и в великом стеснении. Улицы были весьма малые и узкие, домы стояли без порядка: где каменный, где деревянный, где большой, где маленькой. Украшением они никаким не блистали, даже внутренне было самое простое. Самые богатые люди жили в голых стенах; сени огромные и двери узкие. Лучшее и отличное украшение в домах составляли святые иконы, обложенные серебром, а у других и позлащенные. Самые свойства, обычаи и одежда людей были тогда простые».

Простота нравов и вообще несложность и законченность общественной жизни в период, предшествующий нашему, служит, как известно, и до сих пор больным местом для всех людей тогдашнего времени. Всех наших стариков сбивает с толку не существующая нынче простота. Точно то же случилось и с осташковским летописцем. Он мог оставаться беспристрастным повествователем истории своего города до тех пор, пока дело шло о далекой старине и о предметах уже давно умерших. Но к нравам, обычаям, живому преданию и вообще к жизненному началу того общества, в котором пришлось ему жить, оставаться равнодушным он не мог, и потому, переходя к характеристике своих предков, он невольно увлекается и приписывает им такие качества, какие, по его мнению, должны бы украшать людей того времени. Так, например, под рубрикою: «свойства людей» — говорится, что свойства эти были следующие: «набожность, простодушие, деятельность, воздержание, бережливость и нероскошность почитались у них фундаментом всего».

Можно предположить, что автор «Летописи» в качестве священнослужителя воспользовался случаем, чтобы по поводу древних обычаев сделать своим читателям приличное наставление, и, изображая качества предков, по привычке поместил в эту рубрику тонкую мораль для назидания потомства. Далее, рисуя старинные нравы, он, очевидно, поддается также влечению своих личных склонностей к простоте и никак не может освободиться от привычки поучать. Это видно из следующего:

«Давали друг другу и угощения, пировали, веселились,— и странное обыкновение: за столом иногда сидели от полдня

до глубокой ночи, провожая время то в пении, то в разговорах, *впрочем не неблагопристойных*. Как знатоки церковного и нотного пения, пели за столом канты и церковные стихи; и на балах сих *никогда не гремел у них чайный прибор и нисколько не знакомы были с иностранными винами*. Не было кухонь и поваров, а все было: пища и питие простое свое и в чрезвычайном довольстве. Ставили на стол сначала пирог, иначе *косик*, и такой величины, что малому ребенку в сажень. В таком же количестве подавали в мясоед мясную пищу, а в пост рыбу».

Этим почти совершенно исчерпывается весь запас заключающихся в «Летописи» материалов.

Письмо осьмое

ТЕАТР И НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ


идел я чрезвычайно любопытную вещь,— осташковский театр. Намедни говорит мне Ф[окин]:

— Есть у нас тут художничек один и желает он очень с вами познакомиться. Хотите, он вам театр покажет?

Я, конечно, очень был рад этому случаю и пошел к художничку в гости.

Стоит домик на углу, у самого почти озера, на окне налеплена вывеска: фотография; на дворе сохнет картина на солнце, и собака ее нюхает. Я подошел к картине, посмотрел: *Юдифь и Олоферн.* Олоферн совсем коричневый со свесившейся рукою, а у Юдифи одна щека красная, а другая зеленая. Треножник тут какой-то.

— Что вы смотрите? ведь дрянь,— вдруг сказал кто-то сзади меня.

Это сам художничек-то и был, К[олокольнико]в.

— Ах, это вы? Очень рад...

— Мне так приятно, давно желал... Милости просим!.. сделайте одолжение, без церемонии...— и т. д.

Взошли мы в комнату, разговорились об искусстве, о Петербурге. Художник оказался очень милым. В комнате у него сидела девочка в монашеском платье за рисованием, послушница из монастыря. Она очень усердно подчищала белым хлебом нос какому-то Александру Македонскому и заправляла пятна. Заговорили, конечно, о театре. Художник с увлечением рассказывал о том, что вот у них есть театр, что есть и люди, с любовию преданные искусству, и что как жаль, что Федора Кондратьича нет в городе; а то бы можно и спектакль устроить. Я между тем рассматривал картины и образа, в беспорядке развешанные по стенам. Потом он повел меня наверх, в свою мастерскую, то есть на большой чердак с манекенами, под-

малеванным плафоном и неоконченной картиною. Картина, впрочем, неважная, зато вид с чердака на город и на озеро, покрытое островами, и синеющий вдали бор, вид удивительный. Холодно было в мастерской и пыльно, долго сидеть было нельзя; вот мы и сошли вниз, кофе нам принесли; К[олокольнико]в взял комедию Потехина «Чужое добро впрок нейдет», стали мы ее читать.

— Да что тут толковать,— сказал он наконец,— пойдемте в театр! Мы для вас устроим генеральную репетицию в костюмах. Наши все будут рады.

Однако в театр мы сейчас не пошли, а отложили до вечера, потому что нужно было повестить актеров о предстоящей репетиции, да и роли не все знали. Я пошел пока к [Успенскому], служащему в духовном училище, а К[олокольнико]в сейчас оделся и побежал к актерам.

— Я, говорит, это все в одну минуту.

На главной улице попалась мне целая толпа девочек, возвращавшихся из училища. Они шли все в чистеньких фартучках, с сумочками через плечо и, узнав меня, стали приседать и перешептываться. Потом увидал я знакомого учителя, сидящего у окна с гитарою.

— А, здравствуйте! — закричал он.— Прошу покорно, зайдите поболтать. Я болен.

— Нет, мне некогда.

— Ну, после. А то я сам зайду ужо́.

— Заходите, только попозже, а то я буду в театре.

— В театре? Да что? не стоит. Охота вам. До свиданья.

Отыскал я [Успенского], постучал, впустили. Я вошел в залу и долго ходил по комнате. В это время что-то бегали, шептали, дети заглядывали в двери, а в зале было душно и пахло деревянным маслом. Потом вошел священник в зеленом подряснике и попросил садиться. Я сел.

— Надолго изволили приехать? — начал было священник, но в то же время отворилась дверь и показался [Успенский]. Он скромно поклонился и застегнул одну пуговицу.

— Я давно к вам собирался, да все некогда было,— сказал я.

— Благодарю вас покорно-с.

— Вы мне что-то хотели сказать?

— Да-с. Это я о литературе намеревался в свободное время побеседовать.

— Так что же? Побеседуемте.

Мы замолчали. Священник, сидя в кресле, с любопытством поглядывал на нас, то на одного, то на другого, ожидая, вероятно, как-то мы будем беседовать. Наконец [Успенский] спросил:

— Вы писатель?

— Нет, не писатель; а так немножко пописываю от нечего делать. А что?

— Да вот-с, удивляет меня дух обличения, распространенный нынче повсюду. Какая этому причина?

— Причина, я думаю, очень простая: необходи мость.

— Так-с. Но извините меня, по моему крайнему разу мению, необходимости в этом не ощущалось доселе, почему же так ныне?..

— Надо полагать, время такое пришло.

— Время? Гм, время все одно.

— Время-то, пожалуй, что одно, да люди другие.

— Люди? На людей полагаться трудно.

— Зачем же на них полагаться? Никто и не просит

— Ох, люди! люди! — со вздохом сказал про себя священник и задумался. [Успенский] тоже задумался и стал водить пальцем по столу.

— На кого же надо полагаться? — спросил я наконец.

Мы все трое опять умолкли. И долго так промолчали. Потом я спросил:

— К какой епархии принадлежит Осташков?

— К тверской,— ответил [Успенский].

— А к угоднику-то к нашему ездили? — вдруг спросил священник.

— Как же, ездил.

— Двадцать седьмого мая обретение святых мощей преподобного Нила Столбенского, угодника божия, бывает крестный ход.

[Успенский] между тем вышел и вернулся с толстою тетрадью в лист. Он как-то нерешительно подошел ко мне и спросил:

— У меня есть рукопись одного автора (об имени его позвольте умолчать), и он чрезвычайно затрудняется.

— В чем же затруднение?

— Собственно, в том: где избрать место для напечатания. К вам как к редактору журнала...

— Да я вовсе не редактор. Кто это вам сказал?

— А! так вы не редактор...— и он несколько отодвинулся от меня.— *Извините!..*

— Так что же вам угодно? Я, может, быть, что-нибудь могу сделать. Что это такое?

Я взял тетрадь и начал ее перелистывать. Она заключала в себе огромное количество листов очень тщательного письма. Это было описание монастырей Тверской епархии, с означением годов основания каждой обители и перечислением всех настоятелей и настоятельниц, управлявших монастырями. В ней упоминалось, кажется, даже и о некоторых чудотворных иконах преподобных святителей и угодников, наиболее чтимых в епархии и явивших заступничество свое жителям Тверской губернии. Тут же заключались подробные сведения о возобновлении храмов с приделами, а также и о пожарах и разорениях, коим подвергались обители.

Пока я просматривал тетрадь, [Успенский] пристально смотрел мне в лицо. Я спросил:

— Должно быть, много труда и времени потрачено на это сочинение?

— Да не мало,— поспешил ответить [Успенский].— А что-с?

— Я думаю, что вряд ли напечатают эту рукопись в светском журнале.

— Почему же-с?

— Мне кажется, что дело-то слишком специальное. Конечно, это труд очень почтенный и, как видно, добросовестный...

— Да. Я...мм, то есть автор имел случай пользоваться весьма редкими благоприятными обстоятельствами.

— Только жаль, что автор потратил столько времени на дело, не имеющее, как бы это выразиться? — живого интереса.

— То есть какого-с?

— То есть, я хочу сказать, что тут жизни-то, современной-то жизни нет! — сказал я, прихлопывая рукою по тетради, да вдруг сам почувствовал, что вышло не совсем ловко, и возвратил [Успенскому] тетрадь. Он взял ее молча, подумал, поправил загнувшиеся углы, постоял немного и тихо вышел из комнаты. Я взглянул на священника, он тоже взглянул на меня, крякнул и забарабанил пальцами по столу.

Однако пора было в театр. Я посидел еще немного, поговорил о разных обителях и ушел.

Мой новый знакомый, художник К[олокольнико]в, действительно меня уж дожидался. Я зашел только к нему на минуту, и мы сейчас же отправились в театр. Театр устроен в большом каменном здании и переделан из какого-то, кажется, кожевенного завода и потому наружности, соответствующей своему назначению, не имел. Зато внутри все устроено как следует быть театру: и ложи, и оркестр, и даже так называемый раёк, все это есть. Мы прошли прямо на сцену или, лучше сказать, под сцену, в мужскую уборную, где уже топилась железная печь и *театральный* парикмахер возился с париками. Тут же встретили нас и актеры, частию уже одетые в костюмы. Портной или, я не знаю, кто-то из театральной прислуги примеривал на одного актера кафтан, еще кто-то взял свечку и побежал освещать сцену. Все спешили. Суета началась; веселая такая суета. К[олокольнико]в сейчас же прицепил себе бороду и повел меня за кулисы. Актеры давно уж не играли и были очень рады случаю поиграть, тем более что пьеса новая и только еще ставилась. Но замечательно, что все эти актеры, музыканты и прислуга — все любители, совершенно бескорыстно преданные делу, и что почти все они никогда в жизни не видывали никакого театра, кроме своего. Только один К[олокольнико]в в Петербурге видел, как играют на сцене, остальные же все руководствовались своими соображениями и собственным художественным чутьем. Все это очень странно, тем более, если принять во внимание, что эти люди стали актерами чисто из любви к искусству и, кроме бесполезной траты времени, видеть в этом занятии ничего не могли. Никто из них никогда не играл и понятия не имеет о том, как надо играть, и вдобавок никто им гроша за это не дает.

Но это-то обстоятельство, по моему мнению, и служит лучшим ручательством того, что в выборе этого занятия не было ни тени принуждения, что все эти любители-ремесленники стали актерами и выучились играть только потому, что *действительно* очень этого желали, даже в ущерб своим материальным интересам.

Понятно после этого, с каким любопытством я, сидя в ложе, дожидался поднятия занавеса. Впрочем, нет; занавес был уже поднят давно (его и не опускали). Началось таким образом: К[олокольнико]в вышел на сцену и закричал мне:

— Вообразите себе, что занавес поднимается. Сцена представляет комнату на постоялом дворе. Вообразили?

— Вообразил,— закричал я ему из ложи.

— Ну, теперь начинается. *Степан Федоров*[1], пожалуйте на место!

Вышел старик, сел на стул, и пьеса началась. Но в первой сцене все почти играет один Михайло, то есть К[олокольнико]в, а я слышал и прежде, как он читал, и потому эта сцена меня мало занимала. Он играл, как обыкновенно играют любители, то есть копировал столичных актеров, и, когда кончил свой заключительный монолог, закричал мне со сцены:

— Что, хорошо?

— Хорошо.

— Да нет. Я знаю, что скверно. Ну, все равно. После поговорим об этом. Теперь смотрите!

Вышли другие действующие лица, потом сцена Михайлы с женою. Второе действие началось без перерыва, точно так же, как и первое: К[олокольнико]в закричал: «Второе действие!» — и сел за стол. Катерина (г-жа П[етро]ва) тоже села, немножко сконфузилась, посмотрела в темный партер, К[олокольнико]в ей сказал: «Ну, что же вы?» — и она начала свою роль.

Я слышал и прежде от многих о г-же П[етро]вой, но думал, что врут, хвастаются; а потому, разумеется, ждал криков, ломанья и жеманства.

И был просто поражен ее игрою. Такой простоты, свободы и верности я себе и представить не мог.

— Что? Каково? — крикнул мне К[олокольнико]в.— Идите сюда!

Я пошел на сцену.

— Ну, как П[етро]ва-то? что? видели? То-то же,— говорил К[олокольнико]в, видимо торжествуя.— Да это что? Вы бы посмотрели ее в драме. Удивительно. Войдет в роль, плачет, серьезно плачет. А тут у ней комическая роль, да и в первый раз: конфузится.

Когда кончилась пьеса и актеры переменили костюмы, К[олокольнико]в познакомил меня со всеми. Мы разговорились о пьесе и необыкновенно скоро сошлись. Я им начал рассказывать, как я видел эту драму на других театрах, они стали расспрашивать, как кто из них сыграл свою роль и где сделал какую ошибку, и так это весело устрои-

---

[1] Имя одного из действующих лиц драмы «Чужое добро впрок нейдет». *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

лось, так мы все были хорошо настроены, что этот вечер оставил во мне самое приятное воспоминание. Главное, что тут не было решительно ничего стеснительного. Все мы прониклись одним бескорыстнейшим чувством, страстию к искусству, всех в этот вечер занимало одно желание наслаждаться искусством. Когда мы пошли с К[олокольников]ым домой, я его спросил:

— Скажите, пожалуйста, кто эти господа?

— Ремесленники большею частию, есть и чиновники. Вот этот, что «Степана» играл, старика, этот библиотекарь.

Тут я только вспомнил, что действительно видел его и говорил с ним в библиотеке. Это был еще очень молодой человек, страстный любитель чтения и театра. А когда я спросил о П[етров]ой, почему она не едет в Москву или в Петербург дебютировать, К[олокольнико]в отвечал, что она своими трудами содержит семейство и, разумеется, оставить его не может.

— Это замечательная женщина,— говорил К[олокольнико]в.— Какая у ней душа! Сколько чувства и любви к искусству. Ведь она, представьте себе, выучилась сама, ей даже никто никогда не показывал.

Любопытно, что когда П[етро]ва была просто мещанкою города Осташкова, то никто об ней и не думал; но когда она стала играть, сейчас же явилась толпа поклонников и обожателей, в том числе и офицеры с предложением услуг· но она их всех

Отвергла, заперлась
...феей недоступной
И вся искусству предалась
Душою неподкупной

Только что я успел вернуться домой и, еще полный разных приятных впечатлений, начал раздеваться, как вдруг входит Нил Алексеич.

— Ваше благородие, гости. Прикажете впустить?

Взошел учитель и с ним еще какой-то длинный господин.

— Вот это Август Иваныч[1],— сказал мне учитель, знакомя меня с длинным господином.

Я протянул ему руку, и мы, держась друг за друга и

---

[1] Вымышленное имя. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

кланяясь, простояли довольно долго среди комнаты. Он, должно быть, ждал, что я скажу что-нибудь, а я видел, что он как будто ждет, и тоже чего-то ждал. Однако, не дождавшись ничего, мы сели, и я им предложил чаю и колбасы. Август Иваныч взял ее в руки и сказал:

— Я сам колбаса,— а потом захохотал. Тут только я заметил, что гость мой немножко навеселе и действительно что-то жует и все не может проглотить.

«Что это за Август Иваныч такой?» — думал я, глядя на него.

— А я вас видел вчера,— сказал он, нарезывая колбасу.

— Где же?

— А в лавочке. Вы табаку покупали, а я видел.

— А может быть.

— Что у нас здесь,— скука! Вот в Торжке отлично жить,— сказал учитель.— Вы были в Торжке?

— Нет.

— Вы съездите. Я там жил. А во Ржеве не были?

— Не был.

— Напрасно.

Все больше в таком роде шла у нас беседа. Потом уж немножко разговорились.

— Наша служба чудесная,— сказал Август Иваныч.— Благородная служба. Вот я вольный козак.

Это мне показалось очень любопытно, и я посмотрел на Августа Иваныча. Но я себе представлял вольного казака вовсе не таким. Август Иваныч был худой и тощий немец, с длинным носом и с длинными тонкими ногами. Вовсе не похоже. Он между тем продолжал, принимая строгий вид:

— Спокойная служба. Я сам себе хозяин. Приказал, фють! готово.

— Нет, вот наша служба, черт бы ее драл,— заметил учитель.— Хуже нет: всякому дураку кланяйся. Есть нечего, а тут еще требуют — следи за наукой. Какая тут, дьявол, наука?

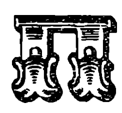
— Ну, да. Конечно,— продолжал Август Иваныч, не слушая,— распоряжение не скоро приходит. Я городничему сказал: «Послушайте! Я не могу ждать. Мы без дров сидим. Когда еще там комитет...» Городничий молчал. Я сказал: «Фють! сюда!» Понимаете?

Я переставал понимать совсем и слышал только, что кто-то сделал: фють, сюда! Вообще что-то очень странное; только я и мог понять, что Август Иваныч служил в канцелярии

где-то на железной дороге, а потом *фють* стали повторяться так часто, что уж ничего нельзя было разобрать. А под конец как-то так стало выходить, что будто чуть что, сейчас: «фють» — и Август Иваныч погиб. Черт знает что. Я даже стал опасаться. Однако все кончилось благополучно. Август Иваныч говорил, говорил, вдруг вскочил и сказал: «Фють! пора спать». И они ушли.

Письмо девятое и последнее

ОСТАШКОВСКАЯ ПОЛИТИКА



о мере того как число знакомых моих с каждым днем возрастало, я все больше и больше стал приходить к убеждению, что задача: что такое Осташков? — наконец приходит к разрешению, что доказательства более или менее исчерпаны и даже начинают уж повторяться. Теперь, когда противоречия разного рода, так неожиданно поразившие меня вначале, почти все разъяснились,— теперь только вспомнил я о человеке, с которым я познакомился случайно, сейчас же по приезде сюда, и который тогда на все мои расспросы отвечал одно: «Я вам ничего не могу сказать. Поживете — увидите». В то время я счел это излишнею осторожностию с его стороны, но теперь вижу, что он был совершенно прав. Никто никогда не мог бы мне рассказать того, что я видел и слышал сам. И теперь-то, именно теперь, мне очень хотелось поговорить с ним и проверить мои наблюдения. Я застал его дома, он собирался идти гулять, и мы отправились вместе на озеро.

— Ну что? скоро вы собираетесь ехать? — спросил меня мой знакомый, когда мы вышли на улицу.

— Да, я думаю, что уж здесь больше делать нечего.

— Здесь всегда нечего делать. Все уже сделано давно. Неужели вы в этом еще не успели убедиться?

— Не хотелось бы мне в этом убеждаться?

— Ну, это другое дело. Желания бывают разные, а я говорю о конкрете, так сказать, о факте. Случается, что факты противоречат желаниям. Это я часто замечал.

— Однако вот что,— перебил я моего знакомого.— Я думаю, что вступление такого рода лишне. Приступимте прямо к делу. Вы понимаете, что мне хочется знать наконец ваше мнение о том предмете, о котором мы с вами не упоминаем,— о городе.

— Да что ж, мое мнение? — сказал он, размышляя.— Мое мнение такое: исправный город. Чего ж еще?

— Дело не в исправности.

— Город смирный,— продолжал он,— благочестие процветает. Примерный город. Ну, да черт его возьми! — совсем неожиданно заключил он.— Нет, это все вздор. Дело-то вот в чем. Я все боялся, не увлеклись бы вы всеми этими фестонами да павильонами. А если не увлеклись, так, стало быть, понимаете, что это такое. Я могу вам помочь только, прибавив каких-нибудь два, три факта; тени, так сказать, усилить могу для рельефности.

А много было взору моему
Доступно и понятно, потому...

да потому, что как там они ни хитрят, а все-таки видны белые нитки. Тут какая история, я вам скажу. Корень-то всему злу, знаете, что? Банк! Странно? не правда ли?

— Да как же это так?

— Да весьма просто-с. Жил был в городе, в Осташкове, первостатейный купец богатейший, коммерции советник Кондратий Алексеич Савин. Жил он здесь, можно сказать, царствовал, потому капиталы имел у себя несметные. И задумал этот самый купец под старость, душе своей в спасение и всему свету на удивление, соорудить казнохранилище... Да нет, это стихи какие-то выходят. Будем продолжать просто. Итак, Кондратий Алексеич покойник мужик был умный и дело затеял с толком: пожертвовал двадцать пять тысяч на ассигнации на учреждение банка, с тем чтобы барыши с него шли на богоугодные учреждения. Вот с этого все и пошло. А надо вам сказать, что династия Савиных ведется в Осташкове спокон веку, так что представить себе Осташков без Савиных или Савиных без Осташкова как-то даже невозможно. Начал благодетельствовать городу Кондратий Савин, и по его смерти стал благодетельствовать по наследству сын его Степан, а по смерти и сего последнего вступил на место его второй сын, Феодор.

Заведен у нас такой порядок: граждан, которые не в состоянии уплатить долга банку, отдавать в заработки фабрикантам и заводчикам. Оно бы и ничего, пожалуй, не слишком еще бесчеловечно, да дело-то в том, что попавший в заработки должник большею частию так там и остается в неоплатном долгу вечным работником. Уже как это устроивается, бог их знает. Известно только, что при всеобщей бедности жителей предложение труда превышает запрос;

вследствие этого, конечно, плата упадает и ценность труда зависит от фабриканта. Но вы не забудьте, что рядом с этой нищетою стоит театр, разные там сады с музыкою и проч., то есть вещи, необыкновенно заманчивые для бедного человека и притом имеющие свойство страшно возбуждать тщеславие. Теперь эти удовольствия сделались такою необходимою потребностию, что последняя сапожница, питающаяся чуть не осиновою корою, считает величайшим несчастием не иметь кринолина и не быть на гулянье. Но на все это нужны деньги. Где же их взять? А банк-то на что? Вот он тут же, под руками, там двести тысяч лежат. Ну, и что ж тут удивительного, что люди попадаются на этих удовольствиях, как мухи на меду?

— Но, скажите, пожалуйста, ведь эти приманки, однако, не дешево же обходятся?

— Кому?

— Да тому, кто их устроивает?

— Ни гроша не стоят. Театр, музыка, певчие, сады, бульвары, мостики, ерши и павильоны — все это делается на счет особых сборов, так называемых *темных*. Это очень ловкая штука. В том-то она и заключается, что ничего не стоит, а имеет вид благодеяния. И даже, я вам еще лучше скажу, против действительных, капитальных благодеяний принимаются меры. Я вам расскажу один случай.

Надо вам знать, что осташи имеют похвальную привычку, разбогатев на стороне, под старость, насытив жажду к приобретениям, возвращаться на родину и благодетельствовать своему родному городу. Вот и вернулся такой один, богач страшный, следовательно опасный конкурент, и принялся расточать богатые и щедрые милости нищим собратиям своим, но, как человек расчетливый, благодетельствовал экономно, больше для виду. Паникадил там наделал, позолот разных, украшений, женское училище завел, пароход Ниловой пýстыни подарил для безвозмездного перевоза богомольцев.

— Ах, да. Я это знаю. Архимандрит рассказывал.

— Ну, вот видите. Пока он школу заводил да храмы украшал, то воспрепятствовать ему в этом нельзя было; а как только подарил пароход, сейчас и затеяли тяжбу. Она бог знает когда кончится, да вероятно, и никогда не кончится, а пока пароходу запрещено возить богомольцев. Наконец, богач сделал предложение думе провести железную дорогу до Волочка пополам с городом. «Зачем же пополам?» — говорят. «Не беспокойтесь, мы сами проведем

всю». Ну, однако, не провели, а богач посмотрел, посмотрел, видит, делать нечего, уехал. А то еще другой был, тоже разбогатевший на стороне. Это человек был нрава дикого и необузданного и притом счастием обладал удивительным. Век свой жался и сколачивал деньгу, а как разбогател, вдруг и сдурел совсем и не знает, как ему с деньгами быть, куда их деть. Натура животная, плотоядная, да и тщеславие-то уж очень его распирать стало. Орет нечеловеческим голосом, окна бьет, шампанским пару поддает, нет, все мало. Приехал сюда. Сейчас, разумеется, двадцать пудов серебра на украшение храмов, как жар горят, дом себе выстроил, баню султанскую, завод выстроил; мучные склады какие-то ни с того ни с сего завел, неизвестно зачем. Пиры такие стал задавать, что небу жарко. Только все это у него как-то не удавалось. Позовет весь город обедать, придут гости, а уж он пьян и бунтует, посуду бьет.

Только скоро он догадался, что поле для деятельности его здесь слишком тесно. Стал гостей к себе из губернии выписывать и с ними все знакомство водил и бражничал. Зашиб кого-то в пьяном виде,— ну, ничего, откупился. Однако и губернские гости скоро ему надоели; думал, думал, чем бы еще удивить свет, и пожелал он иметь у себя в доме особу. Хлопот тоже было не мало. Ездил, просил, наконец приехала особа. По этому случаю торжество было устроено неимоверное, и сам он встретил особу на крыльце в *турецком халате*. Понимаете? Не знал уж, чем удивить. Фрак там, или почетный кафтан, это все плевое дело, и выдумал халат из турецкой шали. Потом там у него вышла скандальнейшая штука, вследствие которой он вдруг все бросил и ускакал неизвестно куда.

По этим двум описаниям вы легко можете себе представить, какого рода благодетели расточают на нас свои щедроты. Но последний случай замечателен еще тем, что такой соперник, как этот, мог быть действительно опасен и бороться с ним было бы трудно. А потому и мер против него никаких не принималось. Уже по первым выходкам его легко можно было предвидеть, что он долго не нацарствует и сам себя уходит. Следовательно, благоразумнее всего было просто выждать, пока он прогорит. Так оно и случилось. И в этом случае, что касается меня, то я не могу вам достаточно выразить того глубокого благоговения, которое я чувствую к этой удивительной проницательности и находчивости наших уездных дипломатов.

Но для полноты характеристики этого господина я вам расскажу одну из последних его выходок, которая, собственно, не относится к делу, но зато отлично рисует характер этого человека.

После одной какой-то оргии ночью вздумал он жену свою колотить, а дочь его, отличнейшая девушка была, вступилась за мать. Он дочь-то взял да и выгнал ночью на мороз в одной сорочке. Не знаю, уж долго ли она там простояла, однако простудилась и заболела горячкою. Он на другое утро опомнился и послал в Москву и в Петербург за докторами. Прискакали доктора, горячку перехватили, но у девушки все-таки сделалась чахотка, и она умерла. Отец терзался и плакал и, не зная, чем загладить свое преступление, начал делать вклады, панихиды служил, но потом вдруг все это бросил и забыл.

В это время мы проходили мимо одной церкви. Мой спутник предложил мне зайти с другой стороны и посмотреть одну очень курьезную эпитафию. У наружной стены этой церкви была чугунная дверь в подвал, а на ней золотыми буквами написано следующее:

НАДГРОБНОЕ НАДПИСЬ

Прохожий! помяни меня дявицу екатерину, когда господь бог послал мне кончину, мой прах юный здесь первым положен. О родитель мой, бесценный, тобой сей фамильный склеп сооружен. Тобою сей святый храм благолепне обновлен, тобою изаменя, он светлыми облаченьми снабжден, тобою сей придельный храм во имя аковицкие учрежден под коим богато убраный мой гроб стоит и пред ним неугасимый елей горит, А сердце мое присени говорит, благодарение тебе, О, родитель мой милый, за любовь твою ко Мне: не будь же ты обо мне Унылым: Телу моему хорошо здесь, А душе На небесах.

Но кто, столь Добрый твой Отец спросишь ты, прохожий, наконец, Осташковский 1-ой гильдии купец, Николай Кузмич, оп Абабков, которого За святые храмы должон помнить.

Осташков

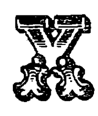
1837 года Ноебря 22 дня Я рождена, А 1854 года Февраля 8 дня. Я здесь погребена, После семнадцатилетния на свете моего жития.

ОТЪЕЗД

Вчера я еще раз был в театре. Мы последний раз прочли вместе пьесу и простились. При расставании я просил их написать свои имена на память в мою дорожную книжку, так что оно вышло даже слишком чувствительно. Впрочем, они все такие славные люди, и мне пришлось пожалеть только, что я не познакомился с ними раньше.

Сегодня я уезжаю из Осташкова. В продолжение этого короткого срока я так усердно изучал город, что теперь мне кажется, будто я век прожил в нем и покидаю родину. Но, расставаясь с ним, я покидаю его с таким же чувством, с каким кончаешь какой-нибудь долгий и тяжелый и долго неудававшийся труд, но который таки кончился. И рад и жаль расстаться. Сейчас был у Ф[окина]. Он даже удивился, что я уезжаю. И ему, должно быть, уже начало казаться мое пребывание здесь совершенно естественным. Но когда я объявил о своем отъезде, то вдруг как-то так вышло, что уж нам решительно стало не о чем говорить. Точно мы оба только что догадались, что мы люди друг другу совершенно чуждые, и та искусственная связь, которая завязалась было между нами, вдруг оборвалась. Странно что-то это вышло. Когда я вернулся домой, то художник К[олокольнико]в меня уж дожидался и сейчас же стал хлопотать, укладывать мои вещи. Я послал за лошадьми. Все готово. Я уезжаю.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «СОВРЕМЕННИКА»



отя мода на обличения и заявления, видимо, всем надоела, тем не менее необходимость принуждает меня прибегнуть к помощи типографского станка для приведения в ясность одного запутанного частного дела.

Я бы мог обнародовать письмо это и в другом издании, но здесь идет речь о деле, касающемся, собственно, читателей «Современника», которые могли бы и не прочесть моего письма, если бы оно явилось в какой-нибудь газете. Да притом же дело это возникло из-за статьи, напечатанной в «Современнике». Заключается оно в следующем.

В майской книжке «Современника» прошлого 1862 года была помещена статья моя под заглавием: «Письма об Осташкове». Первые три письма, напечатанные в ней, составляли только незначительную часть всех материалов, собранных мною для полной характеристики города Осташкова. Так как во время разработки этих материалов оказался недостаток в разных подробностях и мелочах, о которых я не слишком заботился вначале, то я и обратился к некоторым знакомым мне лицам, живущим в Осташкове, с просьбою доставить мне дополнительные сведения Гаким образом устроилась у меня с этими лицами корреспонденция.

Извещения о моих знакомых и о причине моей переписки с ними не могут, разумеется, интересовать *всех* читателей «Современника»; несмотря на это, однако, я считаю необходимым вдаться в эти подробности, потому что ими очень интересуются *некоторые* читатели. Написать к ним отдельные письма я не могу по причине их многочисленности, да к тому же я и не знаю, как их всех зовут; адресовать же *соборное послание* просто в *город Осташкое* для прочтения его на площадях и базарах всем граж-

данам Осташкова скопом — тоже не совсем удобно, так как подобное послание может иметь вид некоторого воззвания.

Продолжаю.

В июне месяце того же 1862 года известился я чрез одного из корреспондентов моих, что майская книжка «Современника» в Осташкове *запрещена*, и, хотя «Современник» выписывается постоянно городскою публичною библиотекою, однако майской книжки в чтении не имеется. По случаю последовавшего о ней запрещения всеобщее любопытство возбудилось еще более, так что знакомые мои просили меня выслать в Осташков новый экземпляр этой книжки.

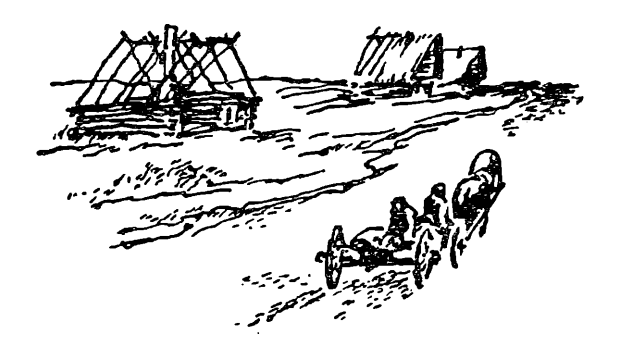
Вслед за этим дошли до меня слухи, что в Осташкове производится строжайшее исследование об открытии злонамеренных лиц, способствовавших моим разысканиям и давших мне возможность ближе ознакомиться с некоторыми чертами осташковских нравов. Наконец явились I и II книжки «Современника» за 1863 год, в которых напечатано было продолжение «Писем об Осташкове». Вскоре после этого получил я известие, что *злонамеренные лица* открыты из этих «Писем»; и что по наведении справок *под рукою* оказалось, что означенные лица действительно способствовали раскритикованию некоторых секретных свойств города Осташкова и его жителей, свойств, до сего времени составлявших, так сказать, городскую тайну. Какие последовали по этому случаю распоряжения насчет «Современника», мне неизвестно, что же касается моих злонамеренных корреспондентов, то я знаю, что против них приняты деятельные меры, имеющие целию лишить их на будущее время возможности выносить из избы сор. Меры эти пока заключаются в преследовании заподозренных в сношении со мною; но, кроме того, им угрожает опасность быть удаленными из городского общества «с очернением». Такой оборот дела многим может показаться невероятным, а угроза невозможною для исполнения; однакож я убежден, что опасность, угрожающая многим осташковским знакомым, и возможна и вероятна. В бытность мою в Осташкове мне приходилось не раз слышать рассказы о подобных случаях, а каждый живший в уездном городе сам знает, как это делается. Удаление из города зависит от приговора членов городского общества, но кто же сомневается в том, что общественное мнение в уездном городе всегда почти находится в полном распоряжении ка-

кого-нибудь сильного лица? Что же касается *очернения*, то об этом и говорить нечего; что может быть легче — очернить человека, который *меня* чернит или способствует очернению меня в глазах всей просвещенной публики? В этом случае границ изобретательности человеческого ума никто еще не полагал. Следовательно, кто же *мне* может в этом препятствовать? Но печальнее всего то обстоятельство, что лица, которым угрожает опасность подвергнуться остракизму, в рассказанном мною случае страдают совершенно безвинно. Сообщая мне разные сведения, они никогда и предвидеть не могли, что оказывают этим своему городу такую плохую услугу. Рассказывая мне всякую всячину, они имели в виду одну цель: помочь по мере сил своих прославлению родного города; они и представить себе не могли, что каждое лишнее славословие прибавляло только лишнее обвинение против тех, от кого зависит судьба их родного города. Кто же виноват, если картина вышла некрасива? Во всяком случае, не я и не мои корреспонденты. Я думаю даже, что все эти подкопы и домашние меры, принятые против моих знакомых, служат доказательством, что я не погрешил против истины.



РАССКАЗЫ







СПЕВКА

Часов в шесть пополудни на квартире у регента собирались певчие. Отерев предварительно сапоги о валявшуюся в сенях рогожку, входили они в переднюю, в которой помещался старый провалившийся диван, шкаф для платья и пузатый комод. По причине нагороженной мебели и происходившей оттого тесноты одежа сваливалась в кучу на диване и частию на комоде. На полу и тут можно было нащупать нечто вроде рогожки, о которую певчие при входе обязаны были шмыгать ногами. В дверях из передней в залу стоял сам регент, мужчина среднего роста, лет сорока, с выразительным лицом и стрижеными бакенбардами. Он стоял в халате, с трубкой в руках, и наблюдал за тем, чтоб сапоги у всех были достаточно вытерты. В зале, на столе, горела сальная свеча и довольно тускло освещала большую печь в углу, диван, фортепьяно с наваленными на нем нотами, комод красного дерева, несколько стульев и скрипку, висевшую на стене. На другой стене видны были портрет митрополита Филарета, часы и манишка. В зале было тесно, пахло сыростию и жуковым табаком, а когда кто-нибудь кашлял, то и резонансу оказывалось мало. Входя в залу, певчие кланялись, сморкались кто во что горазд и молча садились на стулья. Собирались они не вдруг, а по нескольку человек, и всякий раз, когда в сенях начиналось шмыгание, и сопение, регент спрашивал:

— Ну, все, что ли?

Из темной передней слышался ответ: «Нет еще-с».

— Дишканта́ и альта́, не входите в залу; посидите там, пока ноги высохнут,— говорил регент, встречая вновь прибывшую толпу мальчишек. Дисканта́ и альта́ остались в передней и сейчас же начали возню. Тенора́ и баса́ частию сидели в зале и сооружали самодельные папиросы, частию прохаживались по комнате и вполголоса разгова-

*ривали между собой. В то же время, пока собирались пев*чие, происходила такая сцена. В дверях стояла женщина в куцавейке, с большим платком на голове. Она привела сына, мальчика лет четырнадцати, и просила принять его в число певчих. Регент ходил по зале, взбивал себе хохол, потом останавливался у двери и отвечал скороговоркой: «да-да-да», «хорошо-хорошо», «это так» и прочее. Шли переговоры о цене. Регент колебался: принять певчего или нет, и утверждал, что мальчик очень стар. Женщина, видневшаяся в полумраке из передней, слезливо посматривала на регента и покусилась было даже упасть ему в ноги, прося не оставить сына, но регент удержал ее, говоря, что он не бог. Испитой, косоглазый мальчик, с вихрами на макушке, в пестром ситцевом халате и в женских башмаках, стоял у притолки и, время от времени потягивая носом, посматривал исподлобья на дискантов, которые, со своей стороны, пользуясь темнотой, начали уже его задирать, дергая исподтишка за халат.

— Будьте отцом-благодетелем! — умоляла женщина.— Мальчик он смирный и в ноте тверд, а пуще всего, страх знает. У Пал Федотыча, сами изволите знать, тоже и воды принести, и дров наколоть, печку истопить — всё мальчики. Это он может.

— Долго ли он жил у Пал-то Федотыча?

— Год целый жил. Я было его к Калашникову еще малюточкой по десятому годочку отдала, да Пал-то Федотыч уж очень просил, зачал меня сбивать: отдай да отдай ко мне! Сманил от Калашникова, а на конец того, вот те здравствуй! голову ему и прошиб.

— Как же так?

— Пьяный, известно. Да уж что и говорить. Такое-то тиранство, такое... Сами извольте понять — робенок: где и пошалить, где что; а у него один разговор: чем ни попало по голове, особливо как ежели грешным делом запьет. Опять сейчас с женой поругался — хлоп! В карты зачал играть, проиграется — хлоп! Будьте ему заместо отца, батюшка, Иван Степаныч! Отцы вы наши сиротские! Не оставьте! — и женщина опять было собралась бухнуться в ноги.

— Полно, полно,— остановил ее регент.— А вот мы посмотрим, как он знает пение. Войди сюда! Как тебя звать-то?

— Митрием,— откашливаясь, сказал мальчик и, не без робости ступая своими грязными башмаками, вошел в залу.

Регент сел за фортепьяно.

— Ноты знаешь?

— Знаю.

— Это какая нота?

Мальчик поморщил брови и, поглядев боком на клавиши, сказал: *си.*

— Врешь, фа. А это какая?

Мальчик подумал-подумал и сказал: *до.*

— Врешь, *си.* Ну да все равно. Пой! *А — минь.*

Мальчик закинул голову кверху и жалобно протянул «аминь».

— Господи поми-луй,— пел регент, аккомпанируя себе на фортепьяно.

— Господи поми-луй,— протянул за ним мальчик.

— А кроме халата, одежи у тебя никакой нет?

— Ни единой ниточки нету: все Пал Федотыч обобрал,— отвечала мать нового певчего, выступая из передней.— За лечение, говорит. Как он это ему голову-то прошиб, Митюшка и захворай; все в кухне лежал и в церкву не ходил. Вот он за это за самое и вычел. Я ему и башмаки свои уж дала.

— Ну, хорошо, хорошо. Так ты вот что, тетка: ты оставь его пока у меня, я посмотрю.

Женщина повалилась в ноги.

— Ладно, ладно. Ну, ступай! мне теперь некогда. Все, что ли, собрались?

— Все, Иван Степаныч,— отвечали певчие.

— Куликов! раздайте *Верую* Берюзовского!

Женщина ушла, и певчие стали готовиться к пению: откашливаться, поправлять галстуки, подтягивать брюки и прочее.

Один из теноров, исправлявший должность помощника, раздавал ноты.

Мальчики, вызванные из темной передней, не успев кончить там возни, продолжали еще с нотами в руках подставлять ноги один другому, щипаться и плеваться. И, несмотря на то, что регент кричал на них беспрестанно, по всему заметно было, что они его плохо боялись.

— Ну, начинать, начинать, проворней! По местам! — говорил регент.— Куликов, прошли вы с дишкантами *Милосердия двери?*

— Прошел-с,— отвечал бледный курчавый тенор.— Только я хотел вам доложить, Иван Степаныч, насчет Петьки; с ним просто смерть. Очень уж полутонит; сил никаких нет. Только других сбивает.

— Петька! Долго ли мне с тобой терзаться? Вот постой! Я с тобой ужо справлюсь.

Петька — бойкий, востроглазый дискант, сделал серьезное лицо и стал пристально смотреть в ноты.

— По местам! по местам! — кричал регент, садясь за фортепьяно.— От кого это водкой пахнет? Миротворцев! это вы? Как же вам не стыдно?

— Это я, Иван Степаныч, ноги натираю; они у меня простужены, так мне знакомый лекарь посоветовал.

— Смотрите, простужены! Должно быть, на похоронах вчера простудили.

— Да-с, на похоронах.

— То-то я вижу; лицо-то у вас измято.

— Нет, ей-богу-с.

— Ну, хорошо, хорошо. Что ж вы, господа! Баса́! разве не знаете? К печке.

Баса́ угрюмо и нехотя стали у печки.

— А вы, Павел Иваныч? Точно маленький: что говори, что нет.

Павел Иваныч, небритый и мрачный октавистый бас, задумчиво смотрел в потолок.

— Павел Иваныч!

— Чего-с?

— Вам что́ говорят? а вы — чего-с. Тьфу ты!.. Да где ваше место?

Павел Иваныч не двигался с места и так же задумчиво стал смотреть в ноты.

— Иван Степаныч! Петька дерется-с,— жаловался один альт.

— Петька!

— Да я, Иван Степаныч...

— Молчи, покуда я не встал. Ну-с! — Регент взял несколько аккордов.

— Слушайте! Начинать всем в piano:[1] Верую во единого бога отца... говорко́м, чтоб всякое слово было слышно; баса́ ворковать, вот так: *Вюрую ву юдюнаго буга утца...* Павел Иваныч! Куда же вы смотрите?

— Я-с?

— Нет, я-с. Для кого же я говорю? Ах, создатель мой! Так вот: начинать в piano, дишканта́, не оттягивать! Слышите? «Им же вся быша» — раскатить! Всем рассыпаться врозь!.. Раздайся! разлетись! «Им же *вся* быша»...

[1] Пиано — негромко *(ит.)*.

Понимаете? Петька! смотри сюда! «И воскресшего в третий день по писанием» — *с конфортом*[1] «И седящего одесную отца»... Фортиссимо[2]— *иа-а!* Это что́ значит? Слышите? Слава, могущество, сила... небо и земля — все преклоняется во прах. «Грядущего со славою судити живых и мертвых...» Трубные гласы, гром и молния, треск... все разрушается... «Его же царствию не будет конца...» *Конца* — опять раскатить и сейчас же замри, уничтожься! Изобразить эту... эту, как ее? — премудрость, величие, бесконечность. Баса́, взять верха! Рассыпься на триста голосов! Тенора́, виляй; одна октава гуди!.. Дишканта́ и альта́: тра-ла-ла лала... Стой!..

Регент так увлекся изображением того, как надо петь, что вскочил со стула и, вообразив себе, что все это так и было, как он рассказывал, стал уже махать руками и поталкивать под бока теноров, отчего они начали сторониться. Баса́ равнодушно нюхали табак, а дисканта и альта, закрывши нотами лица, фыркали и щипали друг друга. Наконец пение началось: все откашлялись, переступили с ноги на ногу, помычали немного и вдруг грянули: «Верую во единого бога отца...» Регент стоял в средине, уставив глаза куда-то вверх, покачивал головой и водил рукой по воздуху.

— Стой! стой! не так!

Певчие остановились.

— Что вы как коровы ревете? Баса́! Павел Иваныч! я вам что говорил? Точно с цепи сорвались: *прежде всех вя — ак...* Кустодиев! что же вы-то смотрите? А еще из духовного звания. Разве так можно?

Кустодиев — здоровенный, красноглазый бас, с шершавыми растрепанными волосами, нахмурившись, смотрел в ноты и ничего не отвечал.

— Вот ведь вам что хочешь толкуй — вы всё свое. Стыдитесь! Кажется, не маленькие; пора бы понимать. Ведь у вас свои дети есть. Им еще простительно,— продолжал регент срамить басов, указывая на дискантов.

Кустодиев что-то заворчал.

— Что-с? Ну-с, опять сначала! Помните, что я сказал: говорком, баса, не рубить, не рубить! — кричал регент, когда певчие снова начали «Верую».

---

[1] Conforto — с силой (музык. термин). *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

[2] Фортиссимо — очень громко *(ит.)*.

— Павел Иваныч, что вы рычите? Кого вы хотите испугать? Митька, не гнуси!

«...Бога истинна от бога истинна, рожденна, несотворенна...»

— *Легато!*[1] Оттяни! Брось! Баса́, расходись! Павел Иваныч, трубой!.. «Им же вся бы-ша-а!..» Что ж вы стали? Ах ты боже мой! Что мне с вами делать? а глядите же, глядите сюда! На мне ничего не написано...— кричал регент, отчаянно тыкая пальцем в ноты. Певчие уныло смотрели на него; вновь поступивший альт, бессмысленно вытаращив свои косые глаза, пугливо приседал и прятался за других. Регент начинал горячиться. В это время кто-то из дискантов дернул другого за ухо, и вследствие этого между ними сейчас же началась ссора.

— Иван Степаныч! — жаловался один из самых задорных,— с Митькой петь нельзя, он все сопит-с.

— Митька!

— Чего изволите?

— Ты что делаешь?

— Я — ничего-с,— отвечал новый альт.

— Я те дам — ничего. Стань сюда! Ты у меня будешь баловаться. О господи! Вот мука-то! Зачем вы сюда ходите? А? Скажите на милость! Хороводы водить — сели девки на лужок? Ах, боже мой! Петька, сыщи трубку!

Регент опять начал ходить по комнате и взъерошивать себе хохол. Дисканта́ бросились за трубкой и по этому случаю опять устроили драку; остальные певчие разбрелись по комнате.

— Полоумный черт! — ворчал про себя шершавый бас, свертывая из нотной бумаги папиросу.— Право, черт. Что выдумает!..

В углу сели два баса и один тощий, чахоточный тенор.

— Я, братцы мои,— говорил один из басов,— нынче четыре службы отмахал. Вот как! В горле даже саднит. Как драл, то есть ни на́ что не похоже. У Вздвиженья у ранней пел; там отошла — я к Успению: *Милость мира* еще захватил. Потом позднюю у Знаменья да на похоронах апостола читал. К Знаменью пресвятыя богородицы очень уж Кузнецов просил. «Приходи, говорит, беспременно: мы дьякона допекаем; пособи!» Ну, и допекли же мы его. То есть так мы этого дьякона разожгли — мое почтенье! Он выше, а мы ниже. Он, знаешь ты, старается *Вонмем*

---

[1] Легато — связно *(ит.)*.

повыше взять, чтобы евангелие не с *октавы* начинать, потому — голосишко плохонький, а мы как хватим *Слава тебе, господи* целым тоном вниз, он и сел. «Во время о...» — и подавился. С первого слова задохнулся как есть. А Кузнецов, черт, стоит, богу молится, точно не он; так-то усердно поклоны кладет. Я просто чуть не лопнул со смеху. Батюшка гневается... Боже ты мой! Дьякон после евангелия пришел на клирос и говорит: «Ну, уж, говорит, дай срок: я тебе механику подведу». А что он ему сделает? Наплевать.

— Что ж батюшка-то смотрит? — спросил чахоточный тенор.

— А ему что? он говорит: я, говорит, за этого дьякона никогда заступаться не намерен. Ну, значит, и валяй!

У окна еще одна кучка. Несколько человек обступило одного тенора и расспрашивает его о похоронах.

— Ну, что же, весело было?

— Что и говорить.

— *Чайных*-то много ли дали?

— Что чайных? До чаю ли тут! Купцы сначала всё сидели так, смирно, всё больше про божественное, о смертном часе всё рассуждали, а потом это как набузунились,— бабы-то, знаешь ты, по домам разошлись,— купцы сейчас в трактир; и нас туда же — песни петь. Что тут было! Ах! То есть, я вам скажу, не роди ты мать! Мальчишек даже всех перепоили. Одной посуды что побито — страсть! А сирота-то, сирота, что после купца-покойника остался,— с горя да в присядку. «Валяй, кричит, *барыню!* Вот, говорит, когда я праздника дождался!..» Всю ночь курили; «преподобную мати-сивуху» раз десять заставляли петь. Нынче утром в осьмом часу домой вернулись. Вот мы как!

— Да, брат; это похороны,— не без зависти заметил один бас.— Это не то что как на той неделе мы чиновника венчали. Эдакая подлость! Только успели вокруг налоя обвести, сейчас спать. Скареды-черти! хоть бы по рюмочке поднесли; даже на чай не дали. Сволочь!

— Как вам не стыдно! — срамил между тем регент одного тенора.— Вы, кажется, не в кабак пришли: не можете себе пуговиц пришить, спереди всегда у вас расходится...

— Ну, по местам! по местам! — снова раздается голос регента, кончившего распекание.— Куликов! «Тебе поем». Дишкантá, не шуметь!

Певчие опять стали в кучу; регент сел за фортепьяно.

— *До-ми-ля.* Пианиссимо[1]. Раз!

— Те-бе по-ем, те-бе бла...

— Стойте! сколько раз мне вам повторять? Что вы делаете, а? Что вы делаете? я спрашиваю. Скворцов, что вы делаете?

Скворцов задумался.

— Как что? пою-с.

— Что вы поете?

— Тебе поем-с.

— А я вам говорю, что вы дрова рубите.

Скворцов улыбнулся.

— Что вам смешно? Смешного ничего нет. А за жалованьем кто первый? вы. Э-эх, дроворубы! сколько раз говорено было: тенора́, не рвать! нежнее, вполслова бери: Ве-ве-фо-фем, Ве-ве-вла-во-фло-фим... А то: теб-беб поем теб-беб... На что́ это похоже? Опять сначала! «Тебе благодарим» — тенора́, капни и уничтожься! Альта́, журчи ручейком! Дишканта́, замирай!

Наконец пошло дело на лад: баса́ не рубили, дисканта́ замирали, журчали альта́, тенора́ капали и уничтожались, регент аккомпанировал. Вдруг среди пения раздался щелчок по лбу одного из альтов за то, что он сполутонил и плохо журчал; но это нисколько не помешало пению. Альт заморгал только глазами и сейчас же поправился.

— И молимтися, боже наш...— ревели баса, делая свирепые лица.

— Бо-же, на-ха-хаш, бо-жхе нх-а-аш...— выделывали тенора́, закидывая головы кверху и виляя голосом, точно хвостом.

— И-мо-лим-ти-ся бо...— гремел как труба шершавый бас, злобно ворочая белками и как будто собираясь растерзать кого-то.

В это время постучали в дверь; пение опять приостановилось.

— Кто там еще? — закричал регент, недовольный тем, что ему помешали.

Вошел дьячок, плотный, небольшого роста человек лет сорока пяти, в долгополом сюртуке и с бакенбардами, которые шли у него вокруг всего лица, как у обезьян старого света.

---

[1] Пианиссимо — очень тихо *(ит.)*.

— Мое вам почтение,— говорил дьячок, медленно кланяясь.

— А! Василь Иванычу! Прошу покорно садиться. Трубочки не прикажете ли? — говорил вдруг захлопотавшийся регент.

— Ничего, не беспокойтесь; у меня цигарки есть. Я вам, кажется, помешал?

— Нет, это мы старое проходили, чтобы не забыть. Садитесь, Василь Иваныч. Чайку не угодно ли? Я сейчас велю. Это у меня живо.

Регент отворил немного дверь в спальню, просунул туда свою голову и, прищемив ее дверью, сказал вполголоса своей жене, лежавшей на кровати:

— Василь Иваныч пришел. Сама посуди! Нельзя же.

— Да, ты вот еще двадцать человек назовешь сюда, и пой всех чаем,— отвечала она.

— Я не звал; он сам пришел.

— Ну, ну. Ступай уж!

— Так сделай же милость!

— Разговаривай еще!

— Ну, не буду, не буду.

И регент вошел в залу.

— Ну-с почтеннейший Василь Иваныч. Так как же-с? — сказал регент, садясь подле дьячка.

— А ничего-с. Все слава богу,— отвечал дьячок и кашлянул.

— Так трубочки не угодно?

— Нет-с, благодарю покорно.

— Да, да, вы не курите. Цигарок-то у меня нет. Ах ты, досада! Как здоровье супруги вашей? деточки как?

— Слава богу.

— Ну и слава богу. Батюшка как, в своем здоровье?

— Батюшка-то? Да уж они обыкновенно...

— Нездоровы?

— Вот этим местом жалуются, почему что как служба очень затруднительна, ну и опять лета.

— Так, так; лета не молоденькие. Да, жалко, жалко.

Регент и гость замолчали

— Да не прикажете ли водочки? — неожиданно спросил регент.

— Что ж? Нет-с, благодарю покорно.

— Ну как угодно. А то послать?

— Зачем же-с... хм, беспокоиться?

— Что за беспокойство? Так я пошлю.

Дьячок откашлялся так, как будто в горло ему попала крошка, и стал внимательно осматривать потолок.

— Фекла! — нерешительно закричал регент. Ответа не было.

Несколько минут продолжалось томительное молчание. Тенора́ и баса́ осторожно усаживались по стенке, в спальне сердито трещала кровать; мальчишки шептались в передней. Регент смотрел на дверь, но, видя, что кухарка нейдет, сказал про себя: «Что ж это она?» — и пошел в спальню. Там опять начался разговор вполголоса.

— Да ты пойми! — говорил регент своей жене, стараясь растолковать ей необходимость послать за водкой.

— Нечего понимать. Я знаю, ты рад со всяким пьянствовать. Что ты из меня дурочку-то строишь?

— Тише! Да где же я строю? Ты пойми, что моя репутация от этого может пострадать.

— От водки-то? Как не пострадать. Ступай, ступай!

— Ну, Машенька; ну будь же рассудительна!..

В то же время в зале дьячок покровительственным тоном и отчасти в нос говорил певчим, ни к кому в особенности не обращаясь:

— А что, погляжу я, нынче куды как стали петь мудрено. Иной раз этто слушаешь, слушаешь: что ж это, мол, господи! Неужели ж это церковное пение? Оказия!

Певчие внимательно молчали.

— Ну, как же тепериче у вас этот партец...— начал дьячок.

— Что это вы, Василь Иваныч, изволите объяснять? — перебил его вошедший регент.

— А вот с господами певчими про партесное пение разговорились. Мудрено́ что-то, говорю я им. Никак не пойму, что за дела за такие.

— Да, да; я знаю, вы не жалуете новой музыки.

— Нет, ведь что же... и в наше время, бывало, какие концерта́ певали в семинарии: *Дивен бог во дворе святем его* или этот опять: *Возвегдох.* Знатные концерта́! Бывало, это тенера́: голосом-то заведет, заведет... Ах, пропади ты совсем! У нас преосвященный любил пение, знаток был этого дела. Бывало, певчие хоть на голове ходи, а уж в церкви у него держись. Публика, бывало, барынь что́! Вся губерния съезжалась слушать. Народ все чистый; мужичья этого нет. Октава была такая, я вам скажу, дубина совершенная, грамоте даже плохо знал, а голосище имел

здоровый; бывало, как хватит: «Взбранной воеводе» — боже ты мой! Барыня одна, полковница, так и присядет, бывало. Эдакий голос был! За голос, собственно, и в дьякона́ вышел. Или опять многолетие возглашать. Которые барыни слабость за собой знали, всегда в это время на двор выходили, потому никак невозможно стерпеть. Так тебя и огреет, словно вот поленом по голове; другие дишканта́, особливо с непривычки,— глохли. Это пение, и действительно. А то что́ это такое? Послушаешь: тили-тили, а все толку нет. Нищего через Каменный мост тянут, прости господи.

— Оно вот видите ли, Василь Иваныч,— возразил ему регент.— Пение-то, ведь оно, как бы вам сказать? Теперь хоть бы взять киевский напев, или там симоновский, что ли. Как его понять? Нет, вы не говорите! Тут надо большой ум иметь. Например, сартиевская штучка. Что это такое?

— Это я все довольно хорошо понимаю,— сказал дьячок.

— Нет, позвольте! Я говорю, возьмем, ну, хоть «Тебе бога хвалим». На что лучше? Победная песнь, мелодия, слезы умиления исторгает. А между тем я сейчас этот божественный гимн под мазурку сведу. Вот слушайте! «Тебе бога хвага-лим, Тебе господа испо-вге-ду-гу-ем...» Видите? А теперь я так спою: «Теб-беб богга хваль-лим, Теб-беб ггосподда исповедуем...» Разница? Вот таким-то манером, я и говорю... Фекла! Что ж это она запропала?

— Несу.

В дверях показалась кухарка с подносом, на котором стоял графин и тарелка с огурцами.

— А-а! Ну-ка, давай-ка его сюда! Василь Иваныч, с наступающим!

— Сами-то вы что же?

— Кушайте! кушайте! Вы гости.

— По закону, хозяину прежде пить,— ломался дьячок.

— Нет, уж вы кушайте! Я еще успею.

— Н-ну, делать нечего.

Дьячок выпил, сделал *фа* и, понюхав кусочек хлеба, закусил огурцом.

— Да; ну, так вот насчет пения-то...— начал опять регент, наливая себе водки.— Тут, я вам скажу, Василь Иваныч, ничего понять нельзя. Что ж по другой-то?

— Нда, оно точно... да не много ли будет?

— Помилуйте, Василь Иваныч!

— Да кушайте сами!

И опять пошли те же церемонии.

— Ваше здоровье!

— Будьте здоровы!

Дьячок выпил еще рюмку и задумался, глядя на огурец. Певчие между тем стали, видимо, тосковать. Шершавый бас угрюмо смотрел на графин и время от времени сплевывал в угол, да и других тоже одолевала слюна. Тенора, чтобы уйти от соблазна, занялись было разговором, но беседа тоже как-то плохо клеилась.

— Куликов! — начинал один из них.

— Ну, что?

— Обедня-то завтра в котором часу?

— А почем знаю. А тебе на что?

— Да так.

Другой тенор говорил своему соседу:

— Вы, Матвей Иваныч, когда будете ноты писать, не забудьте диезы покрупнее ставить, а то я их все путаю.

— Хорошо.

— Домой приду — сейчас спать завалюсь,— утешая себя, рассуждал один бас и зевал в кулак.

В передней мальчишки устроили впотьмах какую-то игру.

Регент после третьей рюмки раскис и лез к дьячку целоваться.

. . . .

Однако водка стала подходить к концу; осталось только две рюмки. Регент, держась одной рукой за стол и привязываясь к дьячку, старался другой рукой снять со свечи, но не мог. У дьячка же разыгралось самолюбие, и он ничего не хотел слушать.

— Василь Иваныч! Василь Иваныч! — восклицал регент наморщивая брови.

— Не стану,— отвечал разобиженный дьячок.

— Так-то брат Василь Иваныч! Хорошо же. Ну, хорошо. Ты это помни! Я тебе припомню, все все припомню - говорил регент, стращая чем-то дьячка. Но, видя, что угрозой его не проймешь, пустился в нежности. Это подействовало — дьячок выпил.

— Ну вот. Ай да Василь Иваныч! Поцелуй меня, голубчик! Мм, душка! Ведь мы, брат с тобой... псалмопевцы. Так, что ли? а? — говорил регент, ударяя дьячка наотмашь в грудь.— Я, брат тоже, я тебе скажу, не лыком шит. Ты не гляди на меня, что я так... У меня, брат, жена-то, кто она? Статского советника дочь. Понимаешь?

— Как не понять? Что ж, это не синтаксис, понять нетрудно.

— Ах, женщина, я тебе скажу,— ангел. Не стою я ее, сам чувствую, что не стою. Пятнадцать лет в офицерском чине состою и медаль у себя имею, ну, однако, все-таки мизинца ее не стою.

В спальне послышалось легкое ворчание.

— Вот, слышишь? не нравится. Не нравится, что при людях хвалю. Скромна. То есть как скромна, я тебе скажу, ни на что не похоже. Поверишь ли? Иной раз с глазу на глаз... известно, что между мужем и женой происходит...

Ворчание в спальне усиливается.

— Иван Степаныч, барыня гневаются,— сказала вдруг вошедшая кухарка.

— Тс! Смирно! Не буду! — шепотом заговорил струсивший регент.— Виноват! Оскорбил! Виноват!..

Дьячок стал сбираться домой.

— Василь Иваныч! Куда ж ты? Да ты слушай, душа! — Регент отвел его в угол.

— Что слушать? Слушать-то нечего.

— Пойми! За другим пошлю. Сейчас мальчик живым манером сбегает. Тайно, понимаешь? тайно. Беспокойства никакого. На свои. Вот они брат.— Регент вынул из жилетного кармана рублевую бумажку.— Ты только слушайся меня! Мы, брат на законном основании... Понял?

Дьячок кивнул головой и положил картуз. Регент ударил его по плечу и плутовски подморгнул.

— Петя! — шептал он в передней, расталкивая заснувшего дисканта.— Петя, стремись! Во мгновение ока. Понял? В капернаум. Действуй!

Через пять минут регент уже наливал дьячку шестую, и тут только вспомнил о басах и тенорах, потому что они, потеряв терпение, стали попрашиваться домой, не имея более сил выносить такого зрелища.

— Подходите! подходите! что вы боитесь? — говорил регент, все еще стараясь не уронить себя в глазах подчиненных. Певчие встрепенулись и один за другим стали подходить к столу. Кустодиев взял рюмку, посмотрел, посмотрел в нее на свет и вдруг, точно вспомнив что-то, разом опрокинул ее себе в рот и закусывать не стал.

— Павел Иванович! А вы-то что же?

Павел Иванович скромно отказался.

— Отчего ж так?

— Да уж нет-с, Иван Степаныч.

— Полноте! Что вы?

— Н-нет, ей-богу-с.

— Ну вот!

— Нет, уж увольте-с. Я зарок дал.

— Давно ли?

— Да уж вот другой месяц.

— Ну, как знаете.

Павел Иванович покраснел и сел на место; остальные певчие стали над ним глумиться. Один из теноров тоже не употреблял, но по другой причине, которую он объяснил регенту на ухо, отведя его в сторону. Регент между тем разошелся и уже не обращал никакого внимания на то, что из спальни слышалось довольно явственно приближение домашней бури. И когда второй полуштоф был *раздавлен*[1], певчие уже свободно ходили по зале и начали так громко разговаривать, что разговор этот сильно походил на брань. В комнате становилось душно; свеча нагорела, дым от дьячковой сигары ел глаза. Регент, придерживая дьячка за сюртучную пуговицу, ни к селу ни к городу пояснял ему в десятый раз, что жена его ангел и что не будь ее, он бы совсем погиб. Потом разговор необыкновенно быстро свернули опять на пение, причем дьячок уже стал утверждать, что *цис-дур* и *же-моль* в сущности одно и то же[2], что вся штука в воздыхании, и наконец положительно доказал, что всех этих композиторов давно пора бы гнать по шеям. Несмотря на это, регент еще сходил в переднюю, опять растолкал Петьку и послал его за третьим полуштофом.

— Нет, ты постой! Ты слушай меня, что я тебе буду говорить! — кричал регент, дергая дьячка за сюртук.

— Все это пустые слова.

— Нет, я тебе докажу,— кричал регент.— Погоди! Где тут у меня ноты были? А вот за закуской-то и забыл послать.

— Фекла!

В дверях показалось недовольное лицо кухарки.

— Фекла! — строгим голосом говорил регент, стараясь в то же время не шататься.— Ступай принеси огурцов!

— Барыня не велят.

— Так ты не пойдешь?

— Не пойду!

---

[1] Техническое выражение. *(Примеч. В. А. Слепцова).*

[2] Цис-дур и же-моль (вернее: ге-моль) отнюдь **не одно и то же,** так как это две различные тональности.

— Вот и выходишь за это свинья. А я сам пойду.

— Ну, ступайте! Вот она вас, барыня-то.

Однако, подумав немного и сообразив, регент не пошел, а закричал только:

— Пошла вон! У! Ябедница!

Кухарка ушла. Принесли третий полуштоф. Баса́ и тенора́ опять стали подходить к графину.

Вдруг совершенно неожиданно регент сел за фортепьяно, взял несколько аккордов и крикнул: «По местам». Из передней явились заспанные мальчишки, весь хор стал в кучу.

Солнце на закате,
Время на утрате,—

грянул регент, отчаянно барабаня по клавишам.

Сели девки на лужок,
Где муравка и цветок,—

подхватил хор.

— Сарафан мой синий,— мычал пьяный дьячок, болтая под столом ногами.

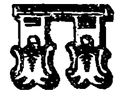
— Действуй на законном основании! — покрикивал регент.— Баса́, не робей! Расходись, расходись!

Часу в одиннадцатом дьячок искал в передней свои галоши, но долго не мог их найти; наконец попал ногой в чей-то валявшийся на полу картуз и ушел домой.

ПИТОМКА

Деревенские сцены

I



о крутому краю большого глинистого оврага пролегала полевая дорога с сухими, жесткими колеями; то спускаясь в овраг, то цепляясь по самому гребню косогора. В овраге кое-где рос кустарник, кое-где стояли желтые лужицы, над которыми роились столбы мелких мошек. Солнце садилось; в побуревшей ржи свистели перепела.

Шла проселком молодая баба с котомкою за спиной. На бабе было старое ситцевое платье, мужские опорки на

босу ногу и белый платок на голове. Шла она скоро, помахивая палочкой; иногда останавливалась, поправляла котомку, оглядывалась кругом и опять шла, мерно покачиваясь из стороны в сторону, уставив глаза куда-то вдаль. А вдали виден был все тот же овраг с порыжевшим бурьяном да пестрые полосы спеющих хлебов.

Вдруг позади загремела телега. В телеге сидел мужик. Баба свернула с дороги в сторону и, не оглядываясь, пошла поскорей. Мужик, поравнявшись с бабою, приостановил лошадь и сказал:

— Путь-дорога! Куда бог несет?

Баба поклонилась и, не глядя на мужика, молча шла стороной.

Мужик посмотрел на нее, тряхнул шапкой и сказал:

— Эй, ты! тетка! Слышь, что ль?

Баба все шла и молчала.

Мужик посмотрел, посмотрел, покачал головой, сказал про себя «глухая» и вдруг замахал руками, крича бабе:

— Ай ты глухая?

Баба остановилась и сказала:

— Чего тебе?

— Здравствуй!

— Здравствуй!

— Что ж ты не откликаешься? Видишь,— человек.

Баба недоверчиво глядела то на мужика, то на его лошадь.

— Садись, подвезу,— сказал мужик.

Баба не решалась.

— Садись, говорят. Дура!

Баба подумала, подумала и села.

— Ну, вот,— сказал мужик,— сиди! Соль тут у меня в мешке.

Баба подобрала подол и положила руку на мешок.

Поехали.

Немного помолчав, мужик спросил:

— Ладно что ли?

— Ладно,— потихоньку ответила баба.

— То-то. А не хотела. Богу молиться ходила? — опять спросил он ее.

— Нет. Я вот... деревня такая есть... у меня прописана...— и баба полезла было к себе за пазуху; однако ничего оттуда не достала а только почесала под мышкой и прибавила:

— Бердяева деревня...

— Какое Бердяево?

— Бердяева... аль Гордеева. Да, Гордеева.

— Где ж это такое? Не слыхать что-то по здешней стороне такой деревни. Кое же это место?

— А я не знаю.

Мужик обернулся к бабе лицом и в недоумении спросил:

— Ты сама-то чья?

— Я дальная.

— Дальная. Зачем же ты идешь?

— А вот... девочка у меня тут отдана... в шпитонках. Повидать девочку-то бы мне.

— А-а! Да да. Так ты деревню-ту и не знаешь?

— То-то не знаю. И спросить-то как, тоже не знаю.

— Ну, так. Сама-то из Серпухова будешь?

— Из Москвы.

— Московская. Да. Тоже не ближний свет. Да, да,— в раздумье говорил мужик и еще немного погодя спросил: — велика девочка-то?

— Нет, махонькая.

— Ну, ничего,— сказал мужик.— Даст бог, найдешь. Сиди! Ишь ноги-то у те!

Баба посмотрела на свои тощие, загорелые ноги, неподвижно вытянутые вперед, и прикрыла их платьем. Мужик задергал вожжами и замахал хворостиной. Лошадь побежала шибче, звонко стуча своими нековаными копытами по сухой дороге. Баба затряслась на мешке и молча посматривала по сторонам. Солнце между тем уже село, и в поле поднялся ветерок. Впереди показались избы; дорога завернула куда-то в сторону, пошла межами и совсем затерялась во ржи. Мужик, прислонившись к передку и свесив руку, задумчиво постегивал хворостиной придорожные травки и затянул было песню. Проехали так еще с версту.

— Как деревню-то сказывали тебе? — спросил он у бабы.

— Мм... Мокей... Мокеева...

— Ну, вот мы здесь спросим. Тут у меня приятель есть такой... а! Настоящий купец. Ну, только и ёрник же!

Стали подъезжать к деревне. Дорога легла позади дворов, мимо гумен, потом пошла коноплянниками и вывела в переулок, к кабаку. Деревня была плохенькая домов двадцать. Некоторые только еще строились после пожара

и стояли без крыш. От новых срубов пахло смолой и дымом. На улице народу совсем не было; только на краю деревни три девчонки сидели на завалинке и, поджав под себя ноги, визжали во всю мочь:

Шел из Питера штафет.
Присылал милой газет.
Я газетик полуцяла,
С издавольствием цитала...

Мужик остановил лошадь у кабака и спросил:

— Ты станешь, что ли?

Баба замотала головой и ответила:

— Нет, я не стану. Я посижу.

— О? А то пойдем! Что ж? ничего. Ведь озябнешь. Еще пять верст до ночлега.

— Нет, я не озябну.

— О? ну так сиди же, смотри. Я сейчас.

Мужик вошел в кабак и, высунувшись из окна, крикнул бабе:

— А то огурчика? Вынести, что ль?

— Не стану.

— Солененького? а? Ты гляди, какие огурцы-то. Ну, не надо. Сиди, сиди!

К телеге подошла собака, понюхала у лошади хвост и ушла опять на завалинку

В кабаке засветился огонь и видно было, как мужик вылил шкалик в стакан, выпил, утерся полою и, заговорив с целовальником, стал раздирать пальцами кусок вяленой рыбы. Видно было, как целовальник безымянным пальцем скостил что-то на счетах, поглядел сонными глазами на свечку, почесался и вылез из-за стойки. Наконец оба они вышли на крыльцо, и мужик сказал целовальнику:

— Глякась, какую я себе бабу везу.

— Да, баба ничего,— зевая, ответил целовальник.

— Гм!..— сделал мужик, залезая в телегу.— А ты как об нас полагаешь? Ну, да ладно же. Прощай. Матри, коли што, так ты и тово, алибо што. С нашими тогда наказать можно. Гляди, не прозевай.

— На что зевать,— сказал целовальник,— с богом!

Лошадь тронулась.

— Ах, постой, брат, постой! Какая тут такая вотчина есть Сверлеева господина? Не слыхать? Ай Гордеева?

— Гордеева,— подтвердила баба.

Целовальник задумался.

— Не слыхал что-то. А тебе на что?

— Да вот молодке-то моей туда было нужно, беспременно нужно побывать. Девочка у нас с ней там есть. А то вот что. Ну-кось, как тебя звать-то?

— Анисьей.

— Ну-кось, Анисья, покажи-кось ему, где у те там прописано. Он эти все дела разберет.

Баба полезла было за пазуху и задумалась.

— Что ж ты? — сказал ей мужик.— Да ты не бось, дура, он не отымет. О, глупая! Он только глянет одним глазком и все узнает. На что ему твоя записка?

Баба послушалась, развернула тряпочку, достала оттуда лоскуток бумаги и отдала его целовальнику. Целовальник вошел в избу, а мужик стал копаться в каком-то лукошке, приговаривая:

— Он разберет. Ишь завязал, теперь ни в свете не развяжешь. Разберет. Как не разобрать. Мужик вострый. Не развяжешь. А, мухи те ешь! Развязал. Эй! как тебя? Анисья! На-ка, закуси! Неравно поесть захочешь,— сказал он, сунув бабе два кренделя.— Ребятенкам везу. Они у меня охотники смертные. Что ж ты?

— Я не хочу,— отозвалась баба.

— Ешь, дура, ничего.

— Я не хочу.

— Говорят: ешь, черт!

Баба взяла крендели, но не решилась есть.

Целовальник вышел на крыльцо.

— Ну, как дела? — спросил его мужик.

— Тут написано — Целибеево. Это Боркѝ должны быть.

— Борки. Это за Шелепихой? Знаю. Ну, теперь найдем. Будь спокойна! — уверил он бабу. Она завернула опять бумажку в тряпицу.

В поле совсем почти смерклось. Проехав деревню, мужик вытащил из-под себя зипун и отдал бабе, говоря:

— Возьми укройся зипунишком-то, все тепле.

Баба сказала: «На что?» — однако оделась.

Немного погодя мужик обернулся к ней, посмотрел ей в лицо и спросил:

— И чего ж ты давеча, глупая, испужалась?

— Когда?

— Когда! А как встрелся-то я тебе?

Баба ничего не отвечала.

— И есть ты баба,— заключил мужик.— Глупый твой разум. Нешто мужик может обидеть? Эх, ты! — И еще немного погодя прибавил: — вот девочку твою найдем.

— Дай-то господи,— шепотом сказала баба.

— Где ж у те хозяин?

— Помер хозяин у меня, вот другой год пошел.

— Одна живешь?

— Одна. У купца в стряпухах живу.

— Кто ж тебе записку дал?

— Этот, писарь дал.

— Какой писарь?

— А в шпитательном. Я там номерок выправляла.

— Ну?

— Ну, и сказал мне этот писарь, что, слышь, в деревню девочка отдана в шпитонки.

— А много ли он с тебя взял?

— Сперва-то было пять целковых просил. Я ходила, ходила, три раз ходила. Первый-то раз сказали, за шестьдесят верст в деревню отдана, я и пошла.

— Ну, что же? Не нашла?

— Нет, нашла, да чужую, не свою. Моей-то четвертый годочек пойдет, а этой уж восемь лет.

— Значит, зря проходила?

— Зря.

— А в другой?

— А в другой опять записку дали, по Можайке, за Можаем за городом еще за сто верст. Ну, там сказали, померла, слышь, девочка-то. И звать совсем не так. Моя-то Прасковья, а эта Анфиса Егорова.

— Ну, писарь-то что ж говорит?

— Говорит, ошибка, говорит, вышла. Номера перепутали. Теперь, говорит, беспременно найдешь.

— Пустое дело,— заметил мужик.— А деньги все-таки взял?

— Денег я ему два целковых еще в тот раз дала да полштофа водки. Ну, на чаю тоже пропоила с целковый; да вот теперь пошла, целковый рубль дала.

— Гм! да. Эти писаря тоже ловко вашу сестру обчищают. Эх, сирота ты, сирота! погляжу я на тебя. Сиротское самое твое счастие,— заключил мужик и задумался. Баба тоже задумалась.

Спустя много времени мужик тронул бабу пальцем и заговорил.

— Я тебе про себя расскажу, как меня эти писаря подвели. Нну! Надоумил меня тоже эдакий добрый человек вольную выправлять. А ты садись плотней! Вот. Что ж ты крендели-то не ешь? Ну и надоумь он меня, человек-то этот. «Вольный, говорит, будешь; в купцы выписаться можно».— «Вре?» — «Да пра», говорит. Ну, хорошо. Писарек тут один мне и подвернись. «Я, говорит, берусь. Пятнадцать целковых денег». Думал, думал, эх, в рот, мол, те,— пиши! Написал. И то он мне, а тебе скажу, написал, что меня за это за его письмо драли, драли... Может, целковых на три об меня хворосту одного обломали; да год в остроге высидел. Так вот они, писаря-то. И гляди на них.

Приехали в какую-то деревню ночевать. Остановились у одной избы. Мужик постучал в окно. Впустили. Хозяева только было сбирались ложиться. Баба вошла в избу, а мужик пошел отпрягать лошадь. Сам хозяин еще не ворочался с поля.

В избе было душно, мухи жужжали и лезли в лицо. На печи охала старуха; а вся семья была в клети. Хозяйка вошла в избу и, доставая из рукава блоху, спросила:

— Огурцы хлебать станете, что ли?

— Я не стану,— отвечала баба.

— Ну, а коли ложиться, ложитесь. Ты небось, молодка, с хозяином с своим?

В это время вошел мужик с мешком и с лукошком.

— Ну, вот, лошадке кормецу засыпал, незомь пожует,— говорил он про себя.— Что у вас, хозяйка, в печи-то припасено что, ай нет?

— Мы ноне не топили,— отвечала хозяйка.

— Ну, ничего. Мне только бы кваску испить. Господи бослови! — говорил он, зачерпнув ковшик.— Рад,— до квасу-то я дорвался. Рыба эта, неладно ей будь, рыба-то уж очень в кабаке... ржавая. Обопьешься. Квас, должно, молодой?

— Молодой, не устоялся.

— То-то, не кисел. Ну-кось, еще ковшичек зачерпнуть. Не кисел. О мать пресвята богородица! С соленого-то пьется.

— Я бай, вместе стелиться станете? — зевая, спросила хозяйка.

— Кто? мы-то, что ли? Нет, мать, мы врозь. Мы ноне с ней, я тебе скажу, вот как: чтобы ни отнюдь. Говеем.

Хозяйка не поняла и, улыбаясь, спросила:

— Что ж так?

— А так; потому спасаться хотим. Вот что.

— Чудно,— сказала хозяйка и покачала головой.— Нешто вы...

— Да ну вас совсем! — вдруг отозвалась с печи старуха.— Греховодники! Ты и рада, девка, язык-то чесать,— заворчала она на хозяйку.

— Что мне радоваться? — ответила хозяйка.

— Постыдились бы хоть крошечку. Завтра праздник.

— А ты, старушка, помалчивай,— сказал мужик.— Лежи знай!

— Я лежу, голубчик, лежу.

— Ну и слава богу, коли лежишь. И мы ляжем, Анисья, ты в сенях, что ли?

— Я в сенях.

— Ну, а я пойду на двор. Коня напоим. Хозяйка, где тут бадья-то у вас? Ты у меня, Анисья, смотри, чтоб спать. Больней старайся спать. Завтра раньше вставать,— говорил он, уходя из избы.

Ночью звезды светили на дворе. В клети слышно было торопливое детское дыхание, и старуха в избе возилась и охала вплоть до самого утра.

Баба вскочила ни свет ни заря и собралась было уходить. Мужик проснулся, глядит, баба отворяет калитку.

— Куда ты?

— Да нет, уж я пойду.

— Ах ты, оглашенная! Что мне с тобой делать? Куда тебя несет этакую рань?

— Да по холодку-то лучше.

— Не ходи, говорят. Вместе поедем.

Баба осталась.

Солнышко взошло — поехали дальше.

Около полудня увидали большое село на пригорке, с деревянной церковью и садами, спускавшимися к речке.

— Вот они, Борки! — сказал мужик, указывая хворостиной на село.

Баба молча пристально глядела вперед.

— Народ тоже со всячинкой,— продолжал мужик, как будто рассматривая что-то впереди.— Хвалить нельзя. Первые кулаки в свете. Всю поселенную изойдешь, таких еще

не найти. Тоже торговлю у себя имеют, а хлеба нет. Больше насчет лошадей стараются. Ноне гуляют — праздник. Что ж им? Дело ихо базарное. Кабак-от вот он!

Немного не доезжая до села, мужик остановил лошадь; баба слезла.

— Ну, теперь с богом,— сказал мужик.— Дай бог!

Баба подвязала котомку и собралась было идти. Мужик стал что-то поправлять колесо и, заглядывая под телегу, сказал:

— А косушечку с тебя бы нужно за провоз, для праздника.

Баба вернулась.

— Садись, я тебя до кабака довезу, так и быть. Что с тобой делать? Но! — закричал он на свою лошадь.— Эх, молодость! Гляди, как запалим.

Телега живо подлетела к кабаку и остановилась у крыльца. Тут уже народу толпилось довольно. Одни сидели на завалинке, другие стояли, запустив руки в карманы, и смотрели на улицу.

Отставной солдат в ситцевом нагруднике погромыхивал на гармонии.

— Эка, братцы мои, житье-то у вас! — говорил мужик, слезая с телеги.

— У нас, брат, житье,— отвечали мужики, куря трубки.

II

После обеда народ гулял на селе; в разных местах собирались кучки; в проулках между дворов бабы песни играли. Мужики всё больше жались к кабаку. Тут на площадке орлянка шла отчаянная.

Приезжая баба, Анисья, ходила по дворам и все спрашивала:

— Нет ли тут девочки такой, Прасковьей звать?

— Какой девочки? — спрашивали ее бабы.

— Так, вутэдакинькая; четвертый годочек. В шпитонки взята.

— Нет, что-то нет такой,— отвечали бабы.

— Тебе шпитонку, что ли?

— Да.

— А вот у Сёмушкиных взята девочка.

— Что ты зря-то болтаешь? у Сёмушкиных. Тое замуж скоро отдавать.

— Ну, кчто ж? Не век же ей в девках сидеть?

— Да ты слышишь, махонькую нужно.

— Мало б ты что захотела. Где ж ее взять, коли нет? Ты бы родила да и дала ей, коли уж ты добра очень.

— Что ты меня-то родить посылаешь? Вперед на свой хвост оглянись.

— Мне глядеть нечего. Узоры не велики.

— Вот то-то и есть.

— Ты, милая, ворожишь, что ли?

— Нет, я не ворожу. Мне было вот девочку.

— О! А мы думали, ты ворожишь. На что ж тебе девочку?

— Дочка она мне.

— Дочка?

— Да, беленькая такая. Паранюшка.

— Нет, не знаю. Вон девочка шпитонка бегает, кургузая-то, вон! Подол на голову задрала. Ах ты подлая! Акуль! Акулька-а!

— Народят робятищев да и раскидают по чужим дворам,— ворчала старуха, сидя у ворот.— Ходют! шлёнды московские; право. Взяла бы вас из поганого ружья застрелила. Суки!

На лужайке, против церкви, сидели бабы в красных рубашках. Одна говорила:

— Лежу я, девка, так-то и думаю: как бы мне не проспать! А сон это меня схватит, схватит да как ударит; я и вскочу. А ночь темная-растемная. Забылась я чуточку и вижу, быдто я хлебы в печку сажаю. Хлебы такие белые. Матушка быдто стоит эдак подпершись. «Какие, говорит, у нас хлебы-то удались, ровно как пшеничные». А я тороплюсь, сажаю. Как бы дух-от из печки не вышел, боюсь до смерти. Вдруг откуда ни возьмись — свинья, пестрая да большущая, схватила один хлеб и убегла. Я за ней: ах-ах-ах, ах-ах-ах, все бегу, все бегу, никак не догоню. И уж сама себя не помню, полем все каким-то бегу да все спотыкаюсь; кочки тут какие-то, ямы нарыты. А свинья эта обернулась ко мне и говорит: нет тебе ничего! Посмотрела я на нее, а она страшная-расстрашная; зубы у ней вот эдакие... Я так вся и затряслась... Батюшки мои! да как закричу — и проснулась. А хозяин меня в бок толкает. Что ты, дура, орешь? Я бабке сказываю, она говорит: это кто-нибудь из родни помрет.

— А я вот,— говорила другая баба,— третью ночь все свекра-покойника своео вижу. Вижу, быдто мету я избу, а он, покойник, царство небесное, все меня сзади хватает. Я оглянусь, что, мол, ты, батюшка? а он мне: ничего, говорит, мети, мети знай!

— Да чтой-то, бабы, никак эта приезжая-то сюда идет?

— И то, никак сюда.

— Ну, что, голубка, не нашла девочку-то?

— Нет, все не найду.

— А ты бы к ворожее сходила. У нас тут недалеко старушка живет. Она бы тебе погадала.

— Да уж ходила я к ним: обещали верно, а все нет. И у Сергия-то чудотворца два раз была.

— Ты бы в правление еще сходила,— что́ писарь скажет. Пойдем, я тебя сведу,— вызвалась одна баба.

Пошли.

— У нас тоже, я тебе скажу,— говорила провожатая,— сладость-то не бознать какая. Девять душ! Шутка? Ребята мораются. Одних рубах не напасесси. Постокась, мы у мужиков спросим.

Мужики стояли кучей между кабаком и волостным правлением. Разговор у них был следующий:

— Что ж, известно, наше дело такое.

— Что и говорить.

— Нет, вы, братцы, солдата спросите, он-то что́ тут?

— Я что́? — спрашивал солдат.

— Да; ты-то что́?

Солдат подбоченился, наморщил брови и спросил:

— За Дунаем был?

— Нет, не был.

— Ну, стало быть, нечего мне с тобой и толковать.

Один пьяный мужик стоял среди улицы и, кланяясь другому, говорил:

— Вы наши отцы, а мы ваши дети. Отец милосердай!

А другой посмотрел на баб и сказал:

— Эти что, поганки-то, ходют здесь?

— Я милосерд,— закричал пьяный мужик.

— Брысь вы, шилохвостые!

На крыльце волостного правления тоже сидели мужики. Бабы подошли к ним.

— Степан Егорыч где? — спросила провожатая.

— А тебе на что?

— Да вот этой молодке нужно насчет девочки.

— Небось пьяный лежит Степан Егорыч-то ваш, а то у старшине.

— Тебе, тетка, девочку? — спросил кузнец.

— Да; дочку было.

— Скоро нужно?

Баба обрадовалась.

— Да поскорей-то бы лучше. Очень уж я...

— Ишь ты, какая проворная!

Мужики захохотали.

Приезжая баба отправилась к старшине. Писарь в это время сидел за столом и говорил:

— Они без меня шагу ступить не могут. Так ли я говорю?

— Это верно,— отвечал старшина, разбивая на лавке камнем орех.

— Я говорю,— продолжал писарь,— васкбродие, позвольте мне в отпуск! А он: я, говорит, тебе, собачий ты сын, такой отпуск задам — ты у меня своих не узнаешь.

— Там вас, Степан Егорыч, баба спрашивает,— сказала жена старшины.

— Какая баба?

— А я не знаю.

— Посылай ее сюда!

Вошла приезжая баба.

Старшина положил камень на окно и спросил:

— Что ты?

Баба поклонилась.

— Здравствуйте!

— Ну, здравствуй! Чего ж тебе нужно?

— К вашей милости.

— Не слепые, видим, что к нашей милости. Какое такое твое дело? — спросил писарь.

Баба подперлась рукой в щеку, посмотрела на старшину, потом на писаря, заморгала, заморгала глазами и повалилась в ноги.

— Говори толком! Что валяться-то? — сказал писарь.

Баба поднялась и, стоя на коленях, сказала:

— Детища моя отдана в чужие люди. Не найду.

— Ну так что ж?

— Нельзя ли в книжке посмотреть? Шпитоночка она.

— То-то вот,— сказал писарь, – дуры вы. Ходите безо время. Нешто не знаешь, грех в праздник ходить.

Баба молча поклонилась.

— Это не дело,— заметил старшина.— Надо время знать.

— Отцы вы наши сиротские! — шепотом сказала баба.

— Нечево — «отцы». Отцы, да не ваши,— отвечал писарь.

Старшина подошел к бабе и, покачиваясь над ней, сказал: «Вот вы грешите, а начальство за вас отвечай»

Баба, стоя на коленях, посмотрела на него.

— Вот что́,— прибавил старшина и опять сел.

Баба встала и собралась было уходить.

— Ну да ладно, приходи ужо ко мне в правление,— сказал ей писарь.— Беда мне с вами!

— Что станешь делать,— заключил старшина – По глупости прощается.

Баба ушла.

На краю села стояла старая избенка, без крыши, с одним окном. У ворот торчала опрокинутая соха. В сумерки проезжая баба подошла к избе и постучала в окошко. Там кто-то закашлял и спросил:

— Кто там? Иди на двор!

Баба отворила калитку и вошла. По двору ходила овца. В сенях крыши тоже не было. На верху, в слегах, копошились воробьи. Из избы послышался голос:

— Отыми, дверь-то отыми!

Баба попробовала было отпереть, но дверь была без петель и повалилась в сени.

В избе, на лавке, у самого входа, на зипуне, лежала больная женщина.

— Что ты? — спросила она.

Приезжая баба посмотрела вокрут и сказала:

— Писарь говорил: девочка у вас тут есть...

— Есть, есть девочка. Хворает, как я же. Замучила лихоманка. Ты мать, что ли, ей? Казенная она у нас. Коли мать — возьми! Самим есть нечего.

Больная встала с лавки, охая натянула зипун и вышла в сени, говоря:

— До нового хлеба далеко, а старый еще к святой приели. Все кое-как, кое-как, по чужим людям; да хворь-то пуще всего... О-ох! Вот она лежит. Парань! а Параня! Мать пришла, гляди-ка сюда!

В сенях, на доске, лежала в жару трехлетняя девочка, обернутая в тряпье. Больная женщина подняла мешок, которым была накрыта девочка, и показала ее приезжей.

— На вот, смотри! Она, что ли?

Девочка открыла глаза, с испугом взглянула на бабу и застонала.

— Не видать мне тут,— говорила приезжая.— Темно.

— Постой, я к свету вынесу. Паранюшка! встань, ягодка ты моя! Головка болит,— говорила больная, подымая девочку и вынося ее на двор; больная села на порог, а приезжая припала к ребенку и торопливо стала разглядывать. Девочка лежала на коленях, закинув назад горячую голову, с закатившимися глазами и раскрытым ртом.

— Ох, не знаю я так-то,— говорила баба.— Поверни-ка ты ее вот этак, на бочок. На правом боку родинка тут у ней.

— Постой, постой,— говорила больная.— Повернись чуточку! вот так! Не бось! Мать тебе пирожка принесла. Не бось, милая! Что, есть, что ли?

— Нету.

— Ну, делать нечего. Видно, не она,— сказала больная и понесла девочку в сени.

Приезжая баба постояла на одном месте, поводила глазами по двору, потом подошла к двери, сказала:— Ну, прощай! — и вдруг ударилась об землю и зарыдала.

— Дочка ты моя милая! детища ты моя ненаглядная! — причитала она, лежа на пороге и ухватив обеими руками свою дорожную палочку. Котомка на ней тряслась, платок съехал с головы.

Больная женщина подошла к двери, посмотрела, посмотрела на приезжую, сама припала к ней и стала уговаривать:

— Ну, что ты? ну, что? дура! дура! не плачь!

— Ох, очень уж у меня накипело, на сердце-то накипело... Со вчерашнего с утра вот этакой крошечки во рту не было...

— Постой, я тебе хошь водицы принесу,— сказала больная и пошла за водой.

Баба между тем встала, оправилась и повязала платок.

— Ну, я пойду,— сказала она, хлебнув из ковшика воды.

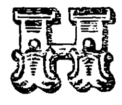
— Куда ж ты?

— Нет, пойду. Не могу я здесь.

И пошла опять вдоль села, той же дорогой, какой приехала.

НОЧЛЕГ

Подгородные сцены

а дворе стояла оттепель, смеркалось; по опустевшим городским улицам кое-где бродил народ. Запоздавшие на базаре мужики, лежа в санях, перекликались и погоняли лошадей. На самом краю города, в харчевне виднелся огонь. У крыльца, на площадке, густо покрытой навозом, стояли извозчичьи и крестьянские сани. Свет, полосою падавший из окна, освещал шершавые бока лошадей, угрюмо мотавших мокрыми хвостами, и наблюдавшего за лошадьми мальчишку в полушубке.

Рядом с харчевнею, в ворота постоялого двора въезжали мужики. На дворе виден был фонарь, висевший на перекладине, и несколько крестьянских саней. В избе тоже светился огонь. Хозяйская работница накрывала на стол и сбирала ужин. Человек пять мужиков сидело по лавкам; один из них разувался и вытаскивал из сапог солому; другой полез было на печь, однако слез — на печи лежал хозяин пьяный. Между тем в избу всё входили вновь приехавшие мужики; понизу из двери стлался пар; в сенях хозяйка выдавала овес.

— Щец, что ли, влить, али вперед квас станете хлебать? — спрашивала у мужиков работница.

— Мы всё станем,— отвечал один.

— Подавай, что есть,— прибавил другой.

Работница поставила на стол чашку с квасом, мужики помолились на образа и сели. Вошла хозяйка с фонарем и сказала:

— Хлеб да соль!

— Просим милости,— ответил один из мужиков, высыпая в чашку накрошенную рыбу.

— Огурчика бы,— вполголоса заметил другой.

— Нету, родимый, нету... прокисли,— ответила хозяйка.— Мало соли, что ли, уж не знаю. Скотине покидали, и скотина не ест. Такая мне, право, досада с этими с огурцами; кабы знала, легче бы не солила.

Мужики молча стали хлебать квас.

— Это кто ж у вас, хозяйка, на печи-то лежит? — спросил один из сидевших за столом.

— Хозяин лежит, родимый, хозяин. Грешным делом тоже выпил, ну и спит. Незомь его.

— Что ж он у вас, дерется? — спросил другой.

— Нет, драться он не дерется, а тоже со временем озорничать лют. Черёзвый он у нас смирен; так смирен, настоящий андел, хошь паши на нем; ну а выпьет,— всех распужает.

В это время вошли только что приехавшие, помолились, сказали «хлеб да соль» и начали раздеваться.

— Кирсановски будете? — спросил один из вновь вошедших.

— Нет, мы Духовщински,— не глядя отвечал один из сидевших за столом.

— Давно ль из двора?

— Пяты сутки.

— Ну, как дорога?

— Что дорога? Дорога ноне везде одна.

— Дорога, брат, Сибирь,— добавил другой.

— Лошадей так сморили, так сморили,— ни на́ что не похоже. Ноне утром встали, вышел я лошадей попоить; а они, брат, за овес-то и не примались.

— Как не сморить. Пуще всего моча одолела. Эдакой мочи то есть и не видано. Всё норовим засветло ночевать. Теперь ночью где в зажоре застрял, беда. Пропадешь.

— Пропадешь. Долго ли до греха.

— Ночью как можно? — сказал один, развешивая над печкою онучья.— И днем-то не приведи господи, а не токма́ что ночью. Тоже и скотину беречь нужно. Дорогой-то едешь, почитай что все на себе везешь.

— Скотину не беречь, что ж тогда будет? — заметил один из сидевших за столом и прибавил:

— Лапши нету?

— Нет, лапши нету,— отвечала хозяйка.— Мы картофь варили.

— Давай картофь! С чем он у вас, с маслом?

— С хлебцем, родимый. Хлеб у нас мягкий, ноне пекли.

Мужик ничего не сказал и тряхнул волосами.

— Вот, говорят, скотина,— начал мужик, сидевший в углу на лавке.— Скотина, скотина, а тоже понимает, что тяжко. Везет, везет да оглянется. Я, мол, что ты? ай подсобить? Она мордой-то вот этак. Стало быть, вот тоже понимает; сказать только не может, а ты должо́н догадаться.

— Известно, скотина не скажет,— опять заметил сидевший за столом.— Ну, и впрочем... кваску бы, хозяйка.

— Сичас, сичас,— заторопилась хозяйка.

Работница накрыла на другом конце стола другой ужин. Вновь приехавшие сели.

— А солдат-то наш где? — спросил один из них.

— Там, в возу что-то копается. Я его кликала,— ответила работница.

— Сходи, умница, покличь еще! Скажи: иди, мол, ужинать проворней.

Работница пошла было за солдатом, но встретилась с ним в дверях.

— Вот он, солдат-то, когда намочился,— говорил отставной солдат, входя в избу.

— Иди садись,— сказали ему мужики.

— Постойте, братцы; дайте срок. Уморился до смерти с товаром-то с своим. А! хозяйка! Старушка — божий дар — здорово! Ай не узнала?

— Как не узнать? Старый хрыч. Все еще жив?

— Жив бог, жива душа моя.

— Куда это тебя носило?

— Да все по торговым делам.

— Купец!

— Сокрушила меня эта торговля, пропади она совсем Ничего не стоит. Хозяин-то где ж?

— Вон, порадуйся, на печи лежит дитятко. Налопался, спит.

— Что ж, это ничего. Пройдет. Это не вредно. Ах, намочился! Влетели в канаву, вот по этих мест окунулся. А что, солдату погреться водочки не будет?

— Как не быть.

Солдат выпил и спросил:

— А закуски не полагается?

— Кто ее припасал для тебя, закуску-то! Нешто у нас кабак?

— Ну, ничего, мы языком закусим. Нет, ты слушай, Матвевна, как мы влопались-то, я тебе расскажу. Накось, повесь посушить! Как влопались — в лучшем виде. Я вчерась еще говорю: вы, говорю, у меня, мужики, не дремать. Они лошадей, знаешь это, распустят, и знать ничего не хотят. А я уж тоже твердо знаю их эту мужицкую привычку; кричу им: робята, не отставай, дружней! потому, тут, упаси господи, всех лошадей перетопишь. А Федюшка — подлец, вот он, рыжий-то. Что ты глядишь? у! — я это с товаром-то с своим, а он, брат, вон де, за версту отстал; гляжу — дрыхнет. Ах, черт-то вас возьми совсем! Я один и остался. Лошаденку разогнал да так весь, как был, и с потрохом с своим влопался, как черт. Главная причина, очень уж дрыхнуть здоровы. Так спят, так спят, просто ни на что не похоже.

Мужик захохотал.

— Ха-ха-ха! Что ты ржешь-то, как кобыла на овес?

— Да. Поработал бы ты с наше; поглядел бы я, как бы ты стал храбриться,— отозвался один мужик.

— Вы молите бога, что не я у вас бурмистром, а то бы я вам показал, как спать.

— Ну, да ладно. Аника-воин! Садись уж! Вона она ложка-то.

— Сесть я сяду, а вас учить надо.

— Выучил такой-то один.

— Такой, да не эдакой. Вот что. С чем же картофь-то у вас, Матвевна?

— Известно, с чем,— с хлебом.

— А масла-то что ж?

— Еще масла. Ишь ты, моду какую выдумал! Картофь с маслом. Модник! Вон мужички не хуже тебя, а с хлебцем покушали.

— Пускай кушали, а я не хочу.

— А ты что за граф за такой?

— Известно, граф.

— Какой такой?

— Брандербурский.

— Какой?

— Брандербурский. Вот те и все тут. А ты не знаешь.

— Не знаю, да и знать не хочу. А ты этих слов за столом у меня не смей говорить. Что ты охальничаешь в самом деле? Старый ты человек, тебе бы богу молиться, а ты озорничать.

— Глупая ты баба! Ничего ты не понимаешь.

— Не понимаю я? Нет, я все понимаю. Бессовестный! право бессовестный! Кушайте, родимые, на доброе здоровье,— говорила мужикам хозяйка, ставя на стол жареного леща.

— Что ж, масла не дашь?

— Не дам.

— Наплевать, коли так. Подавай мне каши!

— Ну, ты не командуй,— сказала хозяйка. В то же время кто-то постучал в окно.

— Кто там? — спросила она, подходя к окну.

— Ночевать пущаете, что ль? — спросил с улицы мужичий голос.

— Пущаем, родимый, пущаем. Много ли вас?

— Один, матушка, пишкавой. В городу запоздал. Пустите Христа ради.

— Мы голубчик, Христа ради не пущаем.

— Да я поплачу́сь. Что ж, чай больше семитки за ночлег не положите?

— Ужинать станешь?

— Нет я ужинать не стану. Признаться хлебушка на базаре купил — пожую.

Хозяйка было задумалась.

— Пущать ай нет?

— Пусти! — сказали мужики.— Дело народное. Мы к лошадям спать пойдем.

— И то,— сказала хозяйка.— Акулина, подь, пусти его!

Немного погодя вошел мужик в старом полушубке и в лаптях.

— Хлеб да соль!

— Просим милости,— промычали мужики.

Прохожий постоял молча середь избы, утер рукавом бороду и повесил шапку на гвоздь. Мужики ели леща и исподлобья посматривали на прохожего.

— Дальной? — спросила хозяйка.

— Фу, дальной, матушка, дальной,— отдувшись, ответил мужик и, отойдя к сторонке, принялся шарить у себя в кармане.

— А пироги с медом будут? — спросил солдат, обсасывая рыбью голову.

— Ухват вон еще у меня припасен для тебя под печкой.

Солдат засмеялся.

— Это бабье ружье-то? Знаем. Эх, Матвевна!

— Что Матвевна? Я давно Матвевна.

— То-то давно. Давно бы пора тебе понять, дура.

— О, старый шут! Право. Лезь на печку-то скорей.

— Солдат залезет.

— То-то, гляди, сослепу-то еще не попадешь.

— Небось! Солдат попадет, не ошибется.

— Да ну тебя! греховодник! Уйди!

— Эх, Матвевна! сказал бы я тебе такое слово одно... Ну, да делать-то, видно, нечего. С горя хоть трубочки покурить.

Хозяйка что-то не расслушала и пошла в каморку, а мужики стали вылезать из-за стола и напустились на квас. Работница сбирала остатки ужина. Мужики сбились в кучу и, почесываясь, начали промеж себя рассуждать:

— Что ж, спать, что ли?

— Куды эдакую рань?

— А по мне, хошь спать, так в ту же пору.

— Потить лошадей поглядеть.

— Как тебя звать-то, молодая? Акулина, ты мои портянки пуще глазу береги. Слышишь?

— Ладно. Ступайте хушь на двор-то. Теснота.

— А я вот тут, гляди сюда! видишь, вот тут у меня тряпица висит. Чтобы сохранно. Гляди, на тебе спросится.

— Да ну, ладно.

— То-то ладно. Потом судись с вами. Что с тебя взять?

— Не пропадет. Ишь, бархат какой.

— Бархат и есть. Всякому свое мило.

— Всякому, брат, своя сопля солона,— заметил прохожий.

— Известно, солона,— подтвердили мужики и пошли на двор.

Солдат с трубкою остался в избе. Прохожий сидел на лавке и вздыхал.

— Почтенный, ты табак куришь? — спросил солдат у прохожего.

— Нет, не курю; мы к этому не приучены.

— Что ж так?

— Так, что не приучены.

— Напрасно.

— Напрасно ли, нет ли, уж не знаю; а вот на дудке я в стары годы мастер был играть. Это точно.

— В пастухах жил?

— В пастухах.

В это время мужики друг за дружкой входили в избу. Один принес хомут сушить. Кто полез на полати, кто так остался на лавочке посидеть. Пошла зевота.

— Да, пастухи это и у нас тоже на дудке играть здоровы,— сказал один, залезая на полати.— Жилейка это, значит.

— Ну, вот, самая она,— подтвердил прохожий.

— Знаю. Сейчас это лычком навернет, сидит под кустиком, туру, туру. Сс! Ухитрит же его! И то сказать, ведь скука. Ну, а как у вас... жить-то как?

— Что ж жить? Ничего. Как-никак, а жить надо.

— Это что говорить. Все божья воля.

— Да. Хорошо тебе говорить — божья воля, вверх воронкой-то лежишь,— сказал прохожий.

— Что ж, я и всячески скажу. Против бога, брат, ничего не сделаешь. Это ты оставь думать.

— Так-то оно так,— сказал прохожий.

— То-то вот и есть.

Вошла хозяйка.

— Матвевна,— сказал солдат,— что бы тебе догадаться солдату бражки поднести. Ах, недогадлива баба-то у нас!

— Тоже бражки. Ох, ты, вор — красны глаза. Уж выпросит. Акулина, нацеди ему! Что с ним делать? А тебе чего? — спросила она у прохожего.

— А я гляжу, где тут солоница-то у вас? Хлебушка тоже пожевать захотел.

— Вон она, в столе. Да постокась, я тебе, так и быть, уж щец волью. Может, богу за нас помолишься. Человек ты, я вижу, битый.

— Ох, кормилица, дай тебе господи доброго здоровья,— обрадовавшись, сказал мужик и начал распоясываться.— Еще какой битый-то, я тебе скажу.

— О?

— Да ей-богу.

Работница принесла ковшик браги, а хозяйка налила щей и поставила на стол. Прохожий сел. Солдат у стола, глядя в огонь, курил трубку. Хозяйка тоже подсела к столу

— Ну, куда ж ты ходил, расскажи-ка ты мне,— спросила она у мужика.

— Да в город, матушка, ходил; бумагу выправлял.

— Какую бумагу?

— А бог ее знает. Вот она, бумага-то.

Он вынул из кармана бумагу и спросил солдата:

— Ты, кавалер, грамоте знаешь?

— Малость тоже маракую,— ответил солдат, держа трубку в зубах.

— Прочитай-ка, прочитай-ка, я послушаю,— говорила хозяйка.— А то, нет; постой, постой! Ты водку пьешь? — спросила она у прохожего.

— Как, родимая, не пить. Тоже и мы люди.

— Ну так погоди же, я тебе рюмочку поднесу. Что с тобой делать? Сиди!

Прохожий выпил, сказал: «Благодарим покорно» — и принялся за щи.

Солдат взял бумагу, подержал ее на аршин от глаз, потом посмотрел на огонь, обернул бумагу к свету и начал читать сначала про себя, а потом уж громко:

«Из метрических книг Благовещенской церкви села... Благовещенского видно... видно, что эк-оно... да, эко-но́ми...» Что за шут? Да... «эконо-ми-ческий крестьянин сельца Большая Елань, Анкидин Тимофеев...»

Мужик глядел сбоку в бумагу и вздыхал.

— Анкидин Тимофеев не состоит... Это кто ж такой

не состоит? Ты, что ли? — вдруг спросил солдат у прохожего.

— Нет; меня Киндеем звать.

— Ну, так и есть. Анкидин и Киндей — все это одно. Ну-ка, что там еще? «Не состоит в кровном, или духовном родстве, или свойстве с крестьянкою того же сельца Марфою Игнатьевою. На основании...»

— А это что ж такое? — спросил мужик, указывая пальцем на то место в бумаге, где было изображено родословное древо.

— А это, братец ты мой... это... ха-ха-ха! Вот оказия-то! «Егор Иванов родил». Это чудесно! Ноне, брат, мужики рожать зачали. Слышь, Матвевна? Кто ж это Егор Иванов?

— Постой, постой! Это мово дедушку Егор Иванычем звали. Ах, разбойники! На что ж это они его-то потревожили?

— А уж не знаю. Дай срок, почитаем еще; может, дело-то и окажется. «Егор Иванов родил Тимофея Егорова».

— Это батюшку мово, значит, покойника,— со вздохом сказал прохожий.— Ну, собаки! Еще-то что?

— Еще: «Тимофей Егоров родил Анкидина Тимофеева».

— Ну, так. Меня родил. Вот грабители! И меня тут же приписали. Это за мои-то деньги. Ну, грабители! А что, мне за это ничего не будет?

— Ничего. Это так только, форма, значит.

— Да, да. Это чтобы я не убег, значит, опасаются. Ну, так. И какие же, я тебе скажу, собаки! Как липку обобрали! Так и рвут, так и рвут. Шесть целковых, как одна копеечка, эта бумага-то мне стала. И не попахло. А за что?

— А за то, что не ходи пузата,— наставительно сказал солдат и сплюнул в сторону.

— Вот они, три семитки на дорогу остались; а ведь мне, друг ты мой, еще сто двадцать верст до двора. Так-то,— прибавил мужик.— Ну, теперь, значит, я пошел побираться.

Хозяйка покачала головой, а прохожий опять принялся за щи.

— Как же это ты на старости лет задумал жениться? — спросила его хозяйка.

— Что ж ты станешь делать? Сам знаю, года мои не молоденькие, а никак нельзя.

— Ты вдовый, что ли?

— Вдовый, матушка, вдовый. Одних ребят у меня восемь душ, сам девятый.

— Так это ты для робя́т?

— Сказывают так, что для робят, а по мне хошь бы и не жениться; потому как я домом никогда не живал мастерства никакого, окромя лаптей, не знаю; да вот на той неделе призывает меня помощник. «Беспременно тебя, говорит, надо женить и водворить». Я было просить его зачал: нельзя ли, мол, ваше благородие, как-никак ослобонить? «Ну, нет; я говорит, не могу; как мир». Кликнули на сходку. Сейчас говорит мне старшина: «Дается, говорит, Киндюшка, тебе земля, колько-то там земли; ну и жениться тебе, говорит, надо: потому, говорит, что тебе так болтаться?» Я и у стариков-то отпрашиваться стал; нету, загалдили, загалдили — женить! Ну, делать нечего. С миром-то нешто сговоришь?

— Так, так,— подтвердила хозяйка.— Постокось, я тебе кашицы положу в чашечку.

— Спасибо, родная. А мне что земля? Я к ней и приступиться-то не знаю как. Опять земля у нас какая? вот это сейчас камень, а это — болото. Земля! В этой земле только лягушкам водиться, да вот еще цапли. Цаплев у нас много. Она воду любит.

— Это кто воду любит? — спросил кто-то с полатей.

— Да цапля.

— О!

— А намедни на сходке старшина тоже — водворить, говорит. Я ему жалиться стал: «Как же так, говорю, Прохор Степаныч, водворить? За что ж так», говорю. А он, братец ты мой, поглядел, поглядел на меня, да и говорит: «Поди, говорит, ты...» В желтые ворота меня и послал. Известно, ему что? А все это из того вышло, что, признаться глазами-то уж очённо я плох стал. Вот теперь гляжу на тебя, так быдто что застилает. Меня бы по-настоящему, по-божьюто, в старики бы; ну, нет, говорят, какой ты старик? А за скотиной ходить не годишься, не углядишь. И точно, был грех, врать не хочу — не углядел, точно. Ну и наказали. И раз наказали, и два наказали, и три наказали. Что ж, я ничего. А главная вещь, очень уж эти штрафы одолели. Сейчас чуть что — штраф! А ведь другой этому и рад. Да мне хошь бы привелось теперь. Зашла корова на гумно; я ее сейчас раз, и загнал к себе на двор. Потому это уж мое счастие. Неужели я от свово счастия буду отказываться? Потрава. Ну, и, значит, больше ничего, что подавай деньги. У нас так-то один мужичок в одно лето денег много зашиб. Двор теперь у него край самой дороги; вот он и караулит,

с хлебцем на гумне сидит; за плетнем притаится, так быдто там что-то копается. Так чуть пастух оплошал, он это хлебцато высунет, а сам полегонечку эдак: бяшка! бяшка! Главная причина, из того старается, чтобы ему то есть хошь одну-то овечку подманить. Как одну залучил,— сс! пошла битка в кон. Тут их ничем и не удержишь. Как есть все до одной на гумне будут. Известно, овца глупа — куда одна, туда и все. Ну, а тут сейчас выскочит: батюшки! грабят! караул! ворота на запор, и судись с ним.

— Ах, черт те возьми совсем! — сказал солдат.— Это штука ловкая. Слышь, Матвевна? Да никак и мне приняться? Торговлю побоку, хлебца кусочек, сиди да поманивай. Хм. Коммерция!

— Да это еще что?— продолжал прохожий.— У нас теперь один барин есть. Совсем и хозяйством бросил заниматься. Я, говорит, и так проживу — штрафа́ми. Сейчас подошла корова к его пруду напиться — штраф! карасей, говорит, у меня в пруду распужала. Почему что карась оченно робок, коров боится и со страху колеет. Мужик проехал мимо саду, зацепил за плетень — штраф! — фруктовые дерева́ повредил. Ну, и ничего. Только уж очень он жаден стал на эти самые на штрафы: ничего даже и бояться не стал. Вот гнал гуртовщик скотину по его земле. Бурмист к ему тотчас бежит — гонют, говорит, овец; потрава беспременно будет. А ему только того и нужно. Сейчас сел верхом и скачет сам. Пастухи это его как завидели, сробели, скотину распустили... а он как налетел, сразу полгурта отхватил. Овцы шарахнулись да в хлеб, а он за ними, овцы в сторону, он за ними, загонять. Гонял, гонял их, до тех пор гонял, что двадцать штук до смерти загонял — на другой день околели; да лошадью сколько затоптал.

— Ну, это значит, жаден уж очень,— заметил солдат.

— А я про что ж? Не пожадничай, жил бы да жил, любезное дело; а теперь вот и судись. Своих еще приплотит.

— Приплотит,— заметили мужики,— уж это как есть.

— Ну, за хлеб за соль,— сказал прохожий, вылезая из-за стола.

— На здоровье,— ответила хозяйка.—Акулина, сбирай!

— Да, вот про суд-то вы говорите,— начал опять прохожий, обращаясь к мужикам, лежавшим на полатях.

— Н-да,— отозвались мужики.

— Ну, так вот со мной грех такой-то вышел: тягали меня довольно, и тоже приплатил и я.

— За что ж так?

— Да вот какое дело. Летошний год тоже не плошь этого гуртовщика гнал я скотину и тоже по барской земле; ну и недоглядел. Тропиночка эта узенькая, и сейчас тут поворот. Скотина эта сгрудилась, заметалась, ни туда ни сюда. Мальчонка у меня, жид его дери, непутный такой; я ему кричу: Трушка, дуй те горой,— верни! А тут это, на грех, земский навстречу с ружьем. Собачонка эта у него Центра, разбежалась да как бросится прямо в стадо. Одна корова хвост подняла, фю! я гляжу, уж она вон де: так и чешет по овсам; другая поглядела, поглядела, да за ней. Я — «Куда! куда!» — ну, брат, шабаш! Сейчас сторож выскочил, коров загнали, а меня судить. Судили, судили и присудили, братцы мои, чтобы то есть разойтись полюбовно: мир там колько-то денег приплатил, а пастуха наказать, чтобы вперед глядел. Вот сейчас повестили: явиться пастуху в расправу. Пошел я. Шел, шел, а волость-то верст пятьдесят от нашей деревни. Иду я дорогой и думаю: «Эх, мол, насидятся у меня робятенки без хлеба. Поскорей бы мне дойти». Все это у меня в уме, да все про скотину думается; не управится без меня мальчонка, ни за что не управится. Где ему? — глуп. Пришел. Сейчас к писарю: так и так, вот, говорю, я пришел. Писарь, ладно, говорит, подожди. Ну, переночевал ночь; наутре чуть зорька занялась, я вскочил; ну, думаю, только бы меня, дай господи, поскорей отжучили, сейчас бы я марш — домой. Ждал, ждал, целый день на крылечке просидел, все ждал; не пущают — и шабаш. Чуть увижу: мужики из-за угла выходят — ну, думаю, слава тебе господи, сейчас меня драть. Гляжу, нет, мимо прошли. Старшина с писарем стоят, шепчутся; ну, вот, думаю, это про меня. Вот сейчас гашник расстегнул... глядь, в кабак пошли. Ах ты боже мой! Что ты станешь делать? Измучили. И еще день прошел. Я не пью, не ем, жду не дождусь: скоро ли, мол, это меня отпустят. Пойду, пойду к писарю: батюшка, отец родной, вели ты меня наказать! — Подожди, говорит. Вот те и сказ. А меня пуще всего скотина-то сокрушила. Где Трушке управиться одному! Да и сидел бы я, сидел теперь, думаю себе, лапотишки ковырял. А тут скука-то меня очень уж одолела. Ведь как думаешь, братец мой, трои сутки живу, не пущают. На четвертый день сижу у ворот, идет знакомый мужик: что ты, говорит? так и так, говорю, вот какое горе. «Э, дурак, говорит, целковый денег есть?» — «Есть, говорю, есть».— «Поди дай, сейчас отпустят». Ведь и точно, братец мой, сейчас же, слова не сказал, разложили и отодрали. «Давно бы ты так», говорит.

— Так вот они, деньги-то, что значит,— начал было опять прохожий; но в это время кто-то постучался в калитку.

— Акулина,— сказала хозяйка,— проснись! поди пусти, кто там это?

Работница нехотя встала с лавки, почавкала губами, почесала у себя за пазухой и ворча пошла отпирать. Немного погодя она вернулась одна.

— Кто ж это там? — спросила хозяйка.

— А бог его знает; стучит, а не откликается. Я испужалась да бежать.

— Господи Иисусе Христе! Кого это там еще носит экую пору? Робятушки, сходите-ка, посмотрите! Я боюсь до смерти. Кто его знает.

Мужики па полатях прижались и ничего не ответили.

— Что ж вы — спите, что ли? А ты что сидишь, воин?

— Ступай сама, что ты меня посылаешь? — ответил солдат.

— Постой, я схожу, я не боюсь, меня не съест,— сказал прохожий и пошел отворять, но сейчас же вернулся. Вслед за ним вошел длинный, худощавый мещанин в старой драной чуйке, помолился богу и поклонился хозяйке.

— Что ж ты, черт, не откликаешься? — сердито спросила его хозяйка.— Испужал до смерти.

— Я, признаться, пошутил,— робко улыбаясь, сказал мещанин, запахнулся и тихо сел на лавку.

Все молчали. Хозяйка насупилась и начала грызть ногти. Прохожий что-то порылся в мешке и стал укладываться спать. Мещанин сидел молча, поджав ноги под лавку, и потягивал носом.

— Ишь ты, шляются! — наконец сказала хозяйка.— Зачем тебя ночью притащило? Что тебе дома не сидится?

— А как нонче, значит, дело праздничное,— запинаясь заговорил мещанин, глядя на полати и отряхая картуз,— ну, и... думается так, что пойти, мол, к Агафье Матвевне понаведаться,— сказал мещанин и кашлянул.

— Очень нужно,— ответила хозяйка.

Опять замолчали.

Мещанин стал перебирать пальцами свою жидкую бороденку и все старался украдкою от хозяйки заглянуть на печку, потом замычал что-то и опять кашлянул. Хозяйка вдруг на это озлилась:

— Ты у меня сидеть, так сиди смирно! Что ты кашляешь, настоящая как овца.

— Да, признаться, простудился...— начал было мещанин.

— Я тебе такую простуду задам, ты у меня смотри, бесстыжие твои глаза.

В это время на печи завозился хозяин. Мещанин вздохнул и стал потихоньку барабанить пальцами по лавке.

— Андел хранитель, заступница царица небесная...— шептал прохожий, укладываясь спать.

Солдат плюнул и стал выколачивать трубку о каблук сапога.

— А я, а я, а я тебя, а я тебя не боюсь...— бормотал спросонья на печи хозяин.

Мещанин икнул.

— Поди вон! поди, тебе говорят! — сказала мещанину хозяйка.

— Помилуйте! Агафья Матвевна!

— Уйди! И слушать я тебя не хочу.

Но тут хозяин уже слезал с печи и кричал:

— Агашка! Цыц! Сволочь! Де моя шапка?

Хозяйка молчала.

— Де моя шапка? Скажешь ты или нет? а?

— Ступай спать!

— Нет, я тебя спрашиваю, де моя шапка? Слышала?

Хозяин стоял босиком среди избы и водил глазами, отыскивая шапку. Мещанин, стоял у двери, чистил свой картуз.

— Ты чего дожидаешься? — спросила его хозяйка.— Тебе хочется, чтобы я тебя проводила? Так постой, голубчик!

— Агашка, черт, подай шапку! — кричал хозяин.

— А, да что с вами толковать!

Хозяйка схватила мещанина за чуйку и потащила его из избы. Мещанин стал упираться. Она кликнула работницу, и вдвоем вытолкали его за дверь и заперли дверь на крючок.

— Полуношники! оглашенные! — запыхавшись, говорила хозяйка.

Хозяин постоял немного, потом сел на опрокинутую кадку.

— Как баба-то набаловалась? а? — сказал он, глядя в землю и покачивая головой.— Ай-ай-ай!.. Постой! дай срок! Я с тобой справлюсь!

— Справишься. Как же.

— Молчи! То-то я гляжу, что такое: совсем баба бояться перестала.

— Ступай спать-то уж, что ли!

— Нет, я тебя выучу, как хозяину отвечать. Ты у меня эти слова забудешь, сейчас издохнуть.

— Ну, да ладно.

— Нет, забудешь. Ты, я вижу, давно не учёна, так я тебя выучу.

— Что ты бунтуешь? кабардинец, непокорное ты племя,— сказал солдат.

— Чего, братец мой, совсем баба избаловалась. Хочу опять в руки взять.

— Пора, пора,— смеясь, подтвердил солдат.

— То-то я, дурак, волю дал. Ай, ай, ай! Нет, их, баб, баловать не нужно. Ты не видал ли, брат, моей шапки?

— Нет, брат, не видал.

— Куда только я ее дел? Ах, шкура, право, шкура; сволочь несчастная. Дверь отопри!

— Не отопру. Ложись спать!

— Пусти меня на двор!

— Не пущу.

— На двор! понимаешь ты? на двор. Нешто я без шапки уйду босиком? Вот дура-то! думает, я уйду босиком. Ах, мало я тебя учу, мало, мало... Не отопрешь?

— Не отопру.

Хозяин подумал и сказал:

— Ну так подавай мне горшок с кашей!

— Ничего я тебе не дам: и шапки не дам, и горшка не дам, и на двор не пущу. Сиди!

— Ну, хорошо.

Хозяин замолчал и потупился. Хозяйка поглядела на него и пошла в каморку постилать постель. В то же время вдруг поднялось окно, и из темноты показалось лицо мещанина. Он высунул свою бороду и сказал потихоньку:

— Я здесь!..

Хозяин очнулся, схватил чей-то кафтан, сдернул с гвоздя шапку прохожего, отпер дверь и что есть мочи босиком пустился бежать.

— Ах, убег! лови, лови его! — выскочив из каморки, кричала хозяйка.

— Лови в поле ветер,— вставая, сказал солдат.— Давай-ка лучше спать ложиться. Дело-то складней будет.



ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

Повесть





I

Время стояло летнее, самое раннее лето. Ехал проселком вольный ямщик, вез в телеге, на тройке, проезжающего.

Шла дорога полем, шла лугами да оврагами, и пришла дорога к лесу. Стали в лес въезжать. Дело было к вечеру.

— Далекó, что ли? – спросил проезжающий.

— Недалёко.

— А как?

— Да вовсе близко. Вот из лесу выедем, тут она и есть.

Ямщик остановил лошадей, слез, походил вокруг телеги, подтянул чересседельник, дугу покачнул, опять сел и, вытаскивая из-под себя вожжи, крикнул лошадям:

— Но! Недалёко!

Телега запрыгала по корням; в воздухе вдруг почудилась сырая, пахучая свежесть. Проезжающий снял картуз, вытер лицо платком и начал пристальнее всматриваться вперед.

Сквозь жидкий дубняк и орешник беспрестанно то там, то сям проскакивали лучи покрасневшего солнца, по верхушкам птицы порхали. Лес заредел, стал все мельче да мельче, солнце разом выглянуло над кустарником, лошади круто повернули вправо, и вдруг телега очутилась на самом краю страшного обрыва, по которому вилась змеей дорога, вся изрытая, избитая и усыпанная мелкими камнями. Лошади стали...

С этого места видно верст на двадцать. Внизу, под самым обрывом — река, вся усеянная островами. Течет эта река из зеленых лугов, густо заросших мелким курчавым кустарником; извивается и прячется она в камышах, и опять сверкает вдали, и наконец совсем пропадает за далекими синими озерами. На другом берегу реки расстилаются се-

нокосы, хлебные поля и деревни. Ближе, поправее, село, вытянутое к церкви, с обеих сторон обсаженное садами, огородами, гумнами и старыми, почерневшими скирдами. Направо, в саду, на пригорке помещичий дом. В самом низу под горою шумит водяная мельница.

— Экое место! — вслух сказал проезжающий.

— Место потное,— от себя заметил ямщик.— Годом бывает, сена́ родятся богатые,— прибавил он немного погодя и стал спускать, приговаривая лошадям:

— Гляди небось!

Проезжающий осматривал местность; лошади скользили и оступались; ямщик, не оборачиваясь, спросил:

— Сродственники будете Лександру Васильичу-то?

— Нет.

— Так, значится, в гости побывать?

— Да, в гости.

— Доброе дело. Служите де, ай нет?

— Нет, не служу.

Ямщик оглянулся.

— Кто ж вы будете сами-то?

— Попов сын.

— Мм. Да, да, да.

Ямщик помолчал, потом сказал в раздумье:

— А и много тоже ноне вашего брата, кутейников-то.

— Довольно.

— Довольно, довольно,— покачивая головою, говорил ямщик.— Ну, и что же теперя, братец ты мой, в писаря, что ли, задумал к яму́ проситься?

— Нет, так, по своему делу.

— Да; по свому делу... Но! дьяволы! Пропасти на вас нет! Ту, ту, ту!

Лошади поскакали, телега покачнулась на бок, потом на другой и, прыгая через кочки, понеслась по дороге к селу.

Прежде всего кинулась в глаза проезжающему новая, крытая тесом изба, с крылечком, одиноко стоящая на лужайке; над входом голубая вывеска, и белыми буквами написано: «Волостное правление». Тут же, рядом с правлением, под навесом, виднелись пожарные инструменты: трубы, бочки, багры и проч. На селе куры бродили по улице, поросенок с визгом выскочил из-под колес, мужик торопливо снял шапку и тряхнул волосами...

— Эх вы, несчастные! — крикнул ямщик на лошадей; телега загремела по мосту, потом запылила по двору и остановилась у флигеля.

На крыльце стоял человек небольшого роста, в пальто, и, засунув руки в карманы, пристально смотрел на приезжего.

— Александр Васильич дома? — спросил его приезжий.

— Нету; их дома нету,— отвечал человек.— А вы от станового? — спросил он, подходя к телеге и подставляя ухо.

— Нет, не от станового; я сам от себя. Скоро вернется Александр Васильич?

— Они недалеко уехали с барыней, за двенадцать верст, к господину Ушакову. К вечеру хотели быть обратно. А вы кто такой?

— Я-то? Да я товарищ его. Он знает, он меня ждал.

— А! Так, так. Знаю-с. Пожалуйте! Я сейчас велю ваши вещи... Господин Рязанов?

— Да.

— Ну, так. Ждали... Как же...

— А где бы мне тут пристроиться пока?

— А вот тут во флигеле комнату приготовили, только теперь там, я вам скажу, такая идет чепуха: бабы это возятся... разные эти тряпки... черт их возьми!.. нет, нельзя...

Приезжий задумался:

— Как же быть?

— Да вы вот что-с: вы пожалуйте пока в кабинет. Что ж такое? Ничего. Пожалуйте! А я вот... эй! кто там? Приказчик! Кликни кого-нибудь!

— Нет, Иван Степаныч, нечего и кричать,— говорил, подходя, приказчик, в долгополом армяке, спокойно и медленно шагая по двору своими большими сапогами.— Нету никого,— шабаш. Все на село ушли,— прибавил он, махнув рукой, и, подойдя к телеге, стал глядеть на лошадей.

— Онучински? — спросил он у ямщика.

— Онучински,— не глядя ответил ямщик.

— Ах, людишки проклятые эти! — горячился между тем Иван Степаныч.— Как господа со двора, так их собаками никого не сыщешь.

— Да вы не хлопочите, пожалуйста,— говорил приезжий.— Я и сам внесу.

— Ах, нет. Как это можно! Приказчик! Ну-ка, брат, возьми чемодан, а я вот саквояж да подушку. Пожалуйте!

Приказчик поставил свою шляпу на крыльцо, взял чемодан и понес.

Дом был старинный, одноэтажный, с бельведером, но переделанный и перестроенный заново. Разные несообразности и неудобства, свойственные старым деревенским

домам, были по возможности устранены с помощию кое-каких пристроек и сокращений, которые хотя и достигали своей цели, но зато лишали строение типичности и совершенно, по-видимому, исказили его прежнюю физиономию. Это было какое-то длинное, неправильное, выбеленное здание, с обоих концов снабженное фантастическими пристройками и террасами. В одном месте окно заколочено, в другом пробито новое. С первого же взгляда заметно было, что новый строитель имел в виду одну цель — удобство, о симметрии же и вообще о внешности заботился мало.

В передней, да, впрочем, и во всем доме, никого не было; только заходящее солнце, ударяя прямо в широкие окна зала, насквозь пронизывало багровою полосою целый ряд опустелых комнат. Внутри дома еще больше, нежели снаружи, заметны были свежие следы недавней реформы: новые двери, новые обои и перегородки, сделанные, как видно, во имя уютности; кое-где новая мебель, наконец, лампы нового устройства и едкий запах керосина. Но, несмотря на это, несмотря на всю несомненность произведенных улучшений, на всем, решительно на всем лежал еще другой, ничем неизгладимый отпечаток: низкие потолки, широкие изразцовые печи, да и самые размеры и расположения комнат — ясно доказывали, что дома такого рода сжечь можно, но пересоздать нельзя.

Гость тихо прошел по всему дому, молча останавливаясь в разных комнатах, и вернулся опять в переднюю; там в простенке висело большое дубовое зеркало, по бокам его стояли новые дубовые стулья с высокими спинками, дубовая вешалка в углу; но у стены так и остался широкий, неуклюжий, только заново выкрашенный коник.

— Куда же идти? — спросил гость у своего провожатого.

— А вот сюда, в кабинет. Пожалуйте! Да чаю не угодно ли? Умыться? — сейчас.

Гость остался один; он сел на диван и повел глазами вокруг: шкафы с книгами, камин, бумаги, газеты на столе; в окнах сетки, под окнами сад, за садом солнце садится... В столовой заскрипели сапоги.

— Что ж, сударь, на чаек-то?

В дверях стоял ямщик и чесал в затылке. В то же время вошел Иван Степаныч с рукомойником.

— Ах, подлый народишка, черт их возьми! Воды нет. Ямщика за водой посылал. Ну, народ!

— Что вы хлопочете? Успеется еще.

— Да нет, помилуйте, это... ведь это ни на что не похоже! Так набалованы, из рук вон. Извольте умываться!

Пока гость умывался, Иван Степаныч все говорил:

— Мыло-с? — Вот!.. Ненадолго... Они долго там никогда не бывают. Неподходящий человек... грубость эта, знаете... Помещик, одним словом, помещик... «Эй! Ванька, трубку!..» Вот-с! хозяин... да, хозяин... Машины эти все презирает... Марья Николавна не любют к нему ездить.

— Это кто Марья Николавна?

— А супруга Александра Васильича.

— Да, я и забыл, как ее зовут.

— Как же-с, да. Чудесная дама, воспитанная. Здесь таких нет. Я говорю, охота жить здесь, ей-богу! Провинция такая тут, не дай бог! Шут ее возьми!

— А вы зачем же здесь живете?

— Я что же? Мое дело такое. Рад бы не жил.

— Что ж вы тут делаете?

— Я письмоводителем при Александре Васильиче состою. На бороде-то мыло осталось. Пониже! Пониже! Письмоводителем... Да что — письмоводитель!.. Черт ли тут?.. Помилуйте!.. Дела... Какие дела?.. Теленок в огород зашел, на грош потравы, на четвертак навозу одного накладет. Дело!.. Посредник... судить. Самоуправление, говорит... Вон в газетах пишут: здравый смысл народа... Дьяволы! Право... Школы там... Пес их возьми... Вот полотенце. Я говорю Александру Василичу... Чаю угодно?

— Нет, не хочется. Я подожду их.

— Ну, подождите! Я говорю Александру Василичу: палкой их!

— Что ж Александр Васильич?

— Что Александр Васильич? У него обыкновенно один разговор — из газет гуманность. Ах, господи! Вот история! Свобода, говорит. Нет, вон она, свобода-то! Намедни пришли к нему государственные крестьяне проситься, что нельзя ли, мол, нам под вас записаться в крепостные, так и так, говорят, оченно наслышаны,— жить у вас хорошо. А? — Свобода!.. здравый смысл!.. Нет, их, анафем, за этот здравый смысл мало еще тово... мало пробирали... Нет, мало. Другой бы, знаете, как разжег, гуманность-то эту показал бы им.

В это время в соседней комнате, переступая с ноги на ногу, явился приказчик. Он издали заглядывал в дверь и подкашливал.

— Кажется, к вам,— сказал гость.

— Ах, да; приказчик. Сейчас. Нет, я вам скажу, это беда. Вот записывать надо идти. А вам не угодно ли пока позаняться? Вот тут газеты: «Московские ведомости», «Северная почта»... По-французски умеете? «Ленор», «Ледеба». Извольте читать! Погоди, приказчик! Сейчас. Журналы желаете?

— Хорошо. Я посмотрю,— говорил гость, садясь за письменный стол.

— Читайте! читайте! — кричал, уходя, письмоводитель.

Гость, оставшись один, зевнул и начал перебирать газеты; но все это были старые номера, журналы тоже; да и ворочал-то он нехотя, лениво. На столе тут же попалось ему несколько русских и французских брошюр, вперемежку с пакетами мирового съезда и безобразными тетрадками «Agronomische Zeitung»[1], разные счеты, ведомости, хозяйственные соображения, кое-как набросанные карандашом. Впрочем, по мушиным следам и по загорелому виду листов заметно было, что бумаги писаны давно и разбросаны по небрежности. На стене, рядом с письменным столом, висели на крючках постановления, циркуляры, штрафные таксы за потраву и проч. в этом роде. На стульях лежали раскрытые коробки с бумагами, на диване валялась свежая неразрезанная книжка «Journal d'agriculture pratique»[2] и собачий ошейник. Гость потянулся в кресле и зацепил ногою под столом целый ворох «Русских ведомостей». Нераспечатанные пачки разъехались по полу. Швырнув их ногою опять под стол, он встал и прошелся по комнате. Между тем становилось все темнее, так что уже с трудом можно было рассмотреть несколько фотографических портретов, висевших над диваном: лица всё были известные. Гость сделал гримасу и, отвернувшись, неожиданно увидал в зеркале самого себя... он вздрогнул — и начал всматриваться: на черном стекле тускло выступала тощая фигура с исхудалым лицом и неподвижным взглядом. Гость лег на диван и закрыл глаза.

Прошло четверть часа. Вдруг в доме поднялась суета. Кто-то пробежал со свечою в переднюю, собаки залаяли, к крыльцу подъехал шарабан в одну лошадь; в шарабане сидели двое: мужчина и дама. На крыльце слышались голоса:

— Кто?

---

[1] «Агрономическая газета» *(нем.)*.

[2] «Журнал практического сельского хозяйства» *(фр.)*.

— Не могу знать.

— Что ж ты не спросил?

Вслед за этим в кабинет вошел молодой белокурый мужчина и в недоумении остановился.

— Не узнал,— подходя к нему и протягивая руку, сказал гость.

— Ах, это ты, Рязанов! Я уж думал, ты и не приедешь. Ну, что? Ну, как ты? Дайте сюда огня! Худ-то как, худ! Садись, что ли, я на тебя погляжу. Чай давай пить!

— Давай.

— Самовар скорее! — крикнул хозяин; потом обнял гостя и посадил его на диван.— Да ты рассказывай, как ты там в Питере? Что у вас там делается?

— Всё слава богу. Кланяться велели.

— Ну что ты врешь! Кто мне кланяется? У меня там ни одной собаки знакомой нет.

— Так чего ж тебе нужно?

— Ты мне вот что скажи: отчего ты не писал? В три года хоть бы слово! И не стыдно это тебе? а? — говорил хозяин, усаживаясь рядом с гостем на диван, и еще раз спросил:

— И не стыдно?

— Нет, брат, не стыдно. Да что толку писать? Нынче эту манеру бросают совсем.

— Эх, ты! А еще сочинитель называешься,— смеясь, говорил хозяин.

— Так что ж, что сочинитель? Что ж мне — для тебя письма, что ли, сочинять?

— Зачем сочинять? Писал бы о том, что есть.

— Странный человек! А если нет ничего?

— Рассказывай, брат! Разве я не знаю, что́ у вас там делается.

— Ну, а коли знаешь, так чего ж тебе еще? Тоже ведь небось газеты читаешь?

— Это все не то.

— Нет, именно то, что тебе следует знать, а больше ничего знать тебе не следует.

— Все ты не дело говоришь,— смеясь и вставая, сказал хозяин.— Да и я-то черт знает что спрашиваю. Человек с дороги, а я о литературе. Что же чаю? Постой, вот я свечи зажгу. Нет, это я очень рад, вот почему,— говорил он, шаркая спичкою.— Поэтому я и путаюсь. Ты меня извини, пожалуйста!

— Ничего,— отвечал гость, ворочаясь на диване.— Это даже хорошо, что ты путаешься.

Свечи разгорелись понемногу, осветились зеленые стены с темными портретами и две фигуры приятелей: один — сухощавый, черный, с длинными жидкими волосами и клиновидной бородою (Рязанов),— болезненно согнувшись, лежал на диване и серьезно всматривался в другого — белокурого, свежего молодого человека (Щетинина), вдруг неожиданно задумавшегося и неподвижно остановившегося с догоревшею спичкою в руке.

— Что задумался? — наконец спросил гость.

— Кто? я? Нет, ничего. Это так,— ответил Щетинин, вздохнул и прошелся по комнате; потом круто повернул к Рязанову и, засунув руки в карманы своего пиджака, сказал:

— Ведь это, знаешь, что? Живешь здесь один, людей не видишь, ну и забудешься как-то; а вдруг вот услышишь такое слово, одно какое-нибудь слово, ну и пошло, и начнут подыматься старые дрожжи.

Гость молчал. Щетинин раза три прошелся из угла в угол, опять остановился перед гостем и торопливо заговорил:

— Нет, ведь я тебе рад, очень рад! — Он протянул гостю руку, крепко пожал ее и подсел к нему с ногами на диван.— Ну, теперь рассказывай! Говори,— что и как там у вас. Худто ты как, э! брат.

— Что ж делать,— равнодушно ответил гость.

— Вот что ты мне скажи,— подвигаясь ближе, вполголоса спросил Щетинин:— признайся, зачем ты сюда приехал?

— Как зачем? Ведь ты знал же, что я воздухом хочу лечиться. Сам же звал меня.

— Звал-то **я** звал, да я думал, что у тебя еще какая-нибудь цель есть, кроме воздуха.

— Нет; никакой у меня цели больше нет. Вот с тобой кстати повидаться.

Щетинин пристально смотрел гостю в глаза.

— Правду ты говоришь?

— Гм! Что ж ты меня спрашиваешь, правду ли я говорю? Если я не хочу тебе сказать, так не скажу, как ты меня ни спрашивай, как ни вытаращивай на меня своих проницательных взоров.

— Я думал, что ты скажешь.

— Напрасно думал... А если тебе очень уж так захотелось узнать, зачем я приехал, так ты сам старайся выведать, выпытывай поискуснее: заводи разговоры о таких

предметах и замечай или пьяным меня напой. Мало ли средств... Может, и узнаешь.

— Ну, понес опять! Ты, я вижу, все такой же.

— Все такой же, брат.

— И не надоело это тебе?

— Что ж делать-то? Может, и надоело, да делать-то нечего, не переделаешься.

— А вот я так переделался.

— Ты?

— Да. Что ж, это тебя удивляет?

— Нет, не удивляет. А жена твоя где?

— Ей что-то нездоровится. Она, должно быть, уж легла. Ах, да! вот ведь я забыл совсем, что тебе нужно приготовить ночлег. Там во флигеле есть комната, да нужно ее прибрать. Ты тут посиди пока!

— Посижу.

Щетинин ушел, гость встал с дивана и начал разминаться, прохаживаясь и покачиваясь из стороны в сторону.

В кабинете стало прохладнее; в открытые окна тихо плыл пропитанный весенним запахом березы вечерний воздух, весь наполненный комариным пением и далекими отголосками разных вечерних звуков.

Минут через пять вошел Щетинин.

— Здесь ничего, жить можно,— сказал гость, продолжая ходить.

— А я уж и не знаю, хорошо ли,— привык. Должно быть, в самом деле хорошо.

— Хорошо. А дети есть у тебя?

— Что это ты вздумал? Нет, брат, у меня детей; да и слава богу, что нету пока. Прежде нужно им приготовить кое-что, нужно гнездо свить.

— Какого же тебе еще гнезда? — спросил гость, показывая рукою вокруг себя.— Или ты, может быть, намереваешься для каждого по курятнику выстроить?

— Нет; а вообще я такого мнения на этот счет, что обязанность родителей приготовить для детей кое-какие средства; ну, воспитание там... Нужно же подумать обо всем заранее.

— Да,— как бы соображая, говорил гость, продолжая ходить.— Да; это похвально. Ну, и что же,— спросил он,— успешно идет заготовка?

— Ничего. Понемножку. Нельзя же вдруг.

— Нельзя. Конечно. А как же теперь эти...— спросил

гость, останавливаясь перед Щетининым и показывая пальцем,— эти запасы по отдельным ящичкам разложены: это для Машеньки, а это для Николеньки, или так все вместе?

— Да что ты в самом деле! — шутя закричал Щетинин.— Смеяться, что ли, надо мной приехал?

— Нет; это я вспомнил,— усаживаясь на диван и улыбаясь, продолжал гость,— мать у меня была женщина чадолюбивая и аккуратная, скопидомка была; так вот она, бывало, как только родится у ней дочь, сейчас же и начинает ей приданое копить, и для каждой дочери особый короб предназначался. Ну, и все это идет ничего. Только как, бывало, которая-нибудь из них заспорит, видит мать, что дело плохо, не переспоришь,— «постой же, говорит, сука, вот ты у меня без приданого насидишься!» Сейчас возьмет и все тряпье из короба непокорной дочери и переложит к покорным. Ну, и драки же бывали у сестер из-за этого! Неимоверные драки! Только один отец и помирит, бывало: возьмет да у всех трех приданое-то и пропьет.

После этого рассказа и гость и хозяин помолчали.

— А все-таки, брат, что ты там ни толкуй, а без этого нельзя,— наконец заговорил Щетинин.

— Без чего нельзя?

— Да без того, чтобы не копить.

— Ну, это кому как. Одному нельзя не копить, а другому нельзя не пропить. Это, брат, дело полюбовное.

— Да нет; постой! — перебил его Щетинин.— Совсем ты не то говоришь. Понимаю я, понимаю; да только вовсе я не такой человек, как ты думаешь.

— Какой же ты человек? Ну, рассказывай!

— А вот я какой человек... Я человек... Да нет, я не могу о себе говорить. Черт знает, я как-то не умею.

Щетинин опять заходил из угла в угол с озабоченным лицом и ерошил себе волосы; наконец остановился, оперся руками на стол и сказал:

— Вот что́ я делал с тех пор, как не видался с тобой, это я могу рассказать.

— Ну, все равно. Это даже лучше будет.

— Да впрочем, ведь я тебе писал сначала.

— Что ты писал? Ты черт знает что писал: воззвания какие-то; все меня призывал... исполнять долг честного гражданина... об алтаре там... Я это сейчас же в печку. Черт возьми, думаю себе, попадешься еще. Бог с ним!.. Опасный человек!

Щетинин хохотал, валяясь по дивану.

— Ах, чучело! Что он городит? Ну, да, хорошо, хорошо. Слушай же, я все сначала расскажу.

— И об алтаре опять будет?

— Нет, нет, не будет. Факты! одни голые факты!

— Ну, вот это я люблю. Начинай! Ах, нет, постой! Еще один вопрос: чай-то будет? Не в рассказе, а вот здесь, на столе? Я, брат, еще не пил сегодня. Ведь это тоже факт неоспоримый.

— Как же, будет; непременно будет.

— То-то же. Ну, теперь трогай!

— Да; так вот,— откашлявшись, начал Щетинин,— тогда мать у меня умерла. Ты помнишь ведь?

— Как же, как же. Почтенная была дама. Помню, как же.

— Ну, так вот после ее смерти я приехал сюда и женился. Женщина эта... да, впрочем, сам увидишь, какая это женщина. Я тебе одно только могу сказать, что, если бы не она, я, кажется, году бы не вынес той каторжной жизни, которую я вел здесь вначале, когда, знаешь, все это еще внове было, ни к чему приступиться не умеешь; а тут волнуется это все кругом, ничего слушать не хотят: ты им и то и другое,— ничего! Потом совсем было уж дело сладилось, уставную грамоту писать,— вдруг — нет! не хотим; подождем, что́ еще будет.

— Ну, да; это более или менее известная история,— заметил гость.— Как же ты с своими-то кончил?

— Как кончил? — подарил.

— Всё?

— Всю землю, которой они владели.

— Что и требовалось доказать?

— Нет; доказать-то требова́лось не это. Оно вышло-то совсем не то, чего я хотел.

— Что ж, ты не хотел дарить? Тебя принудили, что ли?

— Да нет же! Я ехал сюда с тем, чтобы отдать им все даром, и как приехал, сейчас же предложил им.

— Ну, и что же? — не берут?

— Не берут.

— Молодцы! Вот я за это люблю русский народ: по-латыни не знает, а dona ferentes боится.

— Вот поди ж ты!

— Чего тут — «поди ж ты?» Понятное дело, что если человек что-нибудь даром дает,— не бери, надует.

— Да ты выслушай, чего мне это стоило. Сколько я ночей не спал, неприятностей, врагов сколько нажил между соседями!

— Еще бы. Разумеется. Пример!

— Пример. Ну вот. Главное, они на это и взъелись.

— Само собой. Гибельный пример.

— Тут, брат, такие мерзости пошли. Один чуть было на дуэль меня не вызвал. Сплетни, крик по всему уезду...

— Ну, это напрасно. Нет, я бы с тобой лучше поступил. Я бы просто подбил твоих крестьян, чтобы они шепнули кому-нибудь.

— Было, любезный друг, все было.

— Ну вот; это последовательно по крайней мере. Далее что?

— Да что далее? Все кончилось благополучно. Мировой посредник тут... (отличный, брат, человек) вошел в мое положение, объяснил им это все, растолковал и свел меня, наконец, с крестьянами.

— А-а. Свел-таки?

— Да, свел. Нет, какова штука-то, заметь! Мужики только через три года взяли то, что я им предлагал. Теперь, спрашивается, сколько они потеряли во все это время!

— Да; должно быть, много. Ну, а воинские чины тут не убеждали их принять твой подарок?

— Нет; слава богу, обошлось без этого.

— Значит, одному посреднику поверили?

— И я тут тоже толковал, говорил им: ребята, говорю, вы своей выгоды не понимаете.

— Да, уж это худо, когда человек сам своей выгоды не понимает. Ну, таким манером, стало быть, ты свершил в пределе земном все земное?

— Какое! Нет, брат, это еще только начало.

— А еще-то что же?

— А тут-то вот и начинается настоящее дело.

— Уголовное?

— Социальное, любезный друг, социальное.

— Да-да. Вот оно что! — сказал гость и внимательно посмотрел на Щетинина.— Теперь понятно, почему они доносили на тебя; теперь только я начинаю понимать, что ты мне тогда писал в Петербург. Да. Ну, так как же социальная-то пропаганда?

— Все ты вздор городишь, ничего ты не понимаешь,— полушутя, полусерьезно ответил Щетинин.

— Да ведь ты сам сейчас сказал.

— Так что ж, что я сказал? Я знаю, что ты думаешь. Но неужели ты воображаешь, что я способен на такие школьные выходки?

— Ничего я не воображаю. Ты говоришь, а я слушаю

— Ну и слушай же толком. Я тебе серьезно говорю

— Говори!

— Ничего я противозаконного не затеваю, никаких я теорий не провожу, я делаю только то, что всякий из нас обязан делать.

Щетинин встал с дивана, провел рукой по волосам и сейчас же опять сел: он, по-видимому, затруднялся, с чего начать, и царапал клеенку на диване; Рязанов спокойно и внимательно глядел ему в лицо.

— Прежде всего,— заговорил, наконец, Щетинин,— ты должен согласиться с тем, что всякое общественное дело тогда только может быть прочно, когда оно основано на чисто народных началах.

— Да.

— Пока народ не подал своего голоса, пока он молчит и только слушает,— никакая пропаганда не поведет ни к чему.

— Ну, так что ж?

— А то, что, следовательно, мы должны все наши силы направить на то... да ты, может быть, спать хочешь?

— Да, брат, хочу.

— Так мы еще успеем переговорить обо всем. И я-то хорош! Человек устал... А что же чаю? Постой, я сейчас спрошу.

Щетинин позвонил. Прошло несколько минут, никто не являлся.

— Должно быть, спят уж,— сказал Рязанов.— Да и не нужно. Бог с ним, с чаем. Прощай!

— Ну, как же это! Я тебя провожу по крайней мере...

Щетинин заторопился, взял свечу и повел гостя во флигель.

Рязанов, оставшись один, разделся, отворил окно, потянул свежего воздуха, поглядел в темный сад, потонувший во мраке, и задумался. За стеной кто-то во сне старался выговорить:

— Ме-ме-мери — мериленд.

Рязанов погасил свечу и лег спать.

II

На другое утро гость проснулся рано, потому что рядом, за перегородкою, чуть свет началась возня: кто-то ходил по комнате, шуршал бумагою, шептал и сам с собою разговаривал. В отворенное окно вместе с утренним холодом вле-

тали веселые звуки птичьего говора, заглушая тревожный и ласковый шепот, проникавший из сада. Гость оделся и сел у окна.

— Господин Рязанов, вы не спите? — спросил за перегородкою знакомый голос.

— Не сплю.

Вошел письмоводитель.

— Мое почтение! Ну, как спали? Ничего? А я, черт ее возьми, всю ночь промучился. Я слышал, как вы вчера пришли. Мушку поставил за ухом. Чево-с? Оглох. За рыбой ходил, простудился. Оглох.

Письмоводитель держал голову немного набок, а рукой прихватывал на шее мушку.

— Разве вы здесь живете?

— Здесь. Вот рядом-то. Тут у нас контора. Зайдите, полюбопытствуйте! Да что? беспорядок.

Пришли в контору; такая же комната, как и первая: голые стены, стол с чернилицею и бумагами, два стула, шкаф.

— Вот-с, присутствие! Бумаги вот, книжки... У нас по книжкам все расчет. С бабами такая итальянская бухгалтерия у нас идет, двойная, с бабами. Сейчас ей *кре́дит*... а! рот разинет. Дуры!.. Ведомости тут... отношение мирового посредника... Тоже приказчик у нас умен... «Имею честь покорнейше просить вас, милостивый государь, выслать для объяснения...» Так тебе сейчас и выслали. Дожидайся!.. «Приидя ко мне на барский двор, с дерзостию отвечал...» Хм! Чертовщина!

Письмоводитель рылся в бумагах, читал их, бросал, опять принимался читать, вдруг швырнул какой-то пакет на пол и сказал:

— Что ж вы не садитесь?

— Нет, я пойду.

— Ну как хотите.

— А тут что же такое?

— Тут я живу. Пустяки всё.

Он отворил дверь в маленькую комнату, всю заваленную газетами, нотами, панталонами... На окне халат висит, чижик в клетке, духота, кровать стоит и скрипка лежит на кровати.

— А вы играете на скрипке?

— Черта я играю. Ничего я не умею. Так... Пойдемте! Что тут еще... Вы куда? Гулять? И я гулять. Нет, мне нужно. Что ж вы стоите? Надевайте картуз!

На дворе никого не было. От дома лежала широкая тень на траве; по кирпичному забору прыгали воробьи.

— Вы куда же? В сад, что ли? — спросил письмоводитель.

— Мне все равно.

— Ну, так пойдемте на базар.

— Пожалуй! А где же у вас базар?

— А вон площадь-то, за церковью. Базарная площадь. Сельскими произведениями торгуют: деготь тут это у них, лапти... такая чушь! Коммерция!

Идет баба с ведрами; повар в белой куртке несет с погреба говядину; лошадей ведут на водопой; лягавая собака идет, хвостом машет...

— Танкред! Хо! дурак,— говорит письмоводитель, лаская собаку.— Ну, ну, ну! Ступай, ступай! Нечево, брат, тут, нечево. Ты и рад.

Танкред с неудовольствием отходит.

— Ах, постойте,— говорит письмоводитель,— забыл я тут... дельце есть. Одна минута.

Вошли в людскую.

Стряпуха хлебы в печку сажает, грудной ребенок вертится у ней под ногами.

— Уйди ты, пострел! Чево-с?

— Матвей дома? — спрашивает письмоводитель.

— Нету; на футор до свету уехал.

— Скажи ему, что ж он о пашпорте-то о своем не хлопочет. Ведь штраф заплатит.

— Скажу.

— То-то, скажу. Ишь, тараканов что развели!

— Кто их разводит, проклятых?

— Вы разводите. Вы их любите до смерти; а после в ухо заползет. Ишь ты! Ишь ты! Это что? А? О дьяволы! Вот вас, чертей, за это надо разжечь. Что? Нет, врешь! Вы их жрете, анафемы. Пойдемте! Тут, я вам скажу...

Идет по двору мужик.

— Здравствуйте, Иван Степаныч!

— Здравствуй! Что тебе?

— К вашему здоровью.

— Зачем?

— Все насчет своих делов.

— Это насчет телушки-то? Знаю. Деньги принес?

— Нет, не принес.

— Так что ж ты? Разговаривать пришел?

— А я так полагал, по-суседски, мол.

— Ступай, по-суседски деньги неси!

— Да ведь что ж, Иван Степаныч, много ли она потравила,— сами изволите знать. Только что быдто находила.

— Вас, мошенников, учить надо.

— Учить, это точно, Иван Степаныч; только, кажется, мы тоже довольно учены.

— Нет, мало.

— Ну, теперь, позвольте, так будем говорить: ваша скотина зашла ко мне в огород...

— Ну, и загоняй ее!

— Загнать недолго, да на что ж так-то?

— Как на что? Барин штраф заплатит.

— Ну, это тягайся там с вами еще! А незамай же я ей ноги переломаю, она лучше ходить не станет.

— Вот ты поговори еще!

— Право слово, переломаю.

— Ладно, брат. Толковать с ним. Очень нужно. Экой народишко подлый! То есть, я вам скажу, тут какую нужно дубину!..

— Неужели?

— Ей-богу. Помилуйте! Что это такое? Так набалованы! Так... Землю даром отдали. Э! да что уж тут... Вот она, рыга-то.

— Где рыга?

— А вон, желтая, видите?

— Что же там?

— Ма́шины. Земледельческие орудия... Даром деньги... Нет, одна ничего. Это штука любопытная,— грабли. Сейчас везет, везет,— раз! А, чтоб те! Англичане деньги берут. Нет, они хитрые, анафемы, шут их возьми. Да. Молотилка такая есть, чудесная. Семьсот целковых... Все равно вот,— пушка. Захотел, куда хочешь. Вот шельмы-то! Занимательная штука. Ну, только тяжела, никуда не годится. Эй, Трофим, поди сюда! Это что у тебя в руке?

— Гвоздь.

— Ну, ступай!

Идут дальше. Солнце начинает припекать. Село́. Старухи в синих платках сидят с детьми на завалинах; больной теленок лежит середь улицы, греется; нищий крадется сторонкой, и дребезжит его старческий голос:

— Родителев поминаючи, Христа ра-ади!

Письмоводитель ежеминутно останавливается, разгова-

ривает с собаками, землю ковыряет палкой, ругается, а сам нет-нет и прихватит себя за мушку.

Идут селом прохожие, с лаптями и косами на плечах, идут молча, руками машут.

— Куда вы? — спрашивает их письмоводитель.

— На Дон, в казаки, — отвечает один прохожий.

— Сено косить, кормилец, сено, — проходя мимо, добавляет другой.

— Или у вас своего нету?

— У нас его отродясь не было, — на ходу отвечает третий.

— Ну, с богом, — говорит письмоводитель.

— Спасибо, родимый.

Базарная площадь. В конце виден кабак, навесы для торговли, лавочка и *дума*[1]. Куры копаются середь площади, тишина, слышно, как свинья чешется об угол думы и вполголоса отрывисто похрюкивает.

Письмоводитель с гостем вошли в лавочку.

— Денис Иванычу, — говорит письмоводитель.

— Иван Степанычу, — не глядя, отвечает лавочник.

Он сидит на прилавке, в рубашке, в жилете и играет в карты с волостным писарем. Писарь в военном пальто и в резинковых калошах на босу ногу.

— Писчей бумаги! — спрашивает Рязанов.

— Есть. Пожалуйте! Алексей, покажи бумагу! Ходите, я вздавал. Вы зачем, Иван Степаныч?

— Бросьте вы карты-то! Что в самом деле!

— Погодите! Игра тут у нас идет. Третий день хороводимся. Да чего вам требуется? Черви.

— Нашатырь есть у вас?

— Вам на что? Вали! вали!

— Для экономии.

— Это моя восьмерка. Что ты врешь? Для экономии?

— Да. Ну что же, есть, что ли?

— Это нашатырь-то?

— Да.

Лавочник пристально смотрит себе в карты и говорит:

— Нда. Вот что! Для и-ка-но-омии. Так, так. Самая подлецкая игра. Без двух. А нашатырю, похоже так, что нету. Ну, вздавай! Еще чего-с?

— Да будет вам играть!

---

[1] «Думою» называется в базарных селах сарай, в котором хранятся весы и меры. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

— Ну!

— Сургуча две палочки.

— Есть. Алексей, подай сургуча две палки конторского. Иван Степаныч, садитесь с нами играть!

— Ну вас!

— Что ж такое? мы на орехи.

— И на орехи не стану.

— Экие скупые! А у вас непременно деньги есть. Мое почтение! — говорит лавочник кучеру.

Кучер молча подходит к прилавку и глядит на полки с товарами.

— Вам что? — спрашивает лавочник.

— Идей-то у вас тут была, я гляжу, зеркила такая, круглая?

— А вон она.

Кучер берет зеркало и глядится в него. Письмоводитель роется в ящике с пряниками.

— Хороши, уж хороши! И глядеться нечего,— дружески говорит кучеру лавочник.

— Нельзя,— отвечает кучер.— Влюбиться хочу.

— Не говорите! Уж мы сейчас видим, который человек в веселом духе. Это горничная-то? Хм. Девочка ничего.

— Девка убедительная. Одно слово, чего извольте.

— Так, так.

— Беспременно надо влюбиться. Типерь, главная вещь, как-никак расстараться песенник достать.

Входит мужик.

— Денис Иваныч!

— Что ты?

— Отпустите!

— Дугу оставь!

— Как же я без дуги поеду? — помилуйте!

— А мне что? Вас, чертей, жалеть нечего. Ну да ладно: бери дугу, скидавай зипун!

Мужик молчит, и все молчат, смотрят на него.

— М... вот что,— про сёбя говорит мужик.

Молчание. Письмоводитель на прилавке раскалывает гирею орех.

— Так-то,— произносит мужик и чешет в затылке. Одно плечо у него начинает понемногу опускаться, зипун сползает с плеча...

Остановка.

— Скидавай! скидавай! Нечего. Нынче, брат, не зима, не озябнешь.

Мужик вздыхает и шевелит губами, потом молча, потихоньку стаскивает зипун, бережно кладет его на прилавок и молча, в одной рубахе уходит.

— Ну, вздавай,— говорит писарю лавочник.— Нет, я говорю,— подбирая карты, говорит лавочник.

— Да.

— Я говорю, эти мужичонки подлыи... Типериче, как вы полагаете, сколько у меня за ними денег пропадает? сейчас провалиться. Пас. Я за него подушные заплатил.

— Дела,— с орехом во рту, произносит письмоводитель.

— Вот по этой причине они мне все и подвержены. Ходи!

— Ну вас совсем! Прощайте! — говорит письмоводитель.

— До приятного свидания.

Вернувшись с базара, гость и письмоводитель расстались. Письмоводитель пошел в контору, а гость отправился в дом. Проходя по двору, он увидел у крыльца несколько баб и мужиков. В дверях стояла молодая женщина в утреннем капоте и внимательно осматривала у одного мужика палец.

— Кто это?— спросил гость у лакея.

— Барыня.

— Гм.

Гость подошел к крыльцу. Женщина, стоявшая в дверях, несколько растерялась, но сейчас же переломила себя и еще внимательнее припала к мужичьему пальцу.

— Погоди, вот я тебе спуску дам,— сказала она и вдруг вскинула глазами на гостя: он стоял прямо против нее и пристально смотрел ей в лицо. Он поклонился, она тихо сказала «здравствуйте» и уже совершенно твердо продолжала говорить с мужиком:

— Да нет ли у тебя занозы?

— Кто ее знает. Нет, мотри, вряд.

— Так ты приложи вот это на тряпочку, а дня через два опять приходи сюда!

— Сюда опять притить — понаведаться?

— Да, да, сюда опять приди!

— Ладно, приду.

— А у тебя что?

На пороге стоял мужик на вид толстый, но бледный и тяжело дышал.

— Чем ты нездоров?

— Я, матушка, всем нездоров, хвораю давно.

— Что же ты чувствуешь? Знобит, что ли, тебя?

— Нету; знобу такова нету; ну и поту настоящего в себе не вижу.

— А ешь хорошо?

— Како́ хорошо! В неделю вот эдакой чашечки кашиць известь не могу. Брюхо-то у меня — ишь ты! — опухло. Хошь вшей на нем бить, так в ту же пору.

Гость взглянул на хозяйку: на лице у ней чуть-чуть передернуло один мускул, и опять все стало покойно, только она сейчас же торопливо спросила:

— Простудился ты, должно быть?

— Не знаю, родима, простудился ли, нет ли. Нет, так, должно, эта хворь пристала, с ветру. Утром встал, оглядел в себе ноги: настоящие колоды,— опухли. И зачало меня дуть, зачало дуть, пуще да пуще...

— *Оглядел в себе ноги*...— вполголоса повторил гость.— До этих пор он не знал, что у него ноги есть.

Хозяйка взглянула на гостя, сначала серьезно, потом как-то нерешительно улыбнулась и опять сделала серьезное лицо.

Гость постоял еще немного и пошел в дом. Он застал Щетинина в кабинете с газетою у окна.

— Я к тебе заходил,— сказал Щетинин,— да мне сказали, что ты ушел куда-то.

— Да, я гулять ходил,— сказал гость, садясь на диван.— Ты рано встаешь?

— Часов в пять сегодня встал, проехался по хозяйству.

— Так ты не на шутку хозяйничаешь?

— Какие тут шутки! Нельзя, брат, нельзя.

— Да,— как будто размышляя, сказал Рязанов и потом прибавил: — зверь такой есть — бобр, зверь речной, обстоятельный зверь; ходит не спеша, все как будто о чем-то думает; шуба на нем дорогая, бобровая и лицо точно у подрядчика. Так вот у этого зверя страсть какая? — все строить. Поэтому он так и называется, бобр-строитель, Castor fiber. И теперь куда хочешь ты его посади, хоть на колокольню, дай ему хворостку, он сейчас начнет плотину строить. Вот он может о себе сказать, что ему без этого уж никак нельзя.

— Ну, да. Да что с тобой говорить: у тебя все смех. Пойдем-ка, брат, лучше чай пить. Вон и хозяйка пришла.

В столовой зашуршало женское платье и загремели чашки. Гость и хозяин вошли в столовую.

— Вот, рекомендую тебе,— сказал Щетинин жене,— друг и гонитель мой — Яков Васильич Рязанов. Позвольте вас познакомить.

Хозяйка остановилась на минуту с чайником в одной руке и протянула гостю другую.

— Да уж мы виделись,— сказала она мужу.

— Когда?

— Я сейчас застал Марью Николавну,— сказал гость,— там на крыльце недугующих исцеляла.

Марья Николавна слегка улыбнулась, но вслед за этим наморщила брови и сейчас же привела лицо свое в порядок.

— А вам это смешно? — спросила она, наливая чай, и понемногу начала краснеть.

— Нет, не смешно.

— Скажи пожалуйста,— спросил Щетинин, положив руки на стол,— что это у вас в Петербурге все так, что вы не можете ни о чем серьезно говорить?

— Нет, не все,— совершенно серьезно сказал Рязанов и стал размешивать чай.

Помолчав немного, он как будто про себя повторил:

— Не все.— И, рассматривая что-то в стакане, продолжал:— Нет, есть и такие, которые обо всем серьезно говорят. И даже таких гораздо больше. Я как-то одного встретил на улице,— я в баню шел,— «Пора, говорит, нам серьезно приняться за дело». Я говорю: «Да, говорю, пора, действительно, говорю, пора. До свиданья».— «Куда же вы?» — говорит. «А в баню, говорю, омыться».— «Да, говорит, у вас все шутки. Я серьезно...» Ну, что же делать? — вдруг спросил Рязанов, поднимая голову.— Ведь я тоже серьезно ему отвечал, а он говорит: шутки.

— Что ты рассказываешь...— начал было Щетинин, но Рязанов продолжал:

— Нет, ведь это глядя по человеку. Один и серьезно говорит, а все кажется, что он это так, шутит; а вон Суворов пел петухом, однако все понимали, что он в это время какую-нибудь серьезную каверзу подстроивает.

Марья Николавна пристально смотрела на гостя из-за самовара.

— Нет, в самом деле,— заговорил Щетинин,— я замечал, что Петербург как-то совсем отучает смотреть на вещи прямо, в вас совершенно исчезает чувство действительности; вы ее как будто не замечаете, она для вас не существует.

— Да ты это насчет выкупных операций, что ли? — спросил Рязанов.

— Нет, брат, я о другом говорю. Я говорю о той грубой действительности, которая нас окружает и дает себя чувствовать на каждом шагу.

— Ну, еще это бог знает,— ответил Рязанов,— кто ее лучше чувствует. Всякому кажется, что он лучше.

— Поживи-ка, брат, здесь да погляди на нас, чернорабочих, как мы тут с сырым материалом управляемся; может, взгляд-то у тебя и изменится. Так-то, друг,— прибавил Щетинин, хлопнув гостя по коленке.

— Может быть,— улыбаясь, отвечал Рязанов.

— Что ты смеешься? Ты погляди, вот я тебе покажу, что это за люди, с которыми нам приходится иметь дело.

— Да.

— Вот ты тогда и увидишь, что мы должны мало того, что помогать им, но еще убеждать и упрашивать, чтобы они нам позволили им же быть полезными.

— Да. Как это Гамлет говорит?— «Нынче добродетель должна униженно молить порок, чтоб он позволил ей...»

— Да, брат, униженно молить порок... Я серьезно говорю. Если взялся за дело, так уж не до иронии.

— Какая тут ирония? Это уж филантропия, а не ирония.

— Ну, я не знаю, как это называется, а что вот меньший брат ко мне идет, это я знаю,— говорил Щетинин, глядя в окно.— И еще знаю, что сейчас он будет просить, чтобы я ему телушку его отдал, а я не отдам.

— Почему же?— спросила Марья Николавна.

— А потому, что так нужно.

Щетинин наскоро допил стакан и вышел в переднюю. Дверь из столовой осталась незатворенною.

— Здравствуй! Что тебе нужно? — спросил он у мужика, вошедшего в то же время из сеней.

Мужик поклонился.

— К вашей милости...

— Зачем?

— Да все насчет того дела. Батюшка, Ликсан Василич! Мужик стал на колени.

— Это ты все о телушке пристаешь? Встань, братец, встань! Как тебе не стыдно? Сколько раз я вам говорил, что это скверно. Я с тобой и говорить не буду, пока ты не встанешь.

Мужик встал.

— Ну, слушай! Пойми, что мне твоих денег не нужно, я от этого не разбогатею. Я беру с тебя штраф для твоей же пользы; для того, чтобы ты был вперед осмотрительнее, зря не распускал бы скотины. Сами же вы благодарить будете, что вас уму-разуму учат.

— И так много довольны, батюшка, Ликсан Василич. Благодарим покорно!

— Ну, вот видишь! Понимаешь теперь, что это для твоей же пользы?

— Понимаем-с.

— Ну, а коли понимаешь, стало быть и толковать нечего. Я тебе покажу, что лишнего ни одной копейки с тебя не требуют. Вот расписание, видишь? Печатное расписание от министра, сколько следует брать за потраву. Вот за корову, с первого июня по первое июля — рубль пятьдесят копеек...

— Тэк-с.

— Да за прокорм за трои суток по двадцати копеек,— шестьдесят копеек; всего: два рубли десять копеек. Так ведь?

— Это так точно.

— Пожалуй, на счетах прикинуть можно.

— Нет, что уж прикидывать.

— Ну, так чего же ты еще от меня хочешь?

— Мы ничаво... А как таперь насчет того, тысись, пуще сумляваемся, что быдто не по-суседски...

— Не по-суседски! Да ведь я тебе говорил.

— Это так-с.

— Закон. Понимаешь? — закон.

— Слушаю-с.

— Так что ж я могу сделать? Ну?

Мужик молчал. Из столовой Рязанов, положив бороду на спинку стула, смотрел на эту сцену; Марья Николавна задумчиво катала из хлеба шарики.

— Прикажите за себя вечно бога молить,— вдруг сказал мужик и опять упал на колени.

Щетинин плюнул и ушел. Мужик еще несколько минут постоял на коленях, поглядел, поглядел, вздохнул и пошел по двору шаг за шагом, держа шапку в обеих руках.

— Ну что? как меньший брат?— спросил Рязанов.

Марья Николавна заперла сахарницу и вышла в другую комнату. Щетинин походил из угла в угол, отворил окно.

— Черт знает, духота!.. Свинья — меньший брат, вот что я тебе скажу.

— Нет, я вижу, ты еще не умеешь молить порок, чтобы он тебе позволил... оштрафовать себя,— сказал Рязанов, сидя за столом.

— Такая дрянь мужичонка!— продолжал между тем Щетинин.— Когда ему что-нибудь нужно от меня,— ходит, клянчит, ноги целует, а случись так, что мне понадобится купить у него десяток яиц, так он готов рубашку снять.

— Это основательно. Ну, а другие-то как? — хорошие?

— Если правду сказать, так и другие тоже со всячинкой;

да не в этом дело. Мы сами виноваты. Нужно внушить им больше доверия; нужно, чтобы мы сами к себе были построже, тогда и они будут...

— Дешевле брать за яйца. Вероятно.

— Нет, будут строже к себе.

— Да будут ли?

— Конечно, будут.

— С какой стати?

— А с такой стати, что сами увидят.

— Что?

— Да что так лучше.

— А сам-то ты веришь, что так лучше будет?

— Еще бы! Что ты на меня смотришь? Какой же бы я был работник, если бы не верил в успех того дела, для которого работаю?

— То есть это — уверенность в невидимом, как бы в видимом, и в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем. Да, это приятно.

Щетинин, ничего не отвечая, стоял у окна и задумчиво смотрел на двор, потом, опомнившись, сказал:

— Да! Там постройка,— нужно съездить. Маша!

Марья Николавна вошла в столовую. Рязанов отправился на балкон.

— Я еду теперь,— говорил Щетинин жене,— тут придет ко мне баба, так ты... поговори с ней!

— О чем же поговорить?

— Да она там тебе все это скажет сама. Ну, увидишь.

— Хорошо.

— Ты с ней хорошенько поговори. Знаешь, как ты *хорошо*-то говоришь.

Марья Николавна улыбнулась.

— А разве я когда не хорошо говорю?

— Нет; всегда, всегда. Умный ты мой! Ну, целуй меня!

К крыльцу подали беговые дрожки.

Рязанов стоял на балконе и смотрел в сад.

Прямо против него сквозь зеленую чащу акаций виднелась старая с провалившеюся крышей беседка, вся заросшая репейником и крапивою; дальше яблони цвели. За садом белела колокольня, а потом всё луга, воды, сверкающие на солнце, зеленые холмы и опять луга. В саду становилось жарко; только из кустов время от времени налетали тихие струи пахучей прохлады, вместе с торопливым щебетаньем притаившейся под кустом малиновки. Рязанов постоял на балконе и пошел бродить по саду. В одной аллее попался ему

старик садовник, в белой рубашке, с белою бородою и с пучком салата под мышкою. Садовник снял картуз и низко поклонился. В кустах мелькнуло загорелое детское лицо со стручком во рту, но исчезло сейчас же, как только Рязанов взглянул на него; вслед за этим раздался по саду писк — и пятеро ребятишек кинулись со всех ног в малинник. Позади всех бежала отставшая от прочих маленькая девочка, плача и крича во все горло: — ма-а-а. На пруду дворовая женщина полоскала белье. Заметив Рязанова, она подоткнула себе подол и, не оборачиваясь, поклонилась ему задом. Притаившиеся под берегом утки шумно бросились в воду...

Рязанов пошел было к себе во флигель, но в то время, как он проходил мимо дома, ему вдруг послышалось, что в сенях кто-то плачет. Он вошел на крыльцо. В сенях стояла Марья Николавна и разговаривала с крестьянскою бабою. Баба плакала, да и Марья Николавна имела расстроенный вид, но, желая скрыть свое смущение, она сказала Рязанову:

— Вот послушайте-ка, что она рассказывает.

Рязанов остался, но баба, не обращая на него никакого внимания, продолжала всхлипывать, говоря:

— Я яму баила: ты хушь бы людей-то постыдилси...

— Ну, а он-то что же? — спросила Марья Николавна.

— А он бат: чаво, бат, мне их стыдиться? Я, бат, перва у те косу всю вытаскаю, посля и зачну стыдиться.

— Мгм,— сделал Рязанов.

— Да уж что, сударыня,— продолжала баба, сморкаясь в рукав,— что уж говорить! Наше дело, известно, круг робятенок убиванси, а им что? озорство только у него на уме одно, мудрить над нашей сестрой. Ишь они мудрецы какие!

— За что ж он тебя бьет, я все-таки не понимаю,— сказала Марья Николавна.

— За что? — переспросила баба.— Захотели вы, сударыня, у мужика понятия. Нешто он скажет, за что. Яму баба все одно вот — тьфу. Под руку подвернулась — хлоп. Уйди, говорит, ты от меня, постылая!..

Баба нагнулась и концом фартука утерла слезы.

— На кой, говорит, ты мне ляд таперя? Не видал нешто я дохлых-то. Только, говорит, ты на то и годисси — ворон пужать.

— Он тебя не любит,— тихо заметила Марья Николавна.

— Как не любить! Чаво ж яму еще? Я, чай, яму не чужая. Любить! Известно, где яму меня любить. Вон у меня грудь заложило, ни поднять, ни что. Что ж, нешто я этому рада, что я чижолая.

— Да-а! Вот оно что,— сказал Рязанов и пошел во флигель.

К обеду вернулся Щетинин с хутора, весь в пыли, усталый; снял галстух, выпил рюмку водки и молча сел за стол.

— Ну, что постройка — идет? — спросила его Марья Николавна.

— Идет,— нехотя ответил Щетинин.— Измучился я, как собака,— немного помолчав, сказал он и положил ложку на стол.— Такие скоты эти плотники! То сделали, что теперь нужно опять нижние венцы подымать. Они, знаешь, их не переметили как следует и перепутали; ну, и вышла такая гадость, что смотреть скверно: одно бревно так, другое эдак. Самый лучший лес у меня тут был наготовлен, они его весь испакостили. Теперь понимаешь, какая работа опять сызнова перекладывать весь сруб! Черт их возьми! Уж я их ругал, ругал... Мошенники!.. Ах, я и забыл, что ты здесь сидишь.

— Ничего, не стесняйся,— ответил Рязанов, продолжая есть.

— Нет, в самом деле, изо всякого терпения выводят.

— Ну, конечно,— заметил Рязанов.

— Посуди ты сам,— продолжал Щетинин,— я им плачу почти вдвое, нежели сколько бы они получили у другого; потом, кроме того, мои харчи, и притом жалованье плачу помесячно.

— Да.

— Пришли ко мне оборванные, в ногах валяются: отец родной, есть нечего, дай работы! Ну, сжалился, взял их, одел, обул, за двоих подушное внес, вперед дал по целковому...

— И такая неблагодарность!..

— Нет, ведь что же? Стараешься, в самом деле. Уж, кажется, я ли для них не старался; а они вон какую штуку со мной сыграли. Они ведь этого и знать не хотят, что я по их милости убытку пятьдесят целковых понес. Далеко, видишь ли ты, бревна лежат, так им лень таскать. А? Как это тебе нравится?

— Нехорошо. Это с их стороны неблагородно,— сказал Рязанов, утирая салфеткою рот.

— Нет, серьезно?

— Чего ж тут. Понятное дело, что такого поступка одобрить нельзя.

— Ну, вот видишь. Так теперь ты скажи, имел ли я право назвать их мошенниками?

— Нет; мошенниками называть их ты права не имел.

— Почему?

— А потому, что этого тебе законом не предоставлено. Мало бы ты чего захотел. Этого нельзя. Ведь они уж вышли из крепостной зависимости?

— Вышли.

— Ну, так как же? Нельзя. Личное оскорбление. А вот к становому — это другое дело.

— Я этого вовсе не желаю.

— А не желаешь, тогда лучше всего прямо войти с жалобою к посреднику, дабы повелено было на основании и так далее. Вот это уж всего вернее и... приличнее, чем ругаться-то.

— Ах, да нет. Ты это...

— Ты думаешь, не взыщут? Нет, брат, теперь уж не те порядки пошли. Всё до последней копейки взыщут.

— Что ты говоришь!..

— Не отвертятся, не беспокойся.

Марья Николавна все время с напряжением следила за разговором и беспокойно взглядывала то на Рязанова, то на мужа; наконец, она не выдержала и, краснея, спросила взволнованным голосом:

— Да разве это хорошо — жаловаться в суд?

— А вы находите, что нехорошо? Почему же-с? — добродушно спросил Рязанов.

— А потому что... их там наказывать будут... я не знаю...

— Ну, так что же-с?

— Как — ну, так что же? Их посадят в тюрьму... вообще это...

— Может быть, и посадят. Если увещания не подействуют и мерами кротости нельзя будет их склонить...

— Но ведь они бедные. Вы забываете... Откуда же они возьмут пятьдесят рублей?

— Ежели наличных денег не имеют, то, может быть, окажется движимость, скот.

— Ну, и...

— Продадут-с. Что ж им в зубы-то смотреть.

— Да ведь это я не знаю, что такое... это варварство!..

— Очень может быть-с.

— Так как же вы предлагаете такие средства?

— Я никаких средств не предлагаю, я только напоминаю.

— Что же вы напоминаете?

— Я ему напоминаю его обязанности. Всякое право налагает на человека известные обязанности. Пользуешься правом,— исполняй и обязанности.

— Какие обязанности? Вы ему напоминаете, что он может, если захочет, злоупотреблять своим правом.

— Нисколько-с. Напротив; я ему напоминаю только о том, как следует благоприобретать, а злоупотребляет уж это он сам.

— Разве это злоупотребление, если он прощает этих плотников?

— А вы как же думали? Конечно, злоупотребление. Если бы он один только пользовался правом карать и миловать, тогда бог с ним, пусть бы его делал, что хотел. Если ему бог дал такую добрую душу, так что ж тут разговаривать. Хочешь идти по миру, ну и ступай. Но вы не забывайте, что нас много, что он, оставляя безнаказанными этих плотников, поощряет их на новые мошенничества и подает гибельный пример. А от этого мы все страдаем: он портит у нас рабочие руки.

Щетинин задумчиво смотрел в тарелку и водил по ней вилкою.

— Ну, хорошо еще,— продолжал Рязанов,— что я вот могу жить так, ничего не делая; но если бы я был рабочая рука, да я бы... я бы непременно испортился. Я бы сказал: а! так вот что! Стало быть, можно делать все, что хочешь. Пошел бы в кабак — эй, братцы, рабочие руки, пойдемте наниматься в работу! Сейчас пошли бы мы, нанялись к кому-нибудь сад сажать, набрали бы денег вперед, потом взяли бы насажали деревья корнями вверх, а дорожки все изрыли бы и ушли. Ищи нас! Что ж, разве это хорошо?

— Бог тебя знает,— наконец сказал Щетинин,— для чего ты все это говоришь.

— А для того и говорю, что не хочу тебя лишить дружеских советов. Вижу я, что друг мой колеблется, что ему угрожает опасность, что он может сделаться жертвою собственной слабости, да и нам всем напакостит; ну, вот я и не могу удержаться, чтобы не напомнить ему; я говорю: друг, остерегись, не поддавайся искушению, не поблажай беззаконию, ибо оно наглым образом посягает на нашу собственность. Священное право поругано, отечество в опасности... Друг, мужайся, говорю я, и спеши препроводить обманувшие тебя рабочие руки в руки правосудия...

Щетинин засмеялся, Марья Николавна нерешительно улыбалась, а лакей, стоя поодаль с чистою тарелкою в руке

и насупившись, исподлобья посматривал то на того, то на другого и, по-видимому, ничего не мог понять.

— Вот ты говоришь, препроводить,— начал Щетинин,— ну, хорошо; а что бы ты сказал, если бы я в самом деле так поступил?

— Что́ бы я сказал? Я сказал бы: вот примерный хозяин! и гордился бы твоею дружбою. И еще бы сказал: это человек последовательный; а лучшей кто бы мог хвалы тебе сказать?

— Так-то оно так,— со вздохом сказал Щетинин,— да... да нет, брат, я нахожу, что в некоторых случаях надо поступать непоследовательно. Маша, налей-ка мне квасу!

— Да. Ну, это как ты хочешь. Разумеется. Я тебя принуждать не буду; только уж...

— Да нет, видишь ли,— перебил его Щетинин,— штука-то в том, что в практическом деле такая строгая последовательность невозможна. Этого нельзя и требовать.

— Ну, да. С нас нельзя требовать, а с плотников можно. Это так.

— Нет, неправда. Этого и сравнивать нельзя.

— Почему же?

— А потому, что прежде всего у них нет никакой определенной цели, к которой бы они стремились.

— Вот что! Из чего же ты это заключил, любопытно знать?

— А из того, что я вижу всякий день.

— Например?

— Они только о том и стараются, чтобы как можно меньше работать и в то же время как можно больше получать.

— Мм. Что ж, это, по-моему, цель довольно определенная. Какой же тебе еще? Ты ведь, кажется, говорил, что у них нет никакой?

— Да разве это цель?

— Что же это такое?

— Это так, черт знает что, какое-то бессознательное стремление.

— Стремление! Стремление обыкновенно предполагает и цель. Ну, да хорошо, положим, стремление, и притом бессознательное. К чему же они стремятся? К тому вот, как ты говоришь, чтобы как можно меньше работать и как можно больше получать. Ты находишь, что это стремление нехорошее. Ну, а теперь позволь тебя спросить, ты сам-то к чему же стремишься? К тому, чтобы как можно больше работать и как можно меньше получать? Так, что ли?

— Н-не...

— Ну, так что ж тут разговаривать еще! Стало быть, стремления-то у нас с ними одни и те же; разница только в том, что мы сознательно желали бы их приспособить к нашему хозяйству, они же, как все глупорожденные, бессознательно упираются и всячески стараются схитрить. Ну, а на этот случай у нас средства такие имеются для понуждения их, средства, к народным обычаям приноровленные. Вот в древние века нравы были грубые,— тогда и орудия, которыми понуждались глупорожденные к труду, тоже были неусовершенствованные, как то: исправники, становые и проч., теперь же, когда нравы значительно смягчены и сельские жители вполне сознали пользу просвещения, и понудительные меры употребляются более деликатные, духовные, так сказать, а именно: увещания, штрафы, уединенные амбары и так далее. Вот и хороводимся мы таким манером и долго еще будем хороводиться, доколе мера беззаконий наших не исполнится. Только зачем же тут церемониться-то уж очень, нюню-то разводить зачем, я не понимаю. Штука эта самая простая, и весь вопрос в том, кто кого; стало быть, главная вещь не конфузься...

— Убирай,— вставая из-за стола, сказал Щетинин лакею.

III

Вечером, часу в осьмом, дня через два по приезде, шел Рязанов берегом реки. Песчаная дорога, по которой он шел, извивалась между кустами и вела на мельницу. По ту сторону круто поднимался каменистый обрыв, поросший красноватым орешником, вперемежку с мелким курчавым дубом. С отлогого берега видна была серая, изрытая дорога, смело вьющаяся в гору, зеленая крыша водяной мельницы и барская усадьба, до половины сидящая в зелени. Солнца уже не было, только крутой берег реки весь был залит красноватым светом. В кустах сильно пахло сыростью и камышом. Рязанов шел потихоньку, глубоко погружая ноги в похолодевший песок. Позади его зашуршали колеса, он оглянулся: в кустах двигалась лошадиная морда с дугой, дальше показался мальчик в большом картузе и наконец батюшка в зеленой рясе и в шляпе с широкими полями. Батюшка ехал в полевых дрогах и, поравнявшись с Рязановым, спросил:

— Никак опять за рыбой ходил? Ах, извините! Ошибся. Представилось мне, что это конторщик,— говорил батюшка, снимая шляпу.

— Мое почтение,— сказал Рязанов.

— Добрый вечер. Да вы не к господину ли Щетинину? Так прошу покорно садиться. А я, признаться, тоже было хотел его повидать.

Рязанов сел. Поехали.

— Вы, верно, приезжие? Ну, так. А я гляжу, гляжу, что такое? — ошибся. Ха, ха, ха! Вот прекрасно! Из Саратова?

— Нет, из Питера.

— А. Столичные жители. Погостить вздумали в наши места?

— Погостить.

— Мгм. Прекрасное дело. Имя ваше?

— Иаков.

— Да, да. Иаков, брат господень. По отчеству?

— Васильич.

— Яков Васильич. Да. Ну, так как же, Яков Васильич, в Питере-то дом свой имеете?

— Нет, не имею.

— Мгм. Квартирку нанимаете?

— Нанимаю.

— Служите небось?

— Нет, не служу.

— Да. Не похотели?

— Не похотел.

— Что ж, конечно, не всякому. Капитал у себя имеете?

— Нет, не имею.

— Звания дворянского?

— Духовного.

— Ну?!

Батюшка обернулся.

— Так вот-с. Очень рад. Будьте знакомы.

Въехали на плотину. Около мельницы стояли лошади и мужики, обсыпанные мукою; вода глухо шумела в колесах, в пруду копошились утки; дроги попрыгивали по кочкам. Становилось темно; Рязанов сидел рядом с батюшкою; волосы от батюшкиной бороды развевало ветром, и во время разговора они беспрестанно попадали Рязанову в рот. Батюшка спрашивал между тем:

— По первому разряду кончили курс? В попы-то что ж не посвятились? Неужто невесты не нашли? А! Да; не похотели.

Дроги въехали на барский двор; у крыльца толпились мужики, перед ними стоял Щетинин с тетрадкою в

руке и говорил, поднося одному из них к носу карандаш.

— Если я вам еще вот хоть эдакий прутик продам, так я себе позволю в глаза наплевать.

— Что ж, Ликсан Васильич! — заговорили мужики.

— Нет, голубчики; будет с меня, поучили уж довольно. А, здравствуйте, батюшка!

— Мое вам почтение,— говорил батюшка, входя на крыльцо и подбирая рясу.— Во имя отца и сына и святого... Что это, никак опять они вас тово... обманули?

— Что уж тут!..

Щетинин махнул рукой.

— Скажите, пожалуйста! Да это крюковские. Вы крюковские, что ли?

— Они самые,— нехотя отвечали мужики.

— Ну, так. Знаю я их до тонкости. Как же. То есть такие, я вам скажу, в высшей степени плуты.

Мужики равнодушно смотрели на батюшку, один кашляпул в шапку.

— Ты что там кашляешь? — вдруг спросил батюшка.— Ты, любезный, от меня не скроешься. Вот извольте,— продолжал он, обращаясь к Щетинину,— с этим самым мужичком... Как тебя звать, Семеном, что ли?

— Семеном.

— Да, вот с Семеном-то с этим задумал я прошлый год пчел держать пополам. Соблазнил меня, мошенник.— Согласился. «Согласен», говорю. А ты поди сюда! куда ты прячешься? Ну, хорошо. Я еще говорю: «Смотри, говорю, Семен...» — «Будьте покойны!» Прекрасно. Я, признаться, и понадеялся па него. Представьте, надул ведь! То есть так аккуратно надул, как лучше требовать нельзя. Вот этот самый мужичонка. Лицемер такой... Я господину посреднику на него жалобу принести хочу.

— Позвольте, батюшка,— начал было мужик.

— Не лги! Я знаю, что ты лжец. Да чево тут? в глазах обманул, в глазах. Ты, любезный, меня этим обидел до крайности: духовного отца своего обманул. А? Извольте радоваться.

— Идите чай пить,— выходя на крыльцо, сказала Марья Николавна.

Все собрались в столовой вокруг самовара: Марья Николавна намазывала масло на хлеб, Щетинин сел было за стол, но потом опять встал, взял записную книжку и начал что-то записывать; Рязанов барабанил пальцами по столу, батюшка молча рассматривал подсвечник.

— Дорого дали? — наконец спросил он Марью Николавну.

— Не знаю. Это вот он.

— Что такое? — глядя в книжку, спросил Щетинин.

— Подсвечники батюшка спрашивает.

— Дорого ли? — прибавил батюшка.

— Рублей пять, кажется,— скороговоркою ответил Щетинин.

— Искусно,— заметил батюшка, ставя подсвечник.

— Два рубли восемь гривен, да рубль семьдесят две, да полтина...— бормотал про себя Щетинин.

— Какие ныне сена богатые,— немного помолчав, сказал батюшка, но, не встретив ни в ком сочувствия, обратился к Рязанову:

— А у вас, Яков Васильич, там сено-то небось... Тоже, чай, покупаете когда?

— На что мне его?

— Стало быть, лошадок не держите?

— Нет, не держу.

— Да, да. Ну, муку-то всё покупаете. Почем мука-то у вас?

— А бог ее знает, почем она там, мука. Я в это не вхожу.

Марья Николавна улыбнулась.

— Что вы с ним, батюшка, об этих вещах разговариваете,— спрятав книжку в карман, заговорил Щетинин.— Ведь он... вы думаете, он это знает что-нибудь. Он надо всем этим смеется.

Батюшка бросил на Рязанова беспокойный взгляд.

— Да я что ж... ведь я не что-нибудь такое спросил... обыкновенно... Что ж смеяться?.. Пожалуй, смейся.

— Вы его не знаете.

— Да нет, позвольте! Я ничего худого не говорил. Ведь если бы я спросил что-нибудь такое непристойное; а то ведь вот я при вашей супруге... Марья Николавна слышали; кажется, я довольно скромно спросил: почем, говорю, у вас в Санктпетербурге мука?

— Зачем ты нас с батюшкой хочешь поссорить?— сказал Рязанов.— Мы только что познакомились, а ты уж сейчас и вооружаешь его против меня. Это нехорошо.

Марья Николавна поспешила замять это объяснение и торопливо начала:

— Батюшка, ко мне тут сегодня одна баба приходила.

— Да-с.

— Она жалуется, что муж ее не любит.

— Сс.

Батюшка принял озабоченный вид.

— Да; это несчастная женщина,— сказал Щетинин.

— Скажите!

— Я с вами об этом давно хотел поговорить. Она все ко мне ходит, да посудите сами, что же я-то тут могу сделать?

— Ну, конечно. А уж лучше же ей прямо, коли так, к господину посреднику обратиться.

— Вот и я тоже полагаю,— заметил Рязанов,— к посреднику. Это его прямая обязанность.

— Натурально,— подтвердил батюшка.

— Нет; вот видите ли, батюшка,— не слушая, продолжал Щетинин.— Я думаю, что вы могли бы как-нибудь подействовать увещаниями, что ли...

— То есть как-с?

— То есть на мужа этой женщины.

— Да; увещаниями... Что ж? Ничего-с. Извольте. Это можно.

— Попробуйте-ка в самом деле!

— С моим удовольствием. Оно, конечно, как, знаете, эта самая грубость ихняя, ну, а впрочем...

— Вот ты с своей гуманностию,— сказал Рязанов Щетинину,— только под ответственность батюшку подведешь.

Батюшка с беспокойством посмотрел на Рязанова, потом на Щетинина.

— Батюшка — врач душевный, а тут дело-то, брат, уголовное.

— Как так?

— Да штука-то она очень простая; бьет, видите ли, мужик бабу, и за то он ее бьет, что она брюхата; понятно, что́ из этого может воспоследовать.

— Хм! Дело дрянь,— подумав, сказал батюшка.

— То-то и есть,— подтвердил Рязанов.

— Да нет, однако, это ведь черт знает что такое! — бросив ложку на стол, сказал Щетинин,— что же, по-твоему, стало быть, так и позволить ему бить эту женщину, сколько угодно?

— Да как же бы ты не позволил, любопытно знать?

— Очень просто...

— Ну-ка! Сообщи, сделай милость, а мы с батюшкой послушаем.

— Да чего тут! Взять ее от него, и кончено.

— Вы как это находите? — спросил Рязанов у батюшки.

— Нет, это вы действительно, Александр Васильич,— смеясь и добродушно хлопая Щетинина по коленке, сказал батюшка,— это вы немножко тово... неправильно... Нет, не-неправильно... А вот я вас, Александр Васильич,— вставая из-за стола, продолжал он,— хотел побеспокоить насчет того дельца.

— Какого дельца?

— А то есть насчет сена-с.

После чаю Марья Николавна ушла в залу и начала играть на рояле какие-то вариации; Рязанов, засунув руки в карманы, стоял на террасе; Щетинин, задумавшись, прохаживался с батюшкою по зале; в гостиной горела лампа. Батюшка говорил, разводя руками:

— Ничего не сделаешь. Ежели бы они понимали что-нибудь, а то ведь, ей-богу, и грех и смех с ними иной раз. Вот вы говорите, убеждение. Да. Сижу я однажды в классе и спрашиваю одного мальчика (да и мальчонка-то, признаться, возрастный уж) — кто, говорю, мир сотворил? а он отвечает мне: староста, говорит. Вот извольте!

Щетинин на это ничего не сказал.

— Нет, я господина Шишкина всегда вспомню,— продолжал батюшка.— Прямо надо сказать, умный был помещик и такое ко храму усердие имел, даже это диковина.

— Мгм,— рассеянно произнес Щетинин.

— Теперь у него, бывало, мужики все дочиста у обедни. Как ежели который чуть позамешкался — в праздник на барщину! А вы как думаете, не скажи им, так ведь они лба не перекрестят. Эфиопы настоящие.

Марья Николавна закрыла рояль и, подходя к ним, спросила:

— Батюшка, как вам нравится этот вальс?

— Штука изрядная,— ответил батюшка.

Помолчав немного, все трое вышли на террасу.

В саду стояла теплая весенняя ночь, с бледно-голубыми звездами на потухшем небе. Сквозь прозрачный туман виднелись едва заметные призраки берез и вьющиеся между ними песчаные дорожки. Какая-то непонятная тишина подступала все ближе и ближе, застилая кусты и деревья и поглощая тревожный шелест и робкий шорох ветвей.

Вошедшие на террасу люди молча остановились перед темным садом и, как будто охваченные этою мрачною тишиною, долго прислушивались к чему-то.

— Боже, боже мой,— наконец, вздохнув, сказал батюшка и, посмотрев на небо, прибавил,— премудрость!

— Что вы сказали, батюшка? — спросила Марья Николавна.

— Премудрость, говорю-с.

— Да. А я думала...

— Нет-с, вот что́ господин Рязанов скажет,— заговорил батюшка.— Где вы тут? Не видать. Вот-с,— продолжал батюшка, отыскав Рязанова,— вот вы смелы очень на словах-то...

— Ну, так что же?

— Нет, я заметил, вы сердцем ожесточены. А помните, о жестоковыйных-то что сказано? То-то вот и есть. Смеяться умеете, а хорошего-то вот и не знаете. Стало быть, забыли, чему учились.

— Да ведь где же все упомнить? Мало ли чему нас с вами учили.

— То-то погодить бы смеяться-то; книжку бы сперва протвердить.

— И рад бы протвердить,— говорил Рязанов, всходя по ступенькам на террасу,— да все некогда.

— Да не закусить ли нам, господа? — вдруг заговорил Щетинин.

IV

Прошла еще неделя. Ни в занятиях, ни в образе жизни Щетининых не произошло никакой существенной перемены. Рязанова в доме почти не слышно было: он с утра уходил куда-нибудь в поле, или взбирался на гористый берег реки и с книгою просиживал под деревом до обеда; или уезжал с дьячковым сыном на острова и, сидя в камыше по целым часам, смотрел, как он ловит рыбу; иногда заходил в лавочку. После обеда туда обыкновенно многие заходили посидеть: волостной писарь, из дворовых кто-нибудь, а то, случится, иной раз заедет кто-нибудь по дороге и забежит трубочки покурить, рюмочку выпить. Вот сойдутся человека три — и в карты. Сидит Рязанов в лавочке на пороге и смотрит на улицу. Жара смертная; на двери балык висит, а жир из него так и течет, мухи его всего облепили; в лавочке брань идет из-за карт:

— Сейчас дозволю себе пять плюх дать,— кричит лавочник.

— Какое ты имеешь полное право в карты глядеть? — спрашивает писарь.

— Я не глядел.

— Нет, глядел.

— Подлец хочу быть.

— Ты и так подлец.

— Ну-ка-ся,— говорит проезжий мужик, держа стакан. Мальчик наливает ему водки. Мужик крестится и собирается пить. Вдруг в стакан попадает муха.

— Ах, в рот те шило,— говорит мужик, доставая муху.— Вот, братец мой, хрест-от даром пропал.

— Это твое счастье, муха-то,— замечает мальчик.

— И то, брат, счастье. Оно самое мужицкое счастие — муха. Ох, и сердита же только эта водка,— кряхтя и отплевываясь, говорит мужик.

Вечером, возвращаясь домой, Рязанов обыкновенно заставал в конторе кучу баб и девок, с которыми письмоводитель рассчитывался по окончании работы и при этом всегда сердился, спорил и ругался. Через перегородку слышно было, как бабы шептались, фыркали и толкали друг дружку; Иван Степаныч (письмоводитель) кричал на них:

— Эй, вы, дуры! Что вы — играть сюда пришли?

— Чу! чу!— унимали бабы одна другую.

— Ну, много ли вас на десятине пололо? А ты зачем? Ведь тебе сказано. Эй, ты, как тебя? Анютка! Где у тебя книжки? Ишь, подлая, как запакостила. Гляди сюда! Кто гряды копал? Ты, что ли?

— Иван Степаныч!

— Ну!

— Погляди у меня в книжке.

— Я те погляжу! Муж-то у тебя где?

— В солдатах.

— Чего тебе там смотреть?

— А это что такое?

— Это? — *Траспор*. Поняла? Дура! Ничего ты не знаешь. Поди стань у печки!

— Иван Степаныч, чаво я тебя хочу спросить.

— Спрашивай!

— Таперь ежели я мальчика рожу, что яму...

— Пошла вон!

Кончив расчеты с бабами, Иван Степаныч иногда заходил к Рязанову и сообщал ему новейшие политические известия в таком роде:

— Газеты читали? Генерал Грант получил подкрепление. Еще извещают, что генерал Мид перешел Рапидан и настиг главные силы генерала Ли. Вот опять чесать-то

пойдет. Ах, черти! Ну, только им против майора Занкисова далеко.

— Ну, конечно,— подтверждал Рязанов.

— В «Московских ведомостях» описано: весь в белом, и лошадь белая, несется впереди, а белый значок позади. Сейчас налетит,— раз!.. Из Петербурга дамы прислали письмо: Кузьма Иваныч, сделайте ваше одолжение, наслышаны, так и так, обо всех доблестных делах... всё удивление и признательность... со значком среди опасностей боя... будьте так добры, говорят, вот нашей работы... от души преданные вам дамы.

— Ага. Это хорошо,— говорил Рязанов.

— Нет, слышите, какая штука-то: там этот жонд весь ихний — к чертям!.. а эти самые гмины, что ли,— черт их знает,— говорят: вот, говорят, теперь мы свет увидали. А? Нет, ведь хитрые, анафемы. Да. А еще в деревне Граблах крестьянин Леон, двадцати лет, надев овечью шубу шерстью вверх, вечером отправился в дом Семена Мазура, а он его хлоп из ружья. Вот оглашенные-то! Ха, ха, ха! Чем занимаются? А? Тоже небось солтыс какой-нибудь. Гха! Солтыс! А то еще войт у них бывает... Войт...

Разговоры за обедом и за чаем с каждым днем становились все короче и короче. Самое ничтожное обстоятельство, самый ничтожный случай сейчас же делался темою для разговора, и всякий разговор неминуемо кончался спором, во время которого Щетинин разгорячался, а Марья Николавна с напряженным вниманием и с беспокойством ловила каждое слово и, видимо не удовлетворенная спором, уходила в сад или просиживала по целым часам в своей комнате, глядя на одно место. Встречаясь с Рязановым наедине, она пробовала заговаривать с ним, но из этого обыкновенно ничего не выходило. Она спросила его один раз:

— Вы, должно быть, презираете женщин.

— За что-с?

— Я не знаю; но судя по вашим разговорам, я думала...

— Нет-с,— успокоительно отвечал он.— Да я и вообще никого не презираю.

Так разговор ничем и не кончился: Рязанов стал глядеть куда-то в поле, а Марья Николавна постояла, постояла, посмотрела на его жидкие, длинные волосы, на кончик галстуха, странно торчащий вверх, поправила свою собственную прическу и ушла.

В другой раз она встретила его в саду с книгою.

— Что это вы читаете? — спросила она Рязанова.

— Так, глупая книжонка.

— Зачем же вы ее читаете, если она глупая?

— На ней не написано — *глупая книга.*

— Ну, а теперь, когда уж вы знаете?

— А теперь я уж увлекся, мне хочется знать, насколько она глупа.

Марья Николавна немного помолчала и нерешительно спросила:

— Скажите, пожалуйста, ведь вы... вы не считаете моего мужа глупым человеком?

— Нет, не считаю.

— Так почему же вы с ним никогда не соглашаетесь в спорах?

— А потому, что нам обоим это невыгодно.

— Почему же ему невыгодно? — торопливо спросила Марья Николавна.

— Спросите его сами.

— Я непременно спрошу.

Она сорвала ветку акации, начала быстро обрывать с нее листья и, сама не замечая, бросать их на книгу. Рязанов молча взял книгу, стряхнул с нее листья и опять принялся читать. Марья Николавна взглянула на него, бросила ветку и ушла.

После одного из таких разговоров она вошла к мужу в кабинет и застала его за работою: он поверял какие-то счеты. Она оглянулась и начала что-то искать.

— Ты что, Маша? — спросил ее Щетинин.

— Нет, я думала, что ты...

— Что тебе нужно?

— Да ведь ты занят.

— Что ж такое. Это пустяки. Тебе поговорить, что ли, о чем-нибудь?

— Ммда. Я хотела тебя спросить...

— Ну, говори! Садись сюда! Да что ты какая?

— Ничего. Пожалуй, Яков Васильич придет.

— Нет; он теперь, должно быть, уж не придет. Ты что же? не хочешь при нем? а?

Марья Николавна молчала; Щетинин хотел было ее обнять, но она тихо отвела и пожала его руку. В кабинете было почти темно; на письменном столе горела свеча с абажуром и освещала только бумаги и большую бронзовую чернилицу. В окно, вместе с ночными бабочками, влетали бессвязные отголоски каких-то песен и тихий, замирающий говор людей, бродивших по двору. Марья Николавна сидела

на диване, отвернувшись в сторону, и щипала пуговицу на подушке. Она то быстро оборачивалась к мужу, как будто собираясь что-то сказать, то вдруг припадала к пуговице и пристально начинала ее разглядывать; потом опять бросала и все-таки ничего не говорила.

— Да что? что такое? — с беспокойством глядя на жену, спрашивал Щетинин.

— Вот видишь ли,— наконец начала она.— Я давно хотела спросить... да... да как-то все... Я, может быть, этого не понимаю...

— Чего ты не понимаешь?

— Да вот, что ты все с Рязановым споришь...

— Ну, так что ж?

— Почему ты его никогда не убедишь?

— Только-то?

— Да, только.

— Так ты об этом так волновалась?

— Ну, да.

— Господи! Я думал, бог знает что случилось, а она...— говорил Щетинин, вставая с дивана и смеясь.

— Так это... по-твоему, пустяки? — тоже вскакивая с дивана и подходя близко к мужу, спрашивала Марья Николавна.— Стало быть, ты сам не веришь тому, что говоришь? стало быть, ты...

— Что такое? что такое? — отступая, говорил Щетинин.— Я не понимаю, что ты рассказываешь? Как это я не верю тому, что говорю? Объяснись, сделай милость!

— Тут объяснение очень простое,— говорила Марья Николавна, волнуясь все больше и больше.— Ведь ты споришь с Рязановым? Почему ты с ним споришь? — Потому что ты думаешь... ну, что он не так думает. Так ведь?

— Ну, да.

— Почему же ты ему не докажешь, что он не так думает? почему ты его не переспориваешь? Почему? Что же ты молчишь? Ну, говори же! говори скорей! говори-и!

Она дергала мужа за рукав.

— Что ты не отвечаешь? Стало быть, ты сам чувствуешь, что он прав? а? чувствуешь? Он смеется над тобой, над каждым твоим словом смеется, а ты только сердишься... Стало быть... Да что же ты мне ничего не говоришь? Ведь ты понимаешь, что я... Ах, что же это такое!..— вдруг вскрикнула она, отталкивая мужа, и упала на диван в подушку лицом.

Щетинин стоял среди комнаты и разводил руками.

— Тьфу ты! Ничего не могу понять... Да что с тобой сделалось, скажи ты мне на милость? — спрашивал он, подходя к жене и трогая ее за руку.

— Ничего, ничего со мной не сделалось,— отвечала она вставая.— Я только теперь понимаю, что я... что я ошибалась до сих пор, ужасно ошибалась...— говорила она, уже совершенно спокойно.

— Да в чем же? в чем?

— Ты не знаешь? Да неужели ты думаешь, что я не поняла изо всех этих споров, что ты и меня и других стараешься обмануть. Меня ты мог, конечно, а вот Рязанов ловит тебя на каждом слове, на каждом шагу показывает тебе, что ты говоришь одно, а делаешь другое. Что? это неправда, ты скажешь? а? Ну, говори! А-а! Значит, правда! Вот видишь! Правда!..

Щетинин скоро ходил из угла в угол и пожимал плечами.

— Послушай,— сказал он, останавливаясь перед нею.— Ты с ним говорила?

Щетинин махнул головой на флигель.

— Говорила.

— Что же он тебе сказал?

— Он мне ничего об этом не сказал; да я и сама не спрашивала. Теперь для меня и без него все ясно. Ты думаешь, что я сама не могла этого понять, что ты хотел сделать из меня ключницу.

— Когда же? Когда? — подступая к жене, говорил Щетинин.— Маша! что ты говоришь? Друг мой! Ну, послушай!..

Он сел с нею рядом и взял ее за руку.

— Нет, погоди,— сказала она, отнимая руку,— когда я была еще... когда ты хотел на мне жениться, ты что мне сказал тогда? Вспомни!

— Что я сказал?

— Ты мне сказал: мы будем вместе работать, мы будем делать великое дело, которое, может быть, погубит нас, и не только нас, но и всех наших; но я не боюсь этого. Если вы чувствуете в себе силы, пойдемте вместе. Я и пошла. Конечно, я тогда еще была глупа, я не совсем понимала, что ты там мне рассказывал. Я только чувствовала, я догадывалась. И я бы пошла куда угодно. Ведь ты видел, я очень любила мою мать, и я ее бросила. Она чуть не умерла с горя, а я все-таки ее бросила, потому что я думала, я верила, что мы будем делать настоящее дело. И чем же все это кончилось? Тем, что ты ругаешься с мужиками из-за каждой копейки, а я огурцы солю да слушаю, как мужики бьют своих жен — и хлопаю

на них глазами. Послушаю, послушаю, потом опять примусь огурцы солить. Да если бы я желала быть такой, какою ты меня сделал,— так я бы вышла за какого-нибудь Шишкина, теперь у меня, может быть, уж трое детей было бы. Тогда я по крайней мере знала бы, что я самка, что я мать; знала бы, что я себя гублю для детей, а теперь... Пойми, что я с радостию пошла бы землю копать, если бы это нужно было для общего дела. А теперь... Что я такое? — Экономка господина Щетинина; просто-напросто экономка, которая выгадывает каждый грош и только и думает о том: ах, как бы кто не съел лишнего фунта хлеба! ах, как бы... Какая гадость!..

Она встала и хотела идти, но Щетинин сделал движение остановить ее. Она обернулась к нему и сказала:

— Нет; ведь я это все уж давно, давно поняла, и все это у меня вертелось в голове; только я как-то не могла хорошенько всего сообразить; ну, а теперь вот эти разговоры мне помогли. Я тут очень расстроилась, взволновалась. Это совсем лишнее. И случилось потому, что я все эти мысли долго очень скрывала: все хотела себя разуверить; а ведь, по-настоящему, знаешь, надо бы что сделать? Надо бы мне, ничего не говоря, просто...

— Маша! — подходя к ней, дрожащим голосом сказал Щетинин, схватив ее за руку.— Маша! что ты говоришь? Да ведь... ну, да... да ведь я люблю тебя. Ты понимаешь это?

— Да и я тебя люблю...— сдерживая слезы, говорила она,— я понимаю, что и ты... ты... ошибся, да я-то, не могу я так. Пойми! Не могу я... огурцы солить...

Щетинин взял себя за волосы и, зажмурившись, бросился на диван.

Когда он открыл глаза, Марьи Николавны в комнате уже не было.

Он посмотрел на дверь, встал и начал ходить из угла в угол, опустив голову и заложив руки за спину. По лицу его видно было, что ему беспрестанно приходили в голову какие-то новые, страшные мысли, которые то пугали его, то заставляли безо всякой нужды хвататься за разные вещи, разбросанные на столах. Он остановился перед окном, побарабанил по стеклу, потом помуслил палец и написал на стекле: *огурцы*, потом быстро стер это слово и, закинув обе руки на затылок, пошел было к двери, но вернулся, схватил щетку и начал чесать себе голову. Чесал, чесал долго, кстати и комод почесал, вдруг бросил щетку, сел на диван и закрыл себе лицо руками. Через несколько минут он открыл лицо, уперся локтями в колени и уставился в пол. Опять встал

тихо подошел к зеркалу и, глядя в него, осторожно, не торопясь, но совсем, по-видимому, бессознательно, снял галстух, расстегнул жилет и хотел было снять сюртук, но тут же опять вздернул его на себя так, что подкладка затрещала, и ушел. В темном коридоре он остановился перед комнатою своей жены и хотел было отворить дверь, но она была заперта.

— Кто там? — спросила Марья Николавна.

— Можно войти? — нерешительно спросил Щетинин.

— Зачем?!.

Щетинин молчал. Из комнаты тоже ответа не было. Он постоял еще немного, тихо отнял руку от двери и вернулся в кабинет. Медленно сел на диван, развернул книгу, подпер голову рукою и стал смотреть в книгу; осторожно соскоблил муху, приплюснутую между страницами, перевернул лист, не замечая, что книга лежит вверх ногами, и опять углубился в чтение.

Прошло полчаса. Наконец он вздохнул, отодвинул книгу от себя, посмотрел кругом и пошел во флигель.

Рязанов лежал на кровати и смотрел в потолок. На стуле подле него горела свеча; тут же валялась на полу развернутая книга.

— Ты что?— спросил его Рязанов.

— Я, брат... вот что: история тут вышла...

— Какая история?

Рязанов повернулся на бок; Щетинин стоял над ним и рассматривал свечу.

— А такая, что... как бы это тебе сказать?.. Там, знаешь, это бывает...

— Где бывает?

— Да в городе. Как они, черт? Как это называется?.. съезды. Ну да. Мировые съезды бывают.

— Так что ж?

— Ну, поедем!

— У тебя дело, что ли, там есть?

— Какое, к черту, дело? На кой мне их!

— Так зачем же ты меня зовешь?

— Да я тебя зову, видишь ли, зачем...

Щетинин отошел к окну.

— Я тебя, любезный друг, зову...— продолжал он, поднимая с полу книгу и перелистывая ее,— чтобы... понимаешь, не скучно было. И мне веселей, и тебе веселей. Понял? Ну да. Коптеть тут в деревне. Что хорошего? Так ведь? — говорил Щетинин, складывая книгу и отдавая ее Рязанову.

Рязанов пристально посмотрел на него и взял книгу.

— Что ты такое мелешь? — *наконец спросил он.* — Ты, должно быть, болен, что ли?

— Да, брат; у меня ужасно голова болит. Прощай!

Рязанов посмотрел ему вслед, пожал плечами, опять раскрыл книгу и принялся читать.

Щетинин, вернувшись домой, прошел прямо в спальню, зажег свечу и сел на стул у кровати. На подушках лежала ночная кофта и чепчик Марьи Николавны. Постель, как была постлана, так и осталась неизмятою. На столике, рядом с подушками, стоял графин с водою. Щетинин налил стакан, выпил и долго, со стаканом в руке, глядел на подушку, потом поставил его на столик, поправил одеяло и ушел в кабинет.

На другое утро приказчик несколько раз приходил за делом,— Щетинин все спал. Часов в девять подали самовар, Марья Николавна вышла в столовую, заварила чай; в передней показались мужики. Наконец разбудили Щетинина, приказчик вошел в кабинет. Барин сидел за письменным столом, протирая глаза, и ничего не понимал. Приказчик постоял у двери, поглядел, сделал шаг вперед, поклонился, подождал и, кашлянув, решился спросить:

— Лексан Васильич.

— А?

— Во флигаре прикажете потолки настилать, или погодить до вас?

— Погодить, погодить...

— Стало быть, сами изволите быть?

— Ну, да. Конечно.

Щетинин все протирал себе глаза и никак не мог их протереть.

Приказчик еще немного помолчал.

В это время Щетинин уж начал дремать, облокотившись на стол. Приказчик кашлянул еще раз; Щетинин вздрогнул и открыл глаза.

— Насчет крюковских мужиков будет ваше приказание? — спросил приказчик погромче.

— Как же, как же, брат...

— Леску позволите им отпустить?

— Что ж, пусть их!..

— Все маненько почистится лесок.

— А?

— Почистится, мол.

— Ну, да. Чего тут еще...

— Глядеть так-то быдто лучше, веселей.

— Хх! Отличная, брат, штука!

Щетинин улыбнулся и сейчас же опять задремал.

Через несколько минут приказчик спросил:

— Так когда же изволите приехать?

— Куда?

— А на футор-с?

— Ну, вот еще! За коим чертом я туда поеду? Не видал я тваво футора,— говорил Щетинин недовольным голосом и опустил голову на стол.

— Что ты к нему пристаешь? — из столовой вполголоса сказала приказчику Марья Николавна.— Разве ты не видишь, что он спит?

— Кто спит? Я сплю? Это неправда! — вскочив со стула, говорил Щетинин.— Я не сплю.

Приказчик все еще стоял в дверях. Щетинин широко открыл глаза, потянулся, посмотрел вокруг, наморщил брови и задумался.

— Да,— как будто припоминая что-то, произнес он.— Это так...— потом, заметив приказчика, прибавил: — Ты, брат, вот что: ты там... как это сказать?.. ты, любезнейший... ну, да; ты вели лошадей поскорее заложить,— говорил он, уже совершенно очнувшись.— А насчет дел, это там после, мы увидим. Ступай!

— Мужички тоже было...— заговорил приказчик, указывая на мужиков, стоявших в передней.

— Гони их,— крикнул Щетинин.

Пришел Рязанов; Щетинин наскоро выпил стакан чаю, умылся. Во все это время никто из них не сказал ни одного слова. Как только выехали в поле, Щетинин заснул и проспал до самого города.

V

Действительно, в городе был мировой съезд и к тому же — крестьянская ярмарка. По улицам бродили пьяные мужики и разряженные бабы; на базарной площади стояли палатки и шалаши с товарами; в подвижном трактире играла музыка и пели песни; солнце пекло, пыль тучею стояла над толпою мужиков, двигавшейся во все стороны; между возов пробирался на паре караковых исправник, с верховым полицейским служителем позади. В толпе ходили управляющие, барыни с узлами и с раскрасневшимися лицами.

В сторонке, у весов, стояло шесть человек гарнизонных солдат в суконных галстухах и в белых холщовых мундирах.

Перед ними прохаживался капитан: он делал им смотр и ругался, а сам был пьян. Солдаты тоже были пьяные и, вздыхая, равнодушно посматривали на проходящих. Тут же стояли дрожки, на которых приехал капитан. Он все собирался уехать, несколько раз подходил к дрожкам и поднимал ногу, но сейчас же опять возвращался и опять принимался ругаться. На правом фланге стоял солдат с заплаканным лицом. Он был пьянее всех; стоя ввытяжку, он плакал и не сводил глаз с своего командира.

— Я тебе по-ка-жу, твою мать, я тебе покажу! — кричал капитан, наступая на солдата.

— Готов, завсегда готов,— вытягивая лицо вперед, отвечал солдат.

— Молчать!

— Слушаю, васскрродье.

— В грррob заколочу!..

— С радостью...

Бац.

Солдат заморгал глазами и выставил свое лицо еще больше вперед. Проходящие мужики останавливались. Солдат всхлипывал и, не утирая слез, прямо смотрел в глаза начальнику.

— У! рраспротак,— рычал капитан, косясь на солдата и подходя к дрожкам.

— С моим с удовольствием! — крикнул солдат.

— Молчать! — заревел капитан, снова подлетая к солдату.

По улицам ездили и бродили помещики; в домах тоже везде виднелась водка и закуска; из отворенных окон вылетал табачный дым вместе со смехом и звоном графинов.

В этот день назначено было открытие по возобновлении дворянского клуба, с переименованием его в *соединенный*, так как в новом клубе предполагалось соединить все сословия. Мировой съезд помещался в том же здании, а потому у ворот и на крыльце толпились мужики, вызванные посредниками в город по делам.

Щетинин с Рязановым прошлись по ярмарке и отправились в клуб. На дороге им попались дворяне; они шли вчетвером, обнявшись, в ногу и наигрывали марш на губах.

Впереди маршировал маленький толстенький помещик и размахивал планом полюбовного размежевания вместо сабли.

— Здравия желаем, ваше-ство-о! — гаркнули дворяне, поравнявшись со Щетининым, и пошли дальше.

— Спасибо, ребята! — крикнул высунувшийся из окна помещик.

— Рады стараться...

— По чарке на брата! Идите сюда! — кричал он, махая рукою.

— Правое плечо вперед,— марш! — скомандовал начальник, и отряд завернул в ворота.

По улице пронесся легонький тарантас, запряженный тройкою маленьких лошадок. В нем сидел полный мужчина в военной фуражке, но с бородою, и делал Щетинину ручкою. Он поклонился.

Из окон выглядывали дамы и говорили, показывая на Щетинина с Рязановым: «Вон они, коммунисты!»

Щетинин шел молча и рассеянно глядел по сторонам, рассеянно отвечая на поклоны. В клубе у подъезда стояли и лежали сельские власти: старшины, сотские, старосты и проч.; некоторые пристроились в тени, а шляпы их торчали на заборе. Заседание мирового съезда еще не кончилось. В зале, посредине, стоял большой стол, за которым сидели посредники с цепями на шее и с председателем во главе. Вокруг них толпились помещики, управляющие и поверенные; прочие дворяне бродили по зале и, по-видимому, скучали. Из буфета слышался бойкий разговор, смех и остроты.

— Да будет вам,— уговаривал один помещик посредников.— Ну что в самом деле пристали! Водку пора пить.

— Погодите,— с озабоченным видом отвечали посредники.— Не мешайте!

— Позвольте мне, господа, прочесть вам,— громко заговорил один из посредников, обращаясь к съезду,— письмо, полученное мною на днях от землевладельца, господина Пичугина.

— Слушаем-с,— ответил председатель и сделал серьезное лицо.

Посредник начал читать:

«Милостивый государь, Иван Андреевич, не имея я чести быть лично с вами знаком, имею честь довести до сведения вашего следующий анекдот. 186[3] года, мая 12-го числа, крестьянин-собственник сельца Ждановки, Антон Тимофеев, приидя ко мне на барский двор в развращенном виде, с наглостию требовал от меня, чтобы я отдал ему его баб, угрожая мне в противном случае подать на меня жалобу мировому посреднику. И когда я выслал ему сказать чрез временно обязанную женщину мою Арину Семенову, что по условию я могу пользоваться его бабами все лето, то он за это начал

женщину мою всячески ругать, называя ее *стерва* и при том показывая ей язык. После этого что же, всякая скотина может безнаказанно наплевать мне в лицо! Конечно, они теперь вольные и могут все делать. Но я этого так не оставлю и буду просить высшие власти о защите меня от притеснения и своеволия мужиков. Нет, это много будет, если всем их пошлостям подражать. Им и без того отдано все, а мы лишены всего. Имею честь быть...» и проч.

— Господа! — воскликнул один из стоявших у стола помещиков,— господа, кому угодно пари, что господин Пичугин этого, как его, собственника-то, собаками затравил?

— Ну, вот!

— Да не угодно ли на пари? Я его знаю. Вы не верьте тому, что он пишет. Это он все врет, все сам сочинил.

Начался спор. Собрание между тем, поручив посреднику исследовать дело на месте, перешло к рассмотрению проекта, представленного одною помещицею, желавшею переселить крестьян в безводную пустыню. Немец, поверенный этой барыни, развернул план и положил его на стол перед собранием. Посредники стали рассматривать план: пустыня и на плане оказалась безводною; но, несмотря на это, поверенный утверждал, что для самих же крестьян так будет лучше. Позвали крестьян. Они вошли, осторожно ступая по крашеному полу, поклонились и встряхнули головами. Председатель начал им объяснять желание помещицы и указал на плане участок. Мужики выслушали и сказали — слушаем-с; только один из них как-то боком косился на план и, прищурив один глаз, шевелил губами. Но когда спросили их, согласны ли они на это, мужики все вдруг заговорили, полезли к плану и стали водить пальцами. Доверитель вступился и просил председателя не дозволять мужикам пачкать план. Мужикам запретили трогать его пальцами и велели отойти от стола.

— Ну, что, батюшка, как у вас свободный труд процветает? — спрашивал Щетинина один помещик, доедая бутерброд.

— Да ничего,— нехотя отвечал Щетинин.

— Ну, и слава богу,— улыбаясь, сказал помещик.— Мужички ваши все ли в добром здоровье, собственнички-то, собственнички? а? То-то, чай, богу за вас молят? Теперь какие небось каменны палаты себе построили. Че-ево-с?

— Почем я знаю,— с неудовольствием сказал Щетинин.

— Да; или вы нынче уж в это не входите? Так-с. Нет, вот я, признаться,— немного погодя прибавил помещик,—

все вот хожу да думаю, как бы мне своих на издельную повинность переманить; а там-то бы уж я их пробрал; я бы им показал кузькину мать, в чем она ходит, они бы у меня живо откупились. Да, главная вещь, нейдут, подлецы, ни туда ни сюда.

— Как поживаете? — говорил Щетинин, раскланиваясь с другим только что вышедшим из буфета помещиком.

— Вот как видите,— отвечал тот.— Закусываем. Как же нам еще поживать? Ха, ха, ха! Вот с Иван Павлычем уж по третьей прошлись. Да, черт, их не дождешься,— говорил он, указывая на посредников.— Господа, что же это такое наконец? Скоро ли вы опростаетесь? В буфете всю водку выпили, уж за херес принялись.

— Да велите накрывать,— заговорили другие.

— Стол нужен.

— Господа, тащите их от стола!

— Эй, человек, подай, братец, ведро воды, мы их водой разольем. Одно средство.

— Ха, ха, ха!

— Нет, серьезно, господа. Ну, что это за гадость! Все есть хотят. Кого вы хотите удивить?

— Что тут еще разговаривать с ними! Господа, вставайте! Заседание кончилось. Дела к черту! Гоните мужиков! Эй, вы, пошли вон!

Таким образом кончилось заседание. Посредники, с озабоченными и утомленными лицами, складывали дела, снимали цепи, потягивались и уходили в буфет.

— Александр Васильич, голубчик, давно ли вы здесь? — говорил один из них, подходя к Щетинину.— Позвольте вас поцеловать, душа моя. Et, madame votre épouse, comment se porte-t-elle?[1]

— Благодарю вас. Мой товарищ, Яков Васильич Рязанов; мировой посредник нашего участка, Семен Семеныч,— познакомьтесь,— говорил Щетинин.

— Очень рад, очень рад,— говорил посредник, расшаркиваясь и пожимая руку Рязанову.— Ах, позвольте, ваша фамилия мне знакома — Рязанов.— Да. Теперь я помню. Мы с вашим батюшкой вместе служили.

— Что же вы с ним, всенощную или обедню служили? — спросил Рязанов.

— То есть как?..

— Я не знаю, как. Должно быть, соборне. А то как же еще?

---

[1] Как здоровье вашей супруги? *(фр.)*

Посредник с недоумением смотрел на Рязанова.

— Да разве ваш батюшка не служил в гродненских гусарах?

— Нет; он больше в селах пресвитером служил.

— То есть...

— Попом-с.

— Да. Ну, так это не тот Рязанов, которого я знал,— конфузясь, говорил посредник.

— Я думаю, что не тот.

Стали стол накрывать. В ожидании обеда дворяне прохаживались по зале, закусывали и разговаривали.

— Господа, послушайте-ка!

— Ну!

— Не слыхал ли, или не читал ли кто,— земство, что за штука такая?

— Ну, вот еще что выдумал? Давай я тебя за это поцелую.

— Да нет, постой, братец, нельзя же.

— Чего тут нельзя! Иди-ка, брат, лучше водку пить. Разговаривать тут еще... земство! Тебе какое дело?

— Как какое дело? Это вы отчаянные головы, вам все нипочем, а у меня, брат, дети. Господа, нет, серьезно, скажите, коли кто знает!

— Вот пристал!

— Пристанешь, брат. Ты небось за меня не заплатишь.

— Изволь, душка, заплачу, только пойдем вместе выпьем по рюмочке.

— Уйди ты от меня, сделай милость! Иван Павлыч, вы, батюшка, не знаете ли? Вы, кажется, журналами-то занимаетесь.

— Что такое?

— О земстве не читали ли чего?

— Как же, читал.

— Ну, что же?

— А ей-богу не знаю, голубчик.

— Да нет ли газет каких-нибудь?

— Какие тут газеты? Вон поди в буфете спроси! Эй, человек, подай ему порцию газет!

— Черти! всю водку вылакали. Налей мне хоть рому, что ли!

— Так как же насчет земства-то? А? Так никто и не знает?

— Спроси у предводителя.

— Предводитель, скажи, братец, на милость, никак я толку не добьюсь, какая такая штука это земство? Что за зверь? По́дать, что ли, это какая? А?

— А это, вот видишь ты, какая вещь...

— Да ты сам-то знаешь ли?

— Ну, вот еще. Мне нельзя не знать.

— То-то. Смотри не ври. Ну!

— Это дело, как бы тебе сказать? государственное.

— Ну, да ладно. Об этом ты нам не рассказывай; а вот суть-то, главная суть-то в чем?

— Тут, брат, вся сила в выборах.

— Вот что. Кого же выбирать-то?

— Выборных.

— Да. Опять-таки выборных же и выбирать. Ну, а за коим же чертом их выбирать-то станут?

— А они там это будут рассуждать.

— Да, да, да. О чем же это они будут рассуждать?

— Об разных там предметах: об дорогах, о снабжении мостов и так далее.

— Да. Это, значит, по дорожной части. Ну, и за это мы им будем деньги платить? Так, что ли?

— Так.

— Ну, брат предводитель, спасибо, что рассказал. Теперь пойдем по рюмочке дернем.

За несколько минут до обеда на улице загремели бубенчики, и у крыльца остановилась взмыленная тройка отличных серых коней. В залу вошел полный, румяный молодой помещик в английском пиджаке, с пледом на руке.

— Петя! душка! Вот он, урод! Мамочка! давно ли?..

— Что у вас тут такое? Сословия сближаются? Ах, вы, шуты гороховые! Где же мужики-то?

— Какие мужики? Они там, на крыльце.

— А как же сословия-то?

— Ну, вот еще, сословия!

— Зачем же вы наврали?

— Кто тебе наврал? Вон, гляди, видишь, Лаков сидит Чего же тебе еще?

На диване действительно сидел купец с красным носом и бессмысленно водил глазами.

— Да он, скотина, и теперь уж пьян. Лаков, что, брат, ты уж успел?

— Успел,— кивая головой и улыбаясь, отвечал купец.

— Экое животное!

— Нельзя... ярмонка.

Из буфета выглядывал другой купец и, стоя в дверях, подобострастно кланялся, не решаясь войти в залу.

— А! и ты здесь, чертова перечница! Что же ты сюда нейдешь?

— Он не смеет.

— Я не смею-с.

— Ну, хорошо, братец; стой там, стой! Мы тебя после обеда посвятим.

— Посвятим, посвятим...

Купец кланялся.

Подали суп. Стали садиться за стол. Купец Лаков тоже взялся за стул.

— Что ж, господа, мне-то можно?

— Садись, чучело, садись, ничего.

Купец сел.

— Эй, половой, подай графин водки!

— За стол водку не подают. Что ты? разве здесь кабак? — говорили купцу соседи.

— Ну, шампанского. Черт те дери!

— Много ли-с?

— Полбутылки.

— Эх ты! полбутылки! Мужик! Где ты сидишь, вспомни!

— Что ж такое? Ну, мы полдюжину спросим. Подай полдюжины!

— Слушаю-с.

— Да закусить чего-нибудь, солененького. Проворней! Эх, в рот те шило...

— Лаков, веди себя скромней,— кричали ему с другого конца.

— Я и так скромно.

— Господа, слышали, в Саратове какой случай был?

— Какой?

— Поджигателей поймали. Теперь там такое дело... оказывается, что тут замешаны разные лица...

— Эка штука! У нас мужики двоих поймали; взяли, дурачье, и отпустили.

— А что, позвольте вас спросить,— спросил Рязанова его сосед, уездный учитель,— телеграмму посылать будут?

— Я не знаю.

— Что он такое говорит?

— Я говорю-с насчет телеграммы.

— Какой телеграммы?

— То есть от всех сословий, вот теперь, во время обеда. Разве не будут?

— Нет; телеграммы не будет, а вот речь Петр Михайлович произнесет — на латинском языке.

— Ах, в самом деле! Петя,— кричал один посредник,— речь, брат, непременно сегодня речь!

— Уж это после обеда,— отвечал Петя.

— Нет, он на прошлой неделе,— мы с ним на охоте были,— уморил: собрал мужиков и им латинскую речь сказал

— Ха, ха, ха!

После супа захлопали пробки и стали разносить шампанское.

— Господа, за соединение сословий! Лаков, слышишь, чучело?

— А, дуй вас горой!

— Ха, ха, ха! Однако ты, чертов сын, не ругайся!

— «Устюшкина мать собиралась умирать...» — затянул Лаков.

— Этих свиней никогда не надо пускать,— рассуждали дворяне.— Вот посадили его за стол, а он и ноги на стол.

— «Умереть не умерла, только время провела». Что ж такое? Я за свои деньги... Ай у нас денег нет?

— Иван Павлыч, ваше здоровье,— чокались через стол помещики.

— Эх, драть-то вас на шест,— кричал между тем Лаков.

— Господа, что же это такое?

— Mais, mon cher, que voulez-vous donc? c'est un paysan[1].

— Эй, послушай, ты, мужик,— говорил Лакову один помещик.— Если ты, скотина, еще будешь неприлично себя вести, тебя сейчас выведут.

— Ты недостоин сидеть с порядочными людьми за столом.

Лаков струсил.

— Будешь смирно сидеть?

— Я смирно. Истинный бог... Подлец хочу быть,— смирно.

— Ну, так молчи же, не ругайся!

— В тринклятии провалиться — не ругался.

— Господа, за процветание клуба,— провозгласил предводитель.

— «Устюшкина мать...» — заревел Лаков.— Ай у нас денег нет? Всех вас куплю, продам и опять выкуплю.

— Нет, это из рук вон. Его нужно вывести.

— Вот они деньги,— получай! Эй! Кто у вас тут по-

---

[1] Но чего же ты хочешь, мой милый? ведь это мужик! (фр.)

лучает,— получай! Триста целковых... на всех... жертвую, раздуй вас горой!..

— Вывести, вывести его! — кричали дворяне.

— Стой,— говорил Лаков.— За четыре бутылки назад деньги подай! Ладно. Ну, теперь выводи!

Через час после обеда дворяне ходили по комнатам, как во сне все что-то говорили друг другу, кричали, пели и требовали всё шампанского и шампанского. В одной комнате хором пели какую-то песню, но потом образовалось два хора, и уж никто никого не слушал; только и можно было разобрать:

— Кубок янтарный...

— Чтобы солнцем не пекло...

— Полон давно...

— Чтобы сало не текло.

— Господа, это подлость!.. Ура-а! шампанского!.. Пей, пей, пей!.. Позвольте вам сказать!.. чтобы солнцем... Поди к черту! Ура! Шампанского!..

В то же время один помещик, сидя на столе, выводил тоненьким голоском: «Век юный, пре-елестный, дру-у-зья-аа, про-о-ле-етит...»

— Во-одки!— вдруг заорал кто-то отчаянным голосом.

В другой комнате происходило посвящение купца Стратонова. Судья, сидя на кресле, произносил какие-то слова, а хор повторял их. Два посредника держали под руки купца Стратонова и заставляли его кланяться судье. Купец кланялся в ноги и просил ручку. Судья накрывал его полою своего сюртука и произносил «аксиос», «аксиос»; хор подхватывал; третий посредник махал цепью, как будто кадилом.

Щетинин с Рязановым вышли на крыльцо. Смеркалось. У ворот клуба их уже дожидался запряженный тарантас. На дворе видно было, как один помещик стоял, упершись в стену лбом, и мучительно расплачивался за обед.

Перед освещенными окнами клуба стояли мальчики и вели между собою следующий разговор:

— Ты туда не ходи! Там мировой.

— Это съезд.

— Он тебя съест.

— Кто?

— А мировой-то. Ишь ты! Ишь! Вон он какой страшный! Глядите, братцы! Зубы-то, зубы!..

— Ур-а-а! — ревели в клубе дворяне и кидали в окна пустые бутылки.

По улицам бродили пьяные мужики. Ярмарка кончилась.

— Что ты такое начал рассказывать, когда я приехал, помнишь? — про какое-то социальное дело? — спросил Рязанов своего товарища, когда они выехали в поле.

— Нет, оставь это, прошу я тебя, сделай милость, оставь,— ответил Щетинин.

VI

Щетинин с Рязановым вернулись из города ночью, часу в первом; Рязанов отправился к себе во флигель, а Щетинин прошел прямо в кабинет, разделся, прочел письма, развернул газету и, облокотившись над нею, задумался.

Прошло несколько минут.

— Кушать не будете? — угрюмо спросил его лакей.

— А?

Щетинин как будто очнулся.

— Кушать не будете? — тем же тоном и так же угрюмо повторил лакей.

— Нет, не буду.

Лакей хотел было уйти.

— Постой! Что... а-а... барыня уж легла, не знаешь?— сбиваясь и разглядывая газету, спросил Щетинин.

— Не могу знать.

— А-а... здоровы... здорова она?

— Не могу знать.

Щетинин нахмурился и исподлобья посмотрел на лакея: лакей, заложив одну руку за спину, а в другой держа сапоги, стоял у притолоки и исподлобья смотрел на барина.

— Что это у вас за привычка,— раздражительно начал Щетинин: — «Не могу знать», да «никак нет»? Черт знает, точно рекруты какие-то.

Лакей переступил с ноги на ногу и продолжал молча смотреть на барина.

— Просишь, кажется, ведь,— нет!

Молчание.

— Последний раз прошу: не говори так, сделай милость!

— Слушаю-с.

Щетинин махнул рукой.

— Ступай! ступай уж,— говорил он умоляющим голосом.

Лакей ушел...

Щетинин поправил газету, хлопнул по ней ладонью и принялся было читать; но сейчас же забарабанил пальцами по столу и загляделся на подсвечник. Тихо стало; слышно, как на дворе лошадей отпрягают... вдруг где-то, в дальних комна-

тах, что-то стукнуло, и зашуршало женское платье... Щетинин вздрогнул, поднял голову и начал прислушиваться: пол заскрипел... шелест все ближе и ближе... вот прошла в залу... задела платьем за стул... повернула в столовую...

— Друг мой, прости меня,— говорила Марья Николавна, входя в кабинет.

Щетинин бросился к ней и крепко схватил ее за обе протянутые к нему руки.

— Я тебя огорчила,— прости! Я сама теперь вижу, что ты все-таки хороший, хороший человек.

Щетинин положил ей на плечи свои руки и нежно смотрел ей в глаза.

— Это совсем не нужно было, что я наговорила тебе. Я ужасно раскаивалась...

Она сказала все это нежным, но твердым голосом; в глазах были слезы.

— Ну, полно, полно,— говорил Щетинин, целуя ее в голову.

— Нет, знаешь, я после, как ты уехал, целый день и тогда ночью тоже все думала, думала... Все свои мысли передумала сначала.

— Сядем,— сказал он, обняв жену и усаживая ее на диван.— Ну, что же ты выдумала?

Он вздохнул, прислонился головою к ее плечу и закрыл глаза.

— Как же ты меня измучила-то!

— Прости!

— Ну, да что тут! Это все пустяки. Нет, я уж вообразил, что... Впрочем, рассказывай, рассказывай!

— Что ты вообразил?

— Все вздор. Ведь уж прошло, так чего же еще? А ты мне вот что скажи: что это с тобой случилось?

— Да как тебе сказать? — не знаю. Мне кажется, что со мной ничего особенного не случилось; а так вдруг представилось мне, что вот все это,— лечение там и что хозяйством я занимаюсь, что все это ужасные глупости.

— Да почему же? Ведь прежде это тебе не приходило в голову?

— Прежде? Видишь ли! Как бы тебе это рассказать?.. До сих пор я все еще чего-то ждала, до последней минуты ждала; я не рассуждала, я и не думала даже ничего, я просто верила, что так нужно почему-то. Ты мне сказал тогда, давно еще: «Маша, займись хозяйством, пожалуйста!» Ну, я и стала заниматься; потом пришли больные мужики, ты мне сказал:

«Маша, ты бы там пошла поглядела, что у них». Я и стала лечить. Ну, и ничего. Я так все и жила и жила... Я точно будто во сне была все это время. А тут вдруг эти споры начались.

— Так это, значит...

— Что?

— Нет, ничего, ничего. Так что же дальше-то?

— Сначала мне казалось, что это он так, нарочно; потом одно время, помнишь, когда он все советовал тебе судиться с мужиками? Ведь он смеялся тогда. В это время я не знаю что, я просто готова была его убить. Я только не говорила тебе, а я все об этом разговоре думала, припомнила каждое слово... А ведь это все правда.

— Что правда?

— Да он говорил. Правда ведь? да?

— Мм...

— Нет, в самом деле, подумай; что мы такое делаем? Помещики как помещики. Меня это мучило ужасно. Ну, положим, ты вот все говоришь, что ты там пример, что ли, им хочешь показать, ну, я не знаю. Нет, а я-то что же тут?

Щетинин ничего не отвечал. Он, нахмурившись, глядел в окно и отвертывал кисть у своего халата. На дворе начинало светать.

— Вспомнила я,— помолчав немного, заговорила опять Марья Николавна,— вспомнила, как мы с тобой сначала говорили там о разных жертвах, а теперь посмотрела: какие же это жертвы? Это так, забава. Занимаюсь я этим или нет,— решительно все равно. Да и что это за занятие? Обед заказать, белье отдать выстирать,— так это и без меня само собой сделается; а там пластырь какой-нибудь дать мужику, так я еще и не знаю, что я даю. Может быть, ему даже еще хуже будет от этого. Я ведь не училась быть доктором, я ничего не умею. Так что же я могу сделать?

— Ну, расскажи-ка лучше, что же ты придумала,— прервал ее Щетинин.

— А вот что,— сказала она, приложив палец к щеке и как будто во что-то всматриваясь.— Я теперь все поняла. Ты тут совсем не виноват.

Щетинин немного повел бровями.

— Помнишь, тогда с мужиками ты все хлопотал, чтобы они... как это?

— Ну, да; ну, да,— нетерпеливо сказал Щетинин.

— Чтобы у них все было общее. Как это называется?

— Да все равно. Так что же ты-то думаешь теперь?

— Погоди, не перебивай меня! Что я хотела? Да. Вот ведь ты тогда ошибся?

— Ошибся,— тихо ответил Щетинин.

— Ведь ты им добра желал?

— Да...

— Так почему же это не удалось?

— А потому, что они дураки,— резко ответил Щетинин.

Марья Николавна приостановилась.

— Своей же пользы не понимают,— прибавил Щетинин и, привстав на локте, потянул к себе подушку.

— Так за что же ты на них сердишься? — с удивлением спросила Марья Николавна.

— И не думаю. С какой стати мне на них сердиться?

— Ну, да. Ведь они в этом не виноваты, что не понимают. Они ошибаются. Ты и сам тоже ошибался. Их надо учить, тогда они поймут. Так ведь?

— Конечно,— размышляя, ответил Щетинин.— Только кто же это их будет учить? Уж не ты ли? — поднимая голову, спросил он.

— Да, я. Что ты на меня смотришь? Ну, да. Я буду их учить. Наберу детей и заведу у себя школу. Ведь это хорошо я придумала? а?

Щетинин опять опустил голову на подушку и сказал:

— Разумеется. Что ж тут. Только я не знаю...

— Что ты не знаешь? Сумею ли я справиться с этим делом?

— То-то, сумеешь ли? Ведь тут терпенье страшное...

— Не беспокойся. Насчет терпенья я.. да притом, вот и Рязанов,— ведь он проживет здесь все лето,— он мне поможет, расскажет, как надо все делать.

— Рязанов?!. Да.— Щетинин поморщился.— Нет, уж ты лучше с этим к нему не обращайся.

— Почему же?

— Да так. Он вообще...

— Что вообще?

— Вообще... он на это смотрит как-то странно.

Марья Николавна задумалась.

— Да разве ты с ним говорил что-нибудь об этом?

— Нет, не говорил, но мне так кажется, судя...

— Да нет; не может быть. Он не такой. Я, впрочем, сама с ним поговорю.

— Да. Ну, так, стало быть,— говорил Щетинин, при-

подымаясь и заглядывая Марье Николавне в лицо,— стало быть, ты не сердишься. Это главное.

— Нет: да ведь я и тогда не сердилась. Ведь это совсем не то. Ну, что же там в городе?

— Чтó, в городе такая мерзость! Перепились все, как сапожники. Только всего и было. Однако уж светает.

— В самом деле,— сказала Марья Николавна вставая.— Так я завтра же начну это. Переговорю, во-первых, с Рязановым...

— Да, да; это хорошо.

— А потом... и начну. Только вот... Погоди!

Щетинин хотел ее обнять.

— Только вот книг нужно достать.

— Достанем, всего достанем.

— Ты в город-то ездил. Ах, какая я глупая!

— А что?

— Ты там бы мог купить.

— Что ж такое? Можно послать.

— Так ты завтра же... постой! завтра же пошли!

— Пошлю. Как же я устал-то, господи! — говорил Щетинин, потягиваясь.— Ну, теперь спать!

VII

На другой день Щетинин встал раньше всех, один напился чаю и уехал на хутор, на целый день.

Марья Николавна долго ждала Рязанова за самоваром, наконец послала за ним во флигель,— оказалось, что он чуть свет ушел куда-то и еще не возвращался. Она пошла было в сад, но потом вдруг вернулась домой. Придя в свою комнату, она открыла рабочий столик, достала оттуда начатые рукавчики, взяла иголку и принялась было шить; потом опять распорола, выдернула иголку, оторвала кончик нитки и опустила руки на работу. Так просидела она с полчаса, отвернувшись в сторону и в раздумье перебирая пальцами свое платье; только глаза ее медленно переходили с одной вещи на другую, ни на чем не останавливаясь и ничего не выражая, кроме одной какой-то мысли, которая не давала ей покоя. Пасмурный свет из окна, проходя сквозь зеленую занавеску, бледно ложился на одну сторону ее красивого, но и без того печального лица, неясно обозначая щеку, висок с неподвижною бровью и далеко откинутую назад темную косу.

Вошла горничная.

— Что ты, Поля? — мельком взглянув на нее, спросила Марья Николавна.

— Блюзку запошить прикажете или только сметать пока вперед-иголку?

— Все равно. Сама увидишь, как лучше.

Горничная молчала.

— Ну, запошей, что ли.

— Там вон девочку привели,— улыбаясь, сказала горничная.

— Какую девочку?

— Да мать привела, крестьянскую. Больная.

Горничная фыркнула.

— Что ж ты смеешься?

— Очень уж смешно. У девочки в ухе...

Горничная опять засмеялась.

— Что ж у ней в ухе?

— Горох вырос.

— Как горох вырос?

— Да извольте сами посмотреть. Обыкновенно, ребятенки баловались, засунули ей в ухо горошину; он у ней там и вырос. Видно, извольте поглядеть, из уха росток торчит.

Оказалось, у девочки действительно из уха виднелся росток. Марья Николавна достала шпилькою горошину и налила девочке в ухо деревянного масла. Баба вытащила из-за пазухи четыре яйца и подала их Марье Николавне.

— Зачем это? Мне не надо.

— Ну! — сказала баба, все-таки отдавая яйца.

— Нет, право, мне не надо.

— Ну! Ничаво.

Баба старалась поймать ее руку.

— Ах, какая ты! Ведь я тебе сказала, что не возьму,— говорила Марья Николавна, спрятав свои руки.

— О? Ну, мотри же! А то возьми! Что ж?.. Ничаво.

— Не возьмет. Дура! говорят тебе,— смеясь, прибавила горничная.

— Да ведь у нас денег нету. Какие у нас деньги?

Марья Николавна улыбнулась.

— А то я пзнички принесу коли.

— Ничего мне не надо.

— Ну, благодарим покорно,— кланяясь, говорила баба.— Целуй у барыни ручку,— сказала она своей девочке.— Проси ручку! Сопли-то утри! Скажи: пожалуйте, мол, сударыня, ручку! Проси скорей!

— Нет, нет; и этого не надо,— конфузясь, говорила Марья Николавна.— А ты лучше вот что послушай-ка!

— Чаво-с?

Баба самой себе утерла нос.

— Ты из какой деревни?

— Мы-то?

— Ну, да.

— А мы вот Ка́менски.

— Это недалеко ведь, кажется?

— Возле́. За речкой-то вот.

— Который год твоей девочке?

— Девочки-ти? Да, мотри, никак девятый годочек пошел.

Марья Николавна нагнулась к девочке и взяла ее за подбородок. Девочка пугливо вскинула глазами кверху и ухватилась за подол своей матери.

— Как тебя зовут? — спросила девочку Марья Николавна.

Девочка молчала.

— Что ж ты, дура, молчишь? — говорила ей мать.— Скажи: Фроськой, мол, сударыня. Говори скорей!

— Фроськой,— прошептала девочка, схватилась обеими руками за мать и уткнулась носом ей в живот.

— Послушай, милая,— вдруг как-то решительно заговорила Марья Николавна и улыбнулась.— Отдай ее мне, я буду ее учить.

Баба взглянула на Марью Николавну и тоже улыбнулась и, нагнувшись к девочке, сказала:

— Вон, слышишь, барыня-то что говорит? Учить, говорит. Чу, мотри не балуй! Как забалуешь, учить.

Девочка взглянула на Марью Николавну и сейчас же опять спряталась.

— Ах, нет. Ты не понимаешь,— торопливо заговорила Марья Николавна.— Я ведь это не нарочно говорю. В самом деле, давай я ее буду учить.

— Ох, уж барыня! Что только они выдумают! — смеясь, говорила горничная.

Баба смотрела на них в недоумении.

— Грамоте учить. Знаешь, читать и писать,— толковала бабе Марья Николавна.

— Это на что же так-то? — не понимая, спрашивала баба.

— Она у тебя грамотная будет; будет уметь читать и писать, сосчитать, когда что нужно, письмо написать...

Горничная фыркнула себе в руку.

— Какая ты... странная! Что ж тут смешного? — вспыхнув, заметила Марья Николавна.

— Ох, уж и не знаю...— говорила баба, улыбаясь и посматривая на горничную.

— Чего ж тут не знать? Это очень просто,— зачастила Марья Николавна.

— Ох, нет. Ох, уж не замай же она... Нет, уж помилуйте, сударыня!

— Да отчего же?

— Нет, уж сделайте божескую милость,— низко кланяясь, говорила баба.— Что с нее взять? малый робенок.

Баба придерживала девочку, как будто у ней кто-нибудь хотел ее отнять. Девочка вдруг заревела.

— Ты, может, боишься, что ей здесь будет нехорошо?

— Нет, уж помилуйте, сударыня! Одна она у меня, девочка-то. Коли так, уж легче же я курочку вам принесу за лечение.

Марья Николавна молча постояла перед бабою, грустно улыбнулась, посмотрела на нее и сказала:

— Не надо. Ни курочки, ни девочки твоей мне не надо. Успокойся! — и ушла опять в свою комнату.

Немного погодя она вышла на крыльцо с зонтиком в руке и отправилась в людскую.

В людской сильно пахло щами и горячим ржаным хлебом, который лежал на лавке, прикрытый полотенцем. У окна сидел кучер и курил трубку; стряпуха собралась было разуваться и поставила одну ногу на скамейку; по полу, отрывисто чавкая, бродил поросенок; рядом с кучером, на лавке же, сидела двухлетняя девочка и ковыряла большою деревянною ложкою в пустом горшке, из которого всякий раз шумно вылетали мухи.

Кучер говорил девочке, дотрагиваясь до нее трубкою:

— Грушка!

— Мм! — с неудовольствием отзывалась девочка.

— Это у тебя что?

— Ммм!..

— Что это у тебя?

— Мм-ма-а! — кричала девочка, хлопая ложкою по горшку.

— Что ты, охальник, к робенку-то пристаешь! — кричала стряпуха.

В это время вошла Марья Николавна. Кучер встал и спрятал трубку за спину, стряпуха тоже встала и обдерну-

лась. Марья Николавна поклонилась им, посмотрела вокруг и сказала:

— Как тут пахнет!

Кучер со стряпухою ничего не ответили. Марья Николавна подошла к девочке, погладила ее по голове и спросила:

— Это Груша?

— Грушка-с,— кланяясь, подтвердила стряпуха.

— Гм. Маленькая,— вполголоса произнесла Марья Николавна, постояла еще несколько минут, взглянула на печку и заметила, что тараканов много.

— Довольно-с,— сказал кучер.

— Вы хоть бы выводили их.

— Выводили-с,— ответила стряпуха.

— Ведь это для себя же,— добавила Марья Николавна.

— Это справедливо,— подтвердил кучер.— Насчет чистоты ежели.

— Бог их знает. Уж и не знаю, что с ними делать,— говорила стряпуха, с сокрушением глядя на тараканов.

— Варом нет лучше,— заметил кучер, подходя к печке.

Сказав это, он сбросил одного таракана на пол и раздавил его ногою.

— До смерти не любит, как ежели его ошпаришь,— ту ж минуту помирает.

— Ну, да,— рассеянно сказала Марья Николавна.— А где столяр? — вдруг спросила она.

— Да никак они там, с Иван Степанычем, скрыпку, что ли-то, налаживают,— ответила стряпуха.

— Какую скрыпку? клетку строют для чижа,— сказал кучер.

— И то, мотри, клетку, а я скрыпку,— поправилась стряпуха.

— В сарае балуются,— добавил кучер.

Марья Николавна вышла на двор и послала кучера за столяром.

Пришел столяр, скинул с головы ремешок и поклонился.

— Послушай,— сказала ему Марья Николавна,— не можешь ли ты сделать стол?

— Что ж, это можно-с,— подумав, ответил столяр.

— Простой, понимаешь, совсем простой.

— Слушаю-с. А сколь велик будет стол?

— Да вот этак, я думаю.

Она показала зонтиком на земле.

Столяр поглядел и сказал:

— Ничего. Это можно-с.

— И еще две скамейки такие, длинные.

— И это все ничего, Бочка́, значит, в наград.

— Ну, я это не понимаю.

— Все дюйма полтора толщины доски потребуются,— говорил столяр, показывая два пальца.

После того Марья Николавна прошла во флигель, где жил Рязанов, и велела там очистить одну пустую комнату, всю заваленную разным хламом; а сама отправилась по дороге к селу. Солнце пекло; она шла скоро, слегка шмыгая платьем, и прищурясь смотрела вперед. Неподалеку от церкви попался ей старый, проживавший в селе мещанин. Он шел с мельницы, с удочками на плече, и нес на веревочке пескарей.

— Мое вам почтение, сударыня,— сказал он, низко кланяясь.

— Ах, здравствуйте!

— Гулять изволите?

— Да.

— Очень прекрасно-с.

— Вы, кажется, рыбу ловили?

— Что делать, сударыня,— большую охоту имею.

— Семейство ваше как?

— Благодарю моего создателя,— слава богу-с.

— Дети ваши что делают? Старший где?

— Учится-с.

— Где же?

— Комзино село изволите знать? ну вот-с, в мальчиках у купца в лавочке. Сам пожелал Федю моего у себя иметь, призывает. Приходим.— Какое, говорю, будет ваше положение? — А наше положение, говорит, будет вот какое: на первый раз, говорит, мы ему ничего не положим; а там посмотрим, ежели, говорит, будет стараться, тогда что положим.— Подумали, подумали мы с супругой: что ж, нечём ему баловаться-вешаться, незамай же он учится. Так и отдали.

— Ну, а младший?

— Материн баловник. Махонький дома пока при матери-с. Тоже учится, родителей утешает.

— Кто же его учит?

— Сама-с.

— И охотно учится?

— Охотник смертный. И теперече, доложу вам, не то чтобы бить, а даже то есть пальцем не трогаем.

— Как же вы делаете?

— Пряником-с. Пряником, и кончено дело-с. Возьмет это мать в руки пряник. «Ну-ка, говорит, Миша, прочитай богородицу!» И ту ж минуту садится, книжку берет, молитву читает. И так это чудесно мать приучила, занялся; верите ли, в одну неделю всю азбуку понял.

— Вот как. Прощайте!

— До приятного свидания-с.

Марья Николавна пошла дальше. На селе было совсем пусто; старухи, сидевшие у ворот, вставали и низко кланялись ей издали. Под одним амбаром лежала куча ребятишек, тут же прыгала привязанная за ногу галка. Марья Николавна заглянула под амбар и спросила:

— Что вы тут делаете?

Ребятишки притаились. Она нагнулась еще ниже, поглядела на них — они стали прятаться друг за друга.

— Приходите ко мне ужо, я вам гостинцев дам,— ласковым голосом сказала она им.

Молчат.

— Придете, что ли? Зачем вы галку-то мучите? — спросила она, не дождавшись ответа.

Из-под амбара кто-то дернул за веревку, галка закричала и, ковыляя на одной ноге, скрылась под амбаром.

Марья Николавна постояла еще немного, вздохнула и пошла. Она остановилась у священнического дома и хотела отворить калитку; на дворе залаяла собака, но калитка была заперта изнутри и не отворялась.

— Кто там? — недовольным голосом спросил батюшка со двора.

— Это я, Марья Николавна.

— Ах, извините, сударыня! Пожалуйте!

Батюшка был в одном полукафтанье, с засученными рукавами; он заторопился и, продолжая извиняться, ввел Марью Николавну в горницу.

— Я к вам только на минуту,— говорила она входя.— Здравствуйте, матушка!

Матушка поклонилась и вдруг бросилась сметать со стола.

— Я вам, кажется, помешала.

— Нет, ничего-с. Помилуйте! За честь почту, что удостоили. А я, признаться, тут по хозяйству, было... Коровке вот бог дал,— отелилась; ну, я, знаете, сам... Все тут: и хозяин и бабушка. Ха, ха, ха! Что делать?

Марья Николавна улыбнулась.

— При народе-то, знаете, немножко неловко,— вполго-

лоса прибавил батюшка.— Так как, можно сказать, служитель алтаря, ну, оно, знаете, странно несколько. Соблазн для простых людей.

— А я было к вам за делом, батюшка,— начала Марья Николавна.

— Самоварчик не прикажете ли? — спросила матушка.

— Нет, нет; благодарю вас. А я вот что, батюшка...

— Что вам угодно, сударыня? Вы извините меня, ради бога, что я так. Сейчас рясу надену.

— Зачем же это? Не беспокойтесь.

— Нельзя же-с. Все, знаете, приличие требует.

Батюшка сходил за занавеску, надел рясу, пригладил волосы, кашлянул, наконец вышел и сказал:

— Еще здравствуйте!

— Я, батюшка, к вам поговорить пришла,— торопливо начала Марья Николавна.— У нас тут в селе школа есть.

— Да-с.

— Там ведь крестьянские дети учатся. Так я вот что придумала: мне бы самой хотелось их учить.

— То есть как-с?

Батюшка откинулся назад и прищурился.

— Да так просто учить читать, писать; ну, вообще, что сама знаю: географию там, арифметику?..

— М-да-с,— размышляя, говорил батюшка.— Что же-с? это как вам угодно. Конечно...

— Вот видите ли, мне хочется занятие найти; а то ведь я что же? Я ничего не делаю. Так все равно время... а тут по крайней мере польза.

— Без сомнения,— говорил батюшка, глядя в пол.

— Ну, и девочек я могла бы рукодельям учить... Все-таки хоть что-нибудь.

— Конечно, конечно-с. Только вот изволите видеть... Теперь у нас этим самым делом писарь заведует. Человек он небогатый; ну, а крестьяне тоже много дать не могут: мучки там или крупиц, кто что.

— Ах, да ведь я, разумеется, даром буду учить,— перебила его Марья Николавна.

— Нет-с, я насчет писаря-то, что ему-то оно, знаете, помощь, как бедному человеку; ну, а ежели они у вас будут учиться...

Марья Николавна задумалась было, но сейчас же спохватилась и сказала:

— Да. Но это ничего. Ему можно заплатить. Это ничего.

— Дело ваше,— сказал батюшка и развел руками.

Посидев еще немного, Марья Николавна встала и ушла.

— Ишь ее разбирает,— говорил батюшка, снимая рясу.

— Ты про кого? — не расслушав, спросила матушка.

— Да все про нее же.

— Что про нее?

— Зуда, говорю.

— О!

— А это все тот жеребец настроивает, он; непременно.

— Уж это как бог свят.

Вернувшись от батюшки, Марья Николавна зашла опять во флигель и остановилась в дверях; стряпуха, засучив платье, ходила на четвереньках по комнате и мыла пол. Марья Николавна постояла немного, осмотрела стены, велела открыть окно и вошла в контору.

— Газеты привезли? — спросила она, входя в контору.

— Чего-с? — крикнул Иван Степаныч, высунувшись в одном жилете из своей каморки, и опять спрятался.

— Привез вчера Александр Васильич из города газеты?

— Привезли-с,— входя в комнату уже в сюртуке, отвечал Иван Степаныч.— Кокандцев разбили, этих самых англичан у них отняли,— объяснял он, счищая пух с сюртука.

— Каких англичан?

— Или итальянцев, что ли. Пес их знает. Вообще европейского звания. Военнопленных. Ну, а между прочим, феферу им задали порядочного.

— Вот что,— рассеянно заметила Марья Николавна.

— Да-с,— прибавил Иван Степаныч.— Теперь все спокойно.

— Что, Яков Васильич дома? — спросила Марья Николавна.

— Дома,— ответил из-за перегородки Рязанов.

— Можно к вам войти?

— Войдите!

— Я еще у вас тут ни разу не была,— говорила она, входя в комнату.

Она села и посмотрела вокруг.

— Здесь ничего.

— Да, ничего, только блох много.

— А я у себя школу хочу завести.

— Вот как! Что ж, это хорошо.

— Небольшую, знаете, пока.

— Небольшую?

— Пока.

— Да. Пока, а потом и больше?

— Потом, может быть, и больше.

— Да, да, да.

Рязанов встал и тихо прошелся по комнате; Марья Николавна следила за ним глазами.

— Школу,— сказал он про себя и, остановившись пред Марьей Николавной, спросил:

— Для чего же, собственно, вы желаете ее устроить?

— Как для чего?

— С какой целью то есть?

— Странный вопрос! Обыкновенно для чего: это полезно.

— Действительно.

Рязанов еще раза два прошелся из угла в угол.

— И скоро?

— Что скоро? — быстро переспросила Марья Николавна.

— Да школу-то заведете?

— Я завтра хочу начать. Мне бы, знаете, хотелось поскорей.

— То-то. Не опоздать бы.

— Я уж все приготовила и с батюшкой переговорила.

— Да? Уж переговорили?

— Переговорила.

— Ага. Так за чем же дело стало?

— Ни за чем не стало, только...

— Что-с?

— Да я хотела... как ваше мнение?

— Это о школах-то? Вообще я хорошего мнения. Вещь полезная.

— Нет, я хотела вас спросить о моей школе, что вы думаете?

— Да ведь ее еще нет. Или вы желаете знать мое мнение о том, что вы-то вот школу заводите?

— Ну, да, да. Что вы думаете?

— Что ж я могу думать? Знаю я теперь, что вам захотелось школу завести; ну, и заведете. Я и буду знать, что вот захотела и завела школу. Больше ничего я не знаю, следовательно и думать мне тут не о чем.

— А если я вас прошу подумать,— сказала Марья Николавна, слегка покраснев.

— Это еще не резон,— садясь напротив нее, ответил Рязанов.— Почему школа, для чего школа, зачем школа,— ведь это все неизвестно. Вы ведь и сами-то хорошенько не знаете, почему именно школу нужно заводить. Вон вы говорите,— полезно. Ну, прекрасно. Да ведь мало ли полезных

вещей на свете. Тоже ведь и польза-то бывает всяческая.

— Стало быть, вы находите,— подумав, сказала Марья Николавна,— что я не гожусь на это дело?

— Ничего я не нахожу. Как же я могу судить о том, чего я не знаю?

Рязанов опять встал и начал ходить.

— Какие это у вас книги?

— Разные-с.

Она взяла одну книгу, развернула и прочла заглавие.

— Что это, хорошая книга?

— Как для кого. Для вас, может быть, и хороша будет.

— Что же в ней написано?

— Написано-то в ней много, да только все это в двух словах можно бы сказать.

— Какие же это два слова?

— «Ежели ты хочешь строить храм, то прими заранее меры, дабы неприятельская кавалерия не сделала из него конюшни».

— А больше ничего нет?

— Остальное все пустяки.

— Ну, так я и не буду ее читать.

— Как хотите.

После этого разговора Марья Николавна ушла домой и до вечера просидела в своей комнате.

VIII

— С этим гуманством, ей-богу, обовшивеешь совсем,— кричал утром Иван Степаныч, швыряя что-то и бегая в конторе из угла в угол.— Гуманничают, гуманничают, точно у них в самом деле тысяча душ; а тут вот человек без рубашки сидит.

— Вы что там ворчите? — спросил его через перегородку Рязанов.

Он пил чай у себя в комнате.

— Да помилуйте, это просто беда. Прачка белья не стирает,— нечего надеть. Вот извольте,— говорил Иван Степаныч, входя к Рязанову.— Мое почтение! Вот не угодно ли полюбоваться, другую неделю ношу рубашку. На что это похоже? Ну, добро бы зимой, а то ведь, посудите сами, лето: тоже ведь живой человек,— потеешь. Черт их возьми,— говорил он, бегая по комнате.— Прачка! а? Сволочь! Вы видали ее?

— Нет, не видал.

— Вы поглядите! Из Москвы привезли. Так вот мразь самая несчастная, а тоже поди... небось тоже ведь думает о себе: я женским трудом занимаюсь. А? Кальцоны мои стирает, а сама думает... а? Женским трудом... Хх?

Рязанов улыбнулся.

— Не хотите ли чаю? — спросил он.

— Я не пью. Мне вредно. Вон еще школу заводить... Ах, ты! Наведут сюда... Вшей-то что будет! А? Нет, теперь все еще ничего, а поглядели бы вы прежде, как только женился,— вот гуманничали-то! По три дня без обеда сидели от этого от гуманства. Людишки эти до такой степени испьянствовались... Нагнется вот эдак сапоги взять, да тут же и... и сблюет. Вонь по всему дому. Господи! Всякий день драки. Это у вас какая книжка? Занимательная?

— Послушайте,— не отвечая, сказал ему Рязанов,— вы зачем собаку бьете?

— Как зачем? Нельзя. Я ей говорю: Танкред, соте́[1], а она не слушается; соте́, расподлая твоя душа! — она сейчас хвост поджала, марш под анбар. Вот ведь подлая какая. Как же ее не бить?

— Нет, вы не бейте! Нынче новая мода пошла,— собак не бить.

— Да это вы про собачье гуманство-то. Знаю. Это все пустяки. Ежели ее не бить, так она, дьявол, и поноски подавать не будет.

— Будет.

— Да это вы, должно быть, аглицкого видели, понтера. Они, черти, так уж и родятся с поноской; хвост у него сейчас вот! Природная стойка. Мать сосет, а сам стойку делает.

— Какая природная! Дворняжка простая,— знаете, бывают лохматые такие.

— Ну?

— Сам видел.

— Ей-богу?

— Ей-богу.

— И подает?

— И пляшет, и поноску подает, и умирает. Что угодно.

— И умирает? Ах, пес ее возьми! Это занимательно. Как же так это,— расскажите!

— Самая простая штука: есть не дают; а до тех пор не дают, пока не сделает. Проморят ее голодом, потом возь-

---

[1] Соте́ – прыгать (от *фр.* sauter).

мут вот так палку, а здесь кусочек положат,— соте! Вот она глядит, глядит... делать нечего, перепрыгнет; а тут ей и дадут кусочек. И таким манером до трех раз,— потом уж и без кусочка будет прыгать.

— Н-да. Вот что,— обдумывая, говорил Иван Степаныч,— а это в самом деле, должно быть, правда.

— Истинная правда.

Рязанов, напившись чаю, пошел в дом; он застал Марью Николавну в кабинете за работою: она сидела на полу, вся в пыли, обложенная книгами. Он остановился в дверях и спросил:

— Александра Васильича нет?

— Он сейчас придет,— весело ответила она.— Здравствуйте!

Она протянула было ему руку, но вдруг спохватилась.

— Ах, нет; не могу вам дать руки,— смеясь, говорила она,— видите, какая чистенькая!

— Ну, все равно,— сказал Рязанов и сел на диван.

Марья Николавна перебирала разложенные на полу книги, торопливо перелистывала их и некоторые откладывала в сторону. В комнате было жарко, мухи лезли ей в лицо, в рот; она наскоро отмахивалась от них, ни на минуту, впрочем, не переставая разбирать книги. Пришел повар за сахаром,— она не глядя отдала ему ключи и опять с тем же напряженным вниманием принялась за работу. Рязанов поднял с полу первую попавшуюся книгу и развернул: это была книжка «Библиотеки для чтения» 45 года; он ее положил и взял другую: «Отечественные записки» 52-го. Пересмотрев еще десяток, он успокоился; взял лежавшую на столе газету и стал читать.

— Вы читали эти книги? — спросила его Марья Николавна.

— Читал. А что-с?

— Я прежде тоже их читала, а теперь вот начала было искать, да все как-то не могу добиться настоящего толку.

— Какого же вам толку?

— Мне, видите ли, хотелось прочесть как можно больше о народном образовании.

— А! Вам на что же?

— Да чтобы учить.

— Да! Это школу-то? Ну, так вы напрасно только руки марали: здесь этого вы не найдете.

— Нет, я уж нашла несколько статей и отобрала. Вот видите?

Рязанов взял поданные ему книжки журналов, конца пятидесятых годов.

— Что ж вы тут нашли, журнальные статьи-то?

Марья Николавна стояла перед ним и ждала чего-то.

— Журнальные статьи нашли,— повторил Рязанов.

— Ну, да, статьи о народном образовании. Вот одна,— раз; вот другая,— видите? Вот эта тоже о народных школах. Да тут их много; а как же вы говорите, что нет?

— Я вовсе не о том говорю. Разумеется, есть тут всякие статьи: и о народном образовании должны быть; да только написано-то в них совсем не то, что вам нужно.

Марья Николавна, держа книги в руках, в недоумении смотрела на Рязанова.

— Послушайте, я не понимаю, что вы сказали. Как, вы говорите, не то написано?

— Не то-с,— ответил Рязанов.— Вы ведь небось по заглавиям ищете?

— Разумеется, по заглавиям. А то как же еще?

— Ну, никогда ничего и не найдете. Мало ли я какое заглавие придумаю. Это ничего не значит.

— Как ничего не значит?

— Понимаете, это все равно вот, что вывески такие бывают, вот написано: «Русская правда» или «Белый лебедь»,— ну, вы и пойдете белого лебедя искать? а там кабак. Для того чтобы читать эти книжки и понимать, нужен большой навык,— вставая, продолжал Рязанов.— На свежую голову, ежели взять ее в руки, так и в самом деле белые лебеди представятся: и школы, и суды, и конституции, и проституции, и великая х[артия] в[ольностей], и черт знает что... а как приглядишься к этому делу,— ну, и видишь, что все это... продажа на вынос.

Рязанов хотел уйти.

— Нет, постойте,— говорила Марья Николавна, загораживая ему дорогу.— Вы мне скажите прежде, что же тут о школах-то написано?

Рязанов сел опять на диван.

— Какие там школы? Тут дело идет о предмете более близком. Школа! Это опечатка. Везде, где написано «школа», следует читать *шкура*. Вон там один пишет: трудно, говорит, очень нам обезопасить наши школы; он хотел сказать: наши шкуры, а другой говорит: хорошо бы, говорит, выделать их на манер заграничных, чтобы они не портились от разных влияний. Видите? А третий говорит: ладаном, говорит, почаще окуривать, ладаном. На себе, говорит, не-

пытал — первое средство. Это все о шкурах. Ну, а публика, разумеется, так как она очень умна, то этого не понимает и думает, что в самом деле разговор идет о легчайшем способе обучения грамоте. Конечно, ей следует внушать, чтобы понимала.

Марья Николавна, закусив губы и сдвинув брови, стояла у стола напротив Рязанова и невольно следила глазами за движением его рук: он медленно, но крепко свертывал в трубку какую-то книжку.

— Как же это так,— спросила она,— ведь это значит — все неправда?

Лицо ее вдруг вспыхнуло.

— Что неправда?

— Да вообще все, что печатается?

Рязанов улыбнулся.

— Что же вы улыбаетесь? Вы скажите! Неправда это все? Я уж буду знать по крайней мере.

— Нет, оно, пожалуй, кое-что и правда, да только...

— Что только?

— Только надо уметь читать.

— А зачем же так пишут, что нужно еще голову ломать?

— Да что ж делать? — привыкли.

— И вы так же пишете?

— И я так же пишу. Какой же бы я был писатель, если бы я так и валял все, что в голову придет. Этак всякий лавочник сумеет написать. Свет-то, видите ли, так уж устроен,— говорил Рязанов, вырезывая из бумаги какие-то городочки, — что когда у человека болит живот, то обыкновенно об этом умалчивают: не принято. По-видимому, что ж тут такого? Самое естественное дело, однако не принято говорить о страдании брюшных органов, и кончено. Светские обычаи требуют, чтобы больной в этом случае не объявлял о своем недуге публично. Голова болит — можно сказать, и нога болит, можно сказать, даже бок болит — хоть в присутствии высоких особ можно сказать; а живот болит — нельзя: сейчас выведут. Вот подите же! И ничего не сделаешь: светские обычаи требуют от вас, чтобы в то время, когда у вас болит живот, чтобы вы беспечно предавались разным забавам и говорили комплименты; а не можете, ну, сидите дома и скажите, что у вас нервная атака.

— Как это нелепо!

— Вы полагаете? Нет-с, позвольте! Светские обычаи вовсе не так бессмысленны, как вам кажётся. Они основаны на

глубоком изучении натуры человеческой; а натура эта такова, что *ежели позволить человеку говорить о боли в животе*, тогда только и разговору будет, что об одних кишках. Что же тут хорошего, согласитесь сами! А, главное, этим дело ограничиться не может; сейчас пойдут рассуждения,— как, отчего, почему болит? Что ты делал, да что ты ел? Не объелся ли? не надорвался ли с натуги? а что ты такое поднимал? да кто тебя заставлял? Почему ты не позвал другого и не велел ему поднять? — И рад бы велеть, да не слушается.— Почему не слушается? — Денег нет.— От чего у тебя денег нет? — Беден.— По какому случаю беден? почему же вот он не беден? Да тут в такую трущобу заберешься, что и не вылезешь.

Марья Николавна задумалась и, как стояла у стола, так и осталась неподвижною, с книгами в руках. Наконец она вздохнула, положила книги на стол и сказала как будто про себя:

— Почему я никогда прежде об этом не думала? — и потом прибавила: — послушайте, однако это ужасно гадко — эти приличия.

— Чем же гадко? Цель их стоит в том, чтобы устранить всякие неприятные, докучные разговоры и сделать жизнь нашу легким и веселым препровождением времени.

— Да я этого вовсе не желаю,— запальчиво сказала Марья Николавна.

— А! Ну, это другое дело. Так уж вы так и объявите, что я, мол, этого не желаю.

Марья Николавна наморщила брови.

— Вы, кажется, смеетесь надо мной?

— А зачем же вы вздор говорите?

— Я не буду вздор говорить.

— Тогда и я не буду смеяться.

Она улыбнулась и начала перелистывать лежавшие на столе «Отечественные записки».

— Скажите, пожалуйста,— заговорила она, положив руку на книгу,— что же вы-то здесь видите?

— В этих книжках-то? — спросил Рязанов и, подумав, отвечал:— Вижу я битву на Куликовом поле, слышу стук мечей, конское ржание и стоны умирающих. «Инде татаре теснят россиян, инде россиянин теснит татарина...» а еще больше того вижу подвигов гражданской глупости, свойственной мирным россиянам.

— И после этого вы сами можете писать?

— А почему ж мне не писать?

— После того, что вы говорите?

— После этого-то и можно; а если бы ничего этого не было, тогда и писать было бы незачем.

Она молча постояла еще несколько минут, потом вдруг весело сказала, показывая на груды валявшихся на полу книг:

— Ну, так давайте же убитых-то подбирать!

— Это можно.

И они оба принялись укладывать книги в шкаф.

В это время вошел Щетинин.

— Что это вы тут делаете?

— Тризну справляем,— ответил Рязанов, нагибаясь над книгами.

— Вот что! А я вот с живыми-то никак не справлюсь,— говорил он, отпирая письменный стол.

— С живыми труднее,— заметил Рязанов.

— Просто беда. Отпросились в город на ярмарку, да вот другой день не являются. Одного милого человека приказчик послал за покупками... тоже и приказчик хорош! Знает, что пьющий человек, нет, дал ему денег, а он вот сейчас только вернулся, пьяный-распьяный; ну и, разумеется, ни денег, ни покупок. Черт его знает, где он там шлялся. Поди вон добейся от него: он лыка не вяжет. Что это за гадость,— говорил Щетинин, роясь в столе.

— Ну, как же теперь быть? — спросил Рязанов.

— Да! Как быть? Нет, скажи-ка ты теперь, как быть! Ты вот все говоришь...

— Что я говорю?

— Да вот... что там взыскивать не нужно, то да сё.

— *То да сё*, положим, это я мог сказать; а когда же я тебе говорил, что взыскивать не нужно?

— Ну, да, разумеется,— неохотно ответил Щетинин.

— Когда же это было?

— Да что тут — когда? Вообще...

— Нет, послушай, скажи, пожалуйста, зачем ты *вообще* делаешь на меня ложные показания? Ведь тут, брат, свидетели есть: Марья Николавна налицо.

— Вот еще нашел свидетеля,— полушутя ответил Щетинин.

Марья Николавна, в это время уставлявшая книги, вдруг оглянулась, опустила руку, пристально посмотрела на мужа; но, ничего не сказав, опять принялась за книги. Щетинин не заметил этого движения, он повернулся на стуле лицом к Рязанову и продолжал:

— Нет, вот скажи-ка в самом деле, что тут делать, как поступить?

— Это с милым человеком-то?

— Да, с милым человеком. Вот ему доверили деньги, а он их пропил.

— Да ведь я тебе, кажется, говорил уж один раз?

— Ты говорил, там, к становому... это что!

— Как, это что? Стало быть, ты находишь законное возмездие неудовлетворительным?

— Нахожу.

— Ну, так сам выдумай какое-нибудь. Что же ты меня-то спрашиваешь?

— Я хочу знать твое мнение.

— Оно тебе ни на что не нужно. Дело идет о том, как отомстить человеку за личную обиду, так зачем же тут еще посторонние советы? Ведь ты ему доверял, он твоего доверия не оправдал, ты обижен, а не я. Я к нему ничего не чувствую. Хоть бы он тебя самого, со всей твоей усадьбою, со всеми угодьями и с пустошами пропил,— мне какое дело?

— Ты представь себя на моем месте!

— Да я и представлять не хочу. На что это нужно? Я никогда в таком положении не буду, а если бы и могло это случиться, так почем я знаю, как бы я тогда поступил. Я, может быть, этого милого человека на кол бы посадил, а может ограничился бы тем, что вышиб бы ему только два зуба, а может быть еще сто рублей награждения дал бы ему за это.

— Нет, это все не то. Ты представь себе, что с тобой теперь вот, в настоящую минуту, так поступили.

— Я не понимаю, зачем тебе понадобились эти представления — они ровно ничего не объяснят. Ну, представь ты себе, что *тебя* в настоящую минуту кто-нибудь медом вымазал! Что бы ты сделал? Представь, что тебя колесом переехали! Представляй, сколько хочешь, что же из этого выйдет?..

— Я одного только понять не могу...— не слушая, говорил между тем Щетинин, ни к кому не обращаясь.

— Чего ты не можешь понять? — спросил Рязанов.

— Не понимаю, почему не сказать прямо. Если бы он мне сказал: я еду на ярмарку, я хочу пьянствовать. Я бы ему, не говоря ни слова, целковый в руки,— ступай, батюшка! Ну, что ж, праздник, понятное дело, человек работал целый год, трудился,— почему ж ему не выпить, не повесе-

литься на ярмарке? Разве это преступление? Об одном прошу только — скажи прямо! Нет, обманом, видишь ли, лучше. «Помилуйте, я, говорит, теперь закаялся, капли в рот не беру». Согласись, что это подло!

— Что подло, закаиваться?

— Нет, обманывать.

— Соглашаюсь, что вообще, в принципе, обманывать подло.

— Ну, вот. Я только об этом и говорю. Скажи прямо!..

— Да. Я вот буду к тебе в карты смотреть,— это ничего; а ты ко мне не смотри,— это подло. А то я, пожалуй, и смотреть не буду: скажи прямо, какие у тебя карты! Это прелестно.

— Совсем не то. Играть, так, по-моему, играть на чести.

— Я не знаю, зачем ты тут такие слова употребляешь. На чести! Враг всегда поступает подло; и чем подлее, тем больше ему чести.

— Ну, нет, брат. Я не желаю придерживаться таких правил.

— А с твоими правилами главнокомандующим сделать бы тебя. Интересно! Отдал бы ты, например, по армии приказ: ночью напасть на неприятельский лагерь; но ведь это подло? На спящих нападать! Стало быть, нужно послать адъютанта сказать: эй, вы, берегитесь! Сегодня ночью мы намереваемся вас всех передушить; так вы смотрите же, не зевайте!

Щетинин не отвечал.

— Или ты, может быть, желаешь уподобиться Аристиду и побеждать врагов великодушием? Так это ты можешь.

— Что ж такое? Ну, желаю.

— Да. Оно, конечно, с одной стороны и возвышенно, об этом что говорить,— да только в хозяйском-то деле, я полагаю, не безубыточно.

— Это мое дело.

— Разумеется. Побеждай их своими боками, сколько угодно! Никто тебе не мешает. Ну, а вот рассчитывать на великодушие противника,— это уж, брат, по-моему, штука рискованная.

— Ни на кого и ни на что я не рассчитываю, кроме одного себя,— с недовольным видом сказал Щетинин и опять принялся рыться в бумагах.

— Так о чем же ты толкуешь?

— Ни о чем не толкую,— ответил он резко, но через несколько минут одумался, запер стол, потянулся и, зевая,

сказал: — Так, стало быть, по-твоему, это война, что у меня Федька Скворцов три целковых пропил?

— Война.

— И что крюковские мужики лес у меня воруют — это тоже война?

— Война.

— Хм! Хороша война, нечего сказать!

— Партизанская, брат, партизанская. Больше всё наскоком действуют, врассыпную, кто во что горазд: тут и Федька Скворцов, тут и баба Василиса кочергой воюет, и крюковские мужики...

— Это всё партизаны?

— Партизаны.

— И по-твоему выходит так, что везде, где только есть мошенники, там и война? Так, что ли?

— Не совсем так.

— Как же?

— А вот как: везде, где есть сильный и слабый, богатый и бедный, хозяин и работник — там и война; а какая она — правильная или неправильная, это уж не наше дело разбирать.

Щетинин опять замолчал.

— Это, брат, Иван Степаныч даже знает,— продолжал Рязанов,— он мне на днях еще говорил: «Какая, говорит, штука! Я в «Московских ведомостях» вычитал, на всем свете война. Вот, говорит, Персия, уж на что, кажется, пошлое государство, а даже и там, говорит, бабы взбунтовались».

Щетинин нехотя улыбнулся и, подумав, сказал:

— Это значит, по-твоему, что хорошей прислуги незачем и желать. Так, что ли?

— Отчего же? Желать никому не запрещается. Можешь желать все, что тебе угодно.

— Но ты находишь, что это желание безрассудно.

— Нет. Я нахожу только, что оно немножко оригинально. Это все равно, если бы я пожелал, например, чтобы у тебя вдруг вскочил *хороший* волдырь на лице или чтобы ты схватил *хорошую* горячку. Согласись, что ведь это было бы очень оригинальное желание? Не правда ли?

Рязанов поднимал с полу книги и подавал их Марье Николавне. Щетинин сидел задом к письменному столу, откинувшись на кресле и заложив руки под затылок; на лице его бродила какая-то неловкая, напряженная улыбка; он молча долго водил глазами по комнате, как бы соображая

что-то, наконец кашлянул и заговорил, расставляя слова:

— Вот ты там все толкуешь — то не так, другое не так...

— Да,— нагнувшись над книгою, сказал Рязанов.

— А между тем вот уж скоро месяц, как ты приехал; было ли так хоть один раз, чтобы ты мне подал дельный, практический совет, сказал ли ты мне хоть что-нибудь такое, из чего бы я мог извлечь прямую, действительную пользу? А? Вспомни-ка!

Рязанов поднял кипу книг и, держа ее в руках, отвечал:

— Да. Если ты меня приглашал сюда затем, чтобы советоваться со мною о своем хозяйстве, так я тебя поздравляю.

Сказав это, он передал Марье Николавне последние лежавшие на полу книги и вытер себе платком руки.

— Ну, разумеется, не за этим,— быстро заговорил Щетинин,— это ты очень хорошо знаешь сам. Нет, я думал что вообще твои мнения имеют больше... практического основания.

— И ошибся. Это жаль!

— Нет, совсем не то. Я давно знаю, что мы с тобой в некоторых вещах не сходимся; но именно на эту разность-то в наших взглядах я и рассчитывал. Я думал, что, высказывая свои убеждения, ты мне уяснишь мои собственные.

— Мм...— промычал Рязанов.

— Да,— торопливо перебил его Щетинин.— Давно известна пословица, что du choque des opinions jaillit la vérité[1].

— Как ты сказал?

— Я говорю: du choque des opinions jaillit la vérité.

— Это не то, что plenus venter non studet libenter[2]?

— Нет, не то.

— Не то! Ну, так что же дальше-то?

— Да нет, видишь ли,— не слушая, продолжал Щетинин,— это ведь само собой как-то делается. Я говорю, ты мне возражаешь: таким образом борются два мнения. Согласись, что только тогда и выходит какой-нибудь толк, когда борются два противоположные начала: свет и тьма, добро и зло, плюс и минус...

— Дает минус, брат, минус.

— Да! Ну черт с ним! Впрочем, все равно; дело не в сравнении.

— Конечно. Хорошие практики всегда бывают плохие теоретики.

---

[1] Из столкновения мнений рождается истина *(фр.)*.

[2] Сытое брюхо к ученью глухо *(лат.)*. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

Марья Николавна улыбнулась и села.

— Да. Так вот я и говорю,— несколько недовольным тоном продолжал Щетинин,— нужно только, чтобы спорящие взаимно уважали мнения друг друга.

— Это зачем же?

— Как зачем? Если мы не будем уважать мнений один другого, что же это будет?

— Спор будет.

— Нет, уж это, по-моему, драка.

— И по-моему тоже.

— Стало быть, в этой словесной драке кто кого побьет, тот и прав?

— Тот и прав. Разумеется. Других споров и не бывает.

— Нет, брат; я таких споров не одобряю.

— Ты, стало быть, такие любишь, чтобы оба были правы?

— Нет. По-моему, если спорить, так спорить так, чтобы не оскорблять противника.

— Правило похвальное. Это что говорить. Только я все-таки не понимаю, к чему ты вел всю эту канитель.

— А я хочу сказать, что вообще я замечаю в последнее время какое-то ожесточение во всех, решительно во всех.

— А прежде не замечал? Так это значит, что ты не только во мне, но и вообще разочаровался в людях. Так?

— Да нет; видишь ли, человек я мирный, я люблю людей, и не могу я, ну, просто не могу смотреть на них как на врагов, против которых надо ежеминутно принимать предосторожности, ежеминутно ждать подкопов... не могу я этого. Ну, что ты хочешь, вот — не могу, да и все.

Говоря это, Щетинин ни на кого не глядел и перочинным ножом скоблил письменный стол.

— Да; вот, говорят, во дни Соломона,— сказал Рязанов,— жить было хорошо: всякий сидел под кущей своей и под виноградом своим, а царь Соломон сидел на престоле и судил всех сам. Ни споров, ни драк в то время не было.

— А по правде тебе сказать, ей-богу лучше было, чем теперь,— заметил Щетинин.

— Кто же виноват, любезный друг, что ты с такими мирными наклонностями и принужден жить в такое военное время? Как же быть теперь? Уж я, право, и не знаю.

— Я, брат, знаю, как мне быть,— вставая, сказал Щетинин.

— Ну, а знаешь, так, стало быть, и разговаривать не о чем,— тоже вставая, сказал Рязанов и ушел.

Щетинин постоял у окна, посвистал, потом спрятал руки в карманы и, поглядывая себе на ноги, медленно пошел к двери.

— Послушай,— заговорила Марья Николавна.

— Что тебе?

Щетинин, не оборачиваясь, остановился в дверях.

— По-каковски это он тебе сказал тогда?

— По-латыни.

— Что же это значит?

— Так, вздор.

Щетинин сделал шаг вперед.

— Нет, не вздор,— вслед ему сказала она.

Щетинин остановился было на одно мгновение, но в ту же минуту поправился и ровным шагом вышел из комнаты.

IX

Наступило самое жаркое время; начался покос, рожь забурела; знойный, удушливый ветер лениво бродил по озерам, чуть-чуть нагибая верхи камышей. А то вдруг закрутит, взовьется кверху черным столбом и пойдет по полям... Небо стояло синё и безоблачно, по ночам грозы бывали.

В последнее время Щетинин стал работать еще больше прежнего. Он проводил целые дни на хуторе или в лесу; домой возвращался большею частию поздно вечером усталый, измученный, наедался за ужином простокваши и ложился спать. Споры с Рязановым прекратились совершенно. Это случилось вдруг, точно по взаимному соглашению: оба в одно и то же время перестали спорить, и кончено. Разговоры стали сводиться все больше и больше на простую передачу сведений, возражения ограничивались легкими замечаниями, вроде того, что — да, разумеется, понятное дело; ну, оно, я тебе скажу, а впрочем... конечно... и т. д. Случалось иногда, что Щетинин увлекался каким-нибудь рассказом, а Рязанов слушал молча и рассматривал в это время скатерть; а выслушав, все-таки продолжал молчать. Щетинин не выдерживал и говорил:

— Ты что молчишь? Разве я не знаю, что ты думаешь?..

— Тем лучше для тебя и тем приятнее для меня,— отвечал Рязанов, и сам начинал рассказывать Марье Николавне о том, например, как они со Щетининым, в бытность свою в университете, учились маршировке.

— Славное это время было,— говорил Рязанов,— кончатся, бывало, лекции, наслушаешься там всякого этого рим-

ского права, соберешь тетрадки и в манеж. Главное, близко, вот чем хорошо. Инспектор об одном только и просит, бывало: «Не заваливайтесь, господа, ради бога! сделайте одолжение, подайтесь грудью вперед!» Ну, и подашься.

— Особенно хорош, я помню, был,— продолжал Рязанов,— Троицкий один: семинарист, лет тридцати уж он был, из Оренбурга пешком пришел учиться, занимался историей; уж он теперь профессором. Так вот, бывало, му́ка-то; не может налево кругом повернуться, что хотите вот. А росту был громадного, сутуловатый, руки длинные. Инспектор пристает к нему: «Господин Троицкий, стойте прямей! унтер-офицер, поправь господина Троицкого! Чувствуете ли вы локтем товарища?» — «Чувствую-с, Федор Федорович, батюшка, чувствую-с...» — а сам даже зубами заскребет.

— И вы учились маршировать? — спрашивала Марья Николавна, с особенным любопытством всматриваясь в Рязанова.

— И я учился, и *глаза на-пра-во* делал, все как следует. Как же-с.

— Ну, что это! — с недовольным видом говорила Марья Николавна.— Зачем же вы это делали?

— А чем же я хуже других?

Впрочем, Марья Николавна этими рассказами не довольствовалась; она всякий раз, когда оставалась вдвоем с Рязановым, старалась завлечь его в серьезный разговор; кроме того, брала у него книги и прочитывала их одну за другой без остановок. Гуляя по саду, она подходила к его окну и вызывала гулять. Иногда они уходили далеко в поле или бродили по берегу. Она расспрашивала его о том, что делалось прежде, чем делается теперь, и жадно слушала эти рассказы; при этом лицо ее становилось все серьезнее и сосредоточеннее, иногда она даже плакала, но потом быстро утирала слезы и начинала махать себе платком в лицо. Один раз, после такого разговора, она спросила Рязанова:

— Послушайте, неужели он этого ничего не знает?

— Как не знать.

— Так почему же он мне этого никогда не рассказывал?

— Не знаю.

— Я ему этого никогда, никогда не прощу,— говорила она, и глаза ее гневно метались кругом.

Домашнее хозяйство шло своим порядком: она им почти

не занималась. Щетинин этих прогулок как будто и не замечал; один раз только он спросил жену:

— А что же твоя школа?

— Да я ее отложила до осени,— отвечала Марья Николавна.— Теперь лето, кто же будет заниматься? — жарко.

Щетинин посмотрел ей в глаза, но ничего не сказал и начал петь. Она заговорила о другом.

— Почему вы перестали спорить с Александр Васильичем? — спросила она Рязанова.

— Да вы видите, что ему это неприятно.

— Так что ж такое?

— Зачем же я буду безо всякой нужды раздражать человека?

— Да, это правда. Ну, так вы со мной по крайней мере спорьте! Я очень люблю, когда вы спорите.

Марья Николавна, однако, не могла удержаться и иногда при муже начинала какой-нибудь разговор, имеющий свойство вызывать жаркие прения; Рязанов в подобных случаях обыкновенно прекращал в самом начале зарождавшийся спор каким-нибудь коротким замечанием, против которого возражать было нечего.

Один раз вечером он сидел в своей комнате и собирался идти гулять; вдруг входит Марья Николавна.

— Приходите к нам сейчас!

— Зачем?

— К нам гости приехали, и одна барыня тут есть. Мне очень хочется, чтобы вы ее видели.

— К чему же это нужно?

— Ни к чему не нужно, а так... Ну, я вас прошу.

Рязанов пожал плечами.

— Приходите же!

Марья Николавна подобрала свое платье и побежала в дом.

Рязанов застал гостей на террасе: Марья Николавна разливала чай; рядом с нею сидела дама лет тридцати пяти, с худощавым лицом и немного прищуренными глазами, которые она старалась сделать проницательными. Тут же немного поодаль стоял знакомый Рязанову посредник, Семен Семеныч, и разговаривал с мужем этой дамы. Марья Николавна улыбнулась и познакомила Рязанова с гостями. Он сел к столу. Приезжая дама прищурилась еще больше, но, встретясь глазами с Рязановым, заморгала и начала чесать себе глаз. Посредник в то же время говорил ее мужу:

— Что же мне прикажете делать? Их вон нелегкая уго-

раздила,— три года сряду горят. Горят, и кончено. Что с них взять?

— Да нельзя ли хоть что-нибудь получить? — приставал помещик.— Вы в мое положение войдите: мне жену за границу нужно отправлять. Нельзя ли их переселить, что ли?

— Да вы их сколько раз уж переселяли?

— Что ж такое? Ну, два раза. Эка важность!

— Ну, как же вы хотите? Это бесчеловечно. А третий раз переселите, так и вовсе по миру пойдут.

— Да ведь не то, чтобы в самом деле, а нельзя ли по крайней мере хоть припугнуть их переселением?

— Идите чай пить,— позвала их Марья Николавна.

— Нет, вот-с, я вам доложу, Марья Николавна,— говорил посредник, принимая стакан.— Merci, я без сливок. Досталось мне в участке именьице,— Отрада село,— знаете? Две тысячи недоимки, третий год не платят. Что хотите вот! Предместник мой, Павел Иваныч, бился, бился, так и бросил: ничего сделать не мог. И роту водили, и драли-то их,— ничего. А я в три недели взыскал все до последней копейки и пальцем никого не тронул.

— Как же это? — спросила Марья Николавна.

— А очень просто: приехал, созвал,— деньги! — Нету денег, и кончено. Народ — разбойники.— Так нету денег? — нету. Хорошо. Я сейчас, кто первый попался из толпы,— сюда его! Ты не хочешь платить? — Не хочу.— Взять его! Другого: ты не хочешь платить? — Батюшка, отец родной! — Без разговоров! Взять его! Да таким манером отобрал десять человек,— в анбар, на хлеб и на воду! Время-то, знаете, рабочее, мужику каждый час дорог,— сиди! Старшине сказал: — ты мне отвечаешь за них. Если ты, да у меня, да хоть одну ракалию выпустишь,— всех сыновей твоих в солдаты! Только ты их и видел. Отлично. А сам уехал. Через неделю приезжаю,— ну, что, голубчики? как? — Кормилец, батюшка, помилуй! — Ага! покаялись? что-о? — Прикажи нас наказать! — Нет, зачем же? Я вас наказывать не буду, а вот ступайте-ка вы теперь же, при мне, на село и просите своих, чтобы они вас выручили! — Пустил их — через полчаса семьсот целковых принесли. Прекрасно. Засадить их еще на неделю! Да ведь я вам скажу, до чего-с: как щепки исхудали, глаза впалые. Приезжаю в другой раз — опять та же комедия. В три недели все до последней копейки взыскал.

Кончив рассказ, посредник хлебнул из стакана и самодовольно посмотрел на всех.

— Да,— со вздохом сказал помещик.— Вот ведь вы, Семен Семеныч, для других делаете, а для меня не можете. Это нехорошо-с.

— Да ведь странный же вы человек, позвольте вам сказать,— воодушевляясь, заговорил посредник.— Как же вы своих сравниваете? Ваших сколько угодно сажай,— ничего не будет, только с голоду подохнут. Что с них взять? — ведь они нищие.

— Нет; это что-с. Это не отговорка. Желания нет у вас. Вот главное-то что.

— И чудак же вы только, извините меня,— закричал посредник.

Начался спор и продолжался до тех пор, пока пили чай. Рязанов все время молчал. После чаю пришел батюшка, раскланялся и спросил:

— А хозяин?

— На хуторе.

— По обыкновению.

Марья Николавна позвала Рязанова в залу и сказала ему:

— Поговорите, пожалуйста, с этой дамой; мне очень хочется знать, что вы о ней скажете.

— Да ведь я, право, не умею с дамами разговаривать.

— Ну, ничего. А как же вы со мной-то разговариваете? Разве я тоже не дама? — смеясь, говорила она.— А знаете, в самом деле,— прибавила Марья Николавна,— как они мне все стали противны теперь, если бы вы только знали! А делать нечего, надо идти. Пойдемте,— шепнула она ему, выходя на террасу и с улыбкою оборачиваясь назад. Потом она взяла гостью под руку, сошла с нею в сад и позвала Рязанова. Они втроем пошли по аллее. Начинало смеркаться.

— Вы пишете? — спросила у Рязанова дама.

— Пишу.

— Ах, опишите, пожалуйста, здешний уезд!

— Зачем же это?

— Здесь такие гадости делаются, вы себе представить не можете; особенно в суде.

Рязанов молчал.

— *Vous n'avez-ras L'idée, ma chère, ce que c'est*[1],— сказала она, обращаясь к Марье Николавне.— Сил никаких нет. Представьте, полгода мужу моему не выдают свиде-

[1] Вы и представить себе не можете, моя дорогая, что это такое *(фр.)*.

тельства. Пожалуйста, обличите это все, мсьё Рязанов! Я вас прошу.

— Вот скоро новые суды будут,— заметила Марья Николавна.

— *Je vous en félicite*[1],—ответила дама.—Нет, уж избавьте! Знаем мы эти новые. У нас всё так. Тоже всё кричали: ах, посредники, посредники! Ну, вот вам и посредники. На что они годны, *je vous demande un peu*[2]. Не может недоимки взыскать! Новые суды! *Non, ma chère, on ne nous u prendra plus*[3].

Они молча прошли еще аллею и повернули к дому.

— Вот еще там земство какое-то выдумали,— начала было дама.—Правду Катков говорит, *que c'est une kyrielle. C'est bien vrai, ma chère*[4]. Я не знаю, что это такое. Денег ни у кого нет, *les chemins sont atroces*[5]...

— Не хотите ли отдохнуть? — перебила ее Марья Николавна, входя на лестницу.

— Нет-с, вот в Пензе случай был тоже,— заговорил батюшка при появлении Рязанова.— Идет по улице духовное лицо-с; а по ту сторону мещанин какой-то пьяный, да вот эдак: «Фю-фю-фю! О-го-го!» — говорит...

Батюшка встал со стула, подперся в бок рукою и представил мещанина.

— Нет-с, как вы полагаете? Мещанина-то ведь за эти дела... тово, сослали. А всего только и слов его было, что *огого*. Так вот оно что-с,— заключил батюшка, насмешливо посматривая на Рязанова.

— Это что,— сказал посредник.— В Саратове со мной случай был. Как я одного молодца оборвал!..

Рязанов вышел в залу.

— Послушайте! нет, уйдите отсюда, пожалуйста! Я их видеть не могу с вами вместе.

— Да я и так хотел уйти.

— Мне досадно, гадко. Простите меня, что я позвала вас сюда!

Рязанов ушел во флигель и лег спать. Часу в двенадцатом пришел туда посредник. Ему приготовили постель в конторе.

---

[1] С чем вас и поздравляю *(фр.)*.
[2] Разрешите спросить *(фр.)*.
[3] Нет, моя милая, этим уж нас не надуешь *(фр.)*.
[4] ...что это одна канитель. Это так и есть, моя милая *(фр.)*.
[5] ...дороги убийственные *(фр.)*.

— А я вам хочу маленькое предложение сделать,— сказал он, входя к Рязанову.

— Какое предложение?

— Не хотите ли завтра со мной прокатиться по участку? Для вас как для столичного жителя это будет любопытно.

Рязанов подумал и согласился.

X

В четвертом часу утра приказчик разбудил Рязанова и посредника. Вышли на крыльцо: погода хмурая, петухи поют, того и гляди дождь пойдет; у подъезда стоит тарантас. Посредник зевает и охает.

— И охота вам. Спали бы,— ворчит Иван Степаныч, в одной рубашке выглядывая из окна.

— Нельзя, батенька,— служба,— отвечает посредник.

Сели, поехали.

Народ на селе сбирается в поле; сонные бабы с ведрами, овцы, едкий запах свежего дыма, мужики шапки снимают.

— Здорово,— невыспавшимся голосом покрикивает им посредник и засыпает.

Выехали в поле: роса, ветерок подувает, небо с востока покраснело, из побуревших озимых вылетает перепел...

Овраг, заросший орешником, внизу — мост. Пристяжные, понурив головы, шагом спускаются под гору и дружно подхватывают в гору; вдруг сильный толчок,— посредник всхрапывает, открывает глаза, бессмысленно смотрит по сторонам и опять засыпает.

Туман поднялся, все чище и чище становится даль, ярче цвета́, прозрачнее воздух, и встают кругом одно за другим далекие села, леса и озера... Вдруг засверкала роса, загорелась медная бляха на шлее у коренной, и побежали от лошадей по траве длинные черные тени — солнце взошло...

Рязанов глядел, все глядел, как лошади бегут, как жаворонки сверху падают в зеленую рожь и опять, точно по ступенькам, поднимаются выше и выше; как стадо пасется по косогору... Вон лежит в лощине свинья, а на свинье сидит ворона.

— Семен Семеныч! а Семен Семеныч!

— М?

— Извольте вставать!

— Мгм.

— Семен Семеныч!

— М-м?

— Приехали.

— А! Приехали. Где старшина?

— Я здесь, Семен Семеныч. Пожалуйте, я вас высажу.

— Самовар есть?

— Сейчас будет готов.

— Живо! Ну, как у вас? — спрашивает посредник, входя в волостное правление.

— Всё слава богу-с,— кланяясь, отвечает старшина.

Писарь, в нанковом пиджаке, сметает рукавом пыль со стола, тоже кланяется и отходит к стенке.

— Хорошо,— говорит посредник, садится и все еще сонными глазами осматривает стены. Лицо у него измято, вдоль лба красный рубец.

Старшина стоит, наклонившись немного вперед и заложив руки за спину.

— Принесите-ка там портфель!

Старшина с писарем бросаются вон из избы.

Солнце начинает сильно пригревать, мухи толкутся в окне, на дворе отпрягают лошадей.

— Вот этот у меня старшина ничего,— говорит посредник Рязанову,— только неопытен еще, расторопности мало.

— Мм,— отвечает Рязанов.

Старшина бережно, точно боится расплескать что-нибудь, вносит портфель и, положив его на стол, отходит к сторонке. Писарь на цыпочках крадется к шкафу и вытягивается за спиной старшины.

— Ну, а недоимка у вас как? — спрашивает посредник, надевая себе на шею цепь.

— Плохо-с,— со вздохом отвечает старшина.

— Что ж ты, братец, не понуждаешь?

— Понуждаем-с,— вполголоса отвечает писарь, бесстрастно глядя на посредника.

— Мы понуждаем-с,— уныло склоня голову набок, повторяет старшина.

— Стало быть, плохо понуждаешь,— говорит посредник.— Вон помещик жалуется мне, что вы до сих пор не можете остальных пятисот уплатить с прошлого года, с октября. Ведь это срам!

Писарь стремительно подходит к столу и, порывшись в бумагах, почтительно указывает мизинцем в книгу, говоря:

— С пятнадцатого февраля сего года остается четыреста девяносто пять рублей семьдесят две копейки-с.

— Ну, да,— подтверждает посредник.— Слаб ты, брат; вот что я тебе скажу,— обращается он к старшине.

Старшина вздыхает.

— Разве, ты думаешь, мне приятно слушать жалобы на вас?

Старшина наморщивает брови и старается не глядеть на посредника.

— Ну, опишут, продадут. Что хорошего? Сам ты посуди!

— Хорошего мало-с,— рассматривая свои сапоги, отвечает старшина.

— То-то вот и есть,— наставительно заключает посредник.— Сами вы себя не бережете.

Несколько минут тяжелого молчания.

— О-охо-хо! — вздыхает посредник.— Так как же, брат?

— Чего извольте? — тревожно спрашивает старшина.

— Насчет самовара-то?

— Шумит-с.

Писарь бросается в дверь.

— Н-да,— в раздумье глядя в потолок, говорит посредник.

— Все божья воля-с,— со вздохом замечает старшина.

— Да, брат, вот как продадут, тогда и узнаешь божью волю.

Слышно, как в сенях писарь раздувает самовар.

— Дела какие-нибудь есть? — внезапно спрашивает посредник.

Старшина глядит в дверь на писаря и манит его пальцем.

— Есть, васкродье,— входя в комнату и обчищаясь, говорит писарь.— Жалоба временнообязанной крестьянки Викулиной, сельца Завидовки, на побои, нанесенные ей в пьяном виде крестьянином того же сельца, Федором Игнатьевым.

— Разобрали?

— Разобрали-с,— весело отвечает старшина.

— Как решили?

— А так решили, что малость попужали обоих-с.

— То есть как?

— Да то есть хворостом-с,— уже совершенно смеясь, отвечал старшина.

— А. Это хорошо. Главное, у меня пьянства этого чтобы не было. Слышишь?

— Слушаю-с.

— Еще что?

— Еще-с...— сделав шаг вперед, доносит писарь.— Еще дело о загнатии двух свиней с поросятами, принадлежащих удельного ведомства крестьянину Петру Герасимову.

— Кто загнал?

— Здешний обыватель-с. Да Петр Герасимов жалуется теперь, что так как, говорит, во время загнатия, говорит, мальчишке его нанесены были побои...

— Ну!

— Но, а здешний обыватель в показании своем показал, что якобы, то есть, ограничился надранием вихров-с.

— Да. Ну, так что же теперь?

— Да они, Семен Семеныч, насчет того, то есть, пуще сумляваются,— вмешивается старшина,— что которые, говорит, например, эти самые свиньи теперь загнаты...

— Да...

— То есть неправильно-с,— добавляет писарь.

— Это так точно,— подтверждает старшина.— Почему что как у них это смешательство вышло, ну, и по заметности...

— Вражда эта у них идет давно-с,— таинственно сообщает писарь.— И, собственно, насчет баб-с.

— Да что тут! Это прямо надо сказать, такую они промеж себя эту пустоту завели, такую-то пустоту... Ах, никак самовар-от ушел.

Старшина выбегает в сени и приносит самовар; писарь подает чашки и связку кренделей.

— Как же решили это дело? — спрашивает посредник.

— Да никак не решили,— отвечает старшина, выгоняя из чайника мух.— Кшу, проклятые! Хотели было они, признаться, до вашей милости доходить...

— Внушение сделано, чтобы не утруждать по пустякам,— добавляет писарь.

— Оштрафовать нужно,— решает посредник.— Ты их оштрафуй по рублю серебром в пользу церкви! Слышишь?

— Это можно-с.

Посредник заваривает чай; Рязанов читает развешанные по стенам циркуляры и списки должностных лиц.

— А главное,— продолжает посредник,— вино. У меня чтобы и духу его не было. Слышишь?

— Слушаю-с,— неохотно отвечает старшина.

— От него все и зло,— рассуждает посредник.

— Это так-с,— утверждает старшина.

Писарь сдержанно кашляет в горсть.

— Пьяный человек на все способен. Он и в ухо тебя ударит...

— Ударит. Это как есть.

— И подожжет.

— Подожжет-с. Долго ли ему поджечь.

— Вон они, пожары-то!

— Да, да. О господи!

— Народ толкует, поляки жгут...

— Толкуют, точно. Ах, разбойники!

— Нет, не они. Где им!

— Это все от вина.

— Так, так. Это все от него, от проклятого. А что я вас хочу спросить, Семен Семеныч.

— Что?

— Типерь который мы помещику оброк платим...

— Ну?

— Народ болтает, колько, говорит, ни плати, все равно это, говорит, что ничего.

— Да. Пока на выкуп не пойдете, это все не впрок. Век свой будете платить, и все-таки земля помещичья.

— Вот что! Значит, его же царствию не будет конца?

— Не будет. Что ж делать? Сами вы глупы.

— Это справедливо, что мы глупы. Дураки! Да еще какие дураки-то!

— Так-то, ребятушки. Сколько я вам раз говорил,— вздохнув, говорит посредник.— Сливки есть?

— Есть-с.

Старшина приносит в деревянной чашке сливки и вытаскивает оттуда мух.

— О, каторжные! Извольте, Семен Семеныч!

— Что, и у вас, должно быть, много мух?

— Такая-то муха — беда,— почтительно улыбаясь, отвечает старшина.— И с чего только это она берется?

Посредник с Рязановым пьют чай; старшина смотрит в окно; писарь от нечего делать приводит в порядок лежащие на столе бумаги, перья и сургуч.

Молчание.

— Ну, а школа как идет? — спрашивает посредник, прихлебывая из стакана.

— Слава богу-с.

— Учит батюшка-то?

— Когда и поучит. Ничего.

— Много учеников?

— Довольно-таки.

— А сколько именно?

— Да так, надо сказать...— старшина вопросительно смотрит на писаря.— С пяток никак есть.

— Вовсе мало-с,— отвечает писарь.

— *Не так чтобы очення много-с,* — кивая головой, докладывает старшина.

— Ты за этим наблюдай, — говорит посредник, — чтобы непременно учились. От этого для вас самих же польза будет.

— Известно, польза-с. Типерь который мальчик грамоте знает, и сейчас он это может, например, всякую книжку читать и что к чему. Очень прикрасно-с.

— Да, вот кабы побольше грамотных было, и пьянства бы меньше. Вместо того чтобы в кабак идти, он стал бы книжку читать.

— Книжку. Сейчас бы книжку читать. Это верно-с.

— Отчего же это так мало охотников-то учиться?

— А так, надо полагать, по глупости это больше-с.

— Что ж, твое дело им внушить, растолковать.

— Я уж довольно хорошо им внушал и батюшке тоже говорил: вы, говорю, батюшка, глядите, посредник велел, так чтобы нам с вами в ответе не быть.

— А он что?

— Ну, а он: хорошо, говорит, ступай! У меня вон, говорит, сено-то еще не кошо́но. Та́к-то. Опять и мужички вот тоже из того опасаются, что которых грамотных, слышь, всех угнать в кантонисты хотят.

— Это все вздор. Вы этому не верьте!

— Слушаю-с.

— А что́, бумага, которую я онамедни прислал, — подписали?

— С-сумляваются-с.

— Вот я тебе покажу, — сумляваются! Какой же ты старшина после этого? Дня через три я назад поеду, так чтобы к тому времени была подписана. Слышишь?

— Слушаю-с, — нетвердо выговаривает старшина.

Посредник начинает потеть и вытирает себе лицо платком.

— А вот я забыл вашей милости доложить — батюшка тут приходил с садовником. У них опять эти пустяки вышли.

— Какие пустяки?

— Из телят. Зашли батюшкины телята к садовнику в огород; садовник их загнал, стало быть это, на двор, запер. Батюшка, значит, сейчас приходит; так и так, как ты мог полковницких телят загонять?

— Каких полковницких телят?

— Да то есть это батюшкиных-то. Он так считает, что, мол, полковник я.

— Да.

— Ну, теперь это теща его выскочила, телят, обнаковенно, угнали...

— Ну, что же?

— Кто их разберет? Садовник жалится: он, говорит, у меня на шесть целковых обощии помял, а батюшка теперь за бесчестие с него, то есть, требует пятнадцать, что ли то...

— Пятнадцать целковых,— подтверждает писарь.

— За какое же бесчестие?

— Ну, тещу его, слышь, обидел.

— Как же он ее обидел?

— Слюнявой, что ли то, назвал. Уж бог его знает. Слюнявая, говорит, ты,— смеясь, объясняет старшина.— Ну, а батюшка говорит, мне, говорит, это очень обидно. Пятнадцать целковых теперь с него и требует.

Посредник тоже засмеялся; даже писарь хихикнул себе в горсть.

— Ну, это я после разберу,— вставая, говорит посредник.— А теперь, брат, вот что: вели-ка ты мне лошадок привести!

— Готовы-с.

— Молодец,— говорит посредник, трепля старшину по плечу.

Старшина кланяется, потом вместе с писарем провожают посредника на крыльцо.

На козлах сидит мужик, лошади земские.

— Ты дорогу-то знаешь ли?

— Будьте спокойны.

— Гляди, малый,— толкует мужику старшина,— чуть что, так ты и того, полегоньку!

Мужик самоуверенно встряхивает шапкой.

В это время в конце села показывается небольшая кучка людей. Завидя посредника, они еще издали снимают шапки и, понурив головы, медленно подвигаются к правлению. Впереди всех идет баба, за нею молодой мужик, позади идут старики.

— Это еще что такое? — всматриваясь в них, спрашивает у старшины посредник.— Это, кажется, опять давешние муж с женой, что разводиться-то хотели?

— Они самые-с,— улыбаясь, отвечает старшина.

— Вот, батенька,— говорит посредник Рязанову,— обратите внимание, женский вопрос! Вы как об нас думаете? И мы тоже не отстаем. Можете себе представить, с тех пор, как объявили им свободу, недели не проходит без того, чтобы не приходили бабы с просьбою развести их с мужьями. Потеха.

Старшина с писарем смеются.

— Ну, и что же? — спрашивает Рязанов.

— Да у меня этот вопрос решается очень просто. Здорово, ребятушки,— говорит он просителям, которые в это время подходят к крыльцу.

Они молча кланяются.

— Что скажете?

— К вашей милости.

Баба становится на колени.

— Встань, голубушка, встань! Что валяться? Говори дело! Видно, опять накутила? Старички, сказывайте, как и что!

— Чаво сказывать-то? Батюшка, Семен Семеныч! Вот баба от рук отбилась совсем.

— Слышишь, что старики говорят? Как тебя,— Маланья?

— Аграфена.

— Слышишь, Аграфена? И не стыдно это тебе?

Баба не выказывает стыда ни малейшего; даже, напротив того, окидывает стариков презрительным взглядом. Под глазом у ней синяк. Посредник несколько затрудняется.

— Не слухатся, вовсе не стала слухаться,— шамшит сзади старик.

— Ни за скотиной, ни что,— добавляет другой.

— Такая-то озорница баба, беда,— подтверждает старшина.

Посредник качает головой.

— У них вся родня такая, непутная,— замечает старшина.

— Как же это ты так, Аграфена? а?— спрашивает посредник.

Баба ничего не отвечает.

— А ты, молодец, чего же смотришь? — обращается он к ее мужу.— Ведь ты ей муж, глава.

Муж встряхивает волосами. Лицо у него глупое и печальное, губы толстые.

— Ты должен учить жену, чтобы она почитала старших,— наставляет его посредник.— Да.

Муж насупливает брови и сосредоточенно смотрит в землю, держа шапку в обеих руках.

— А ежели твоя жена не будет стариков уважать,— продолжает посредник,— что же тогда будет? Ну, хорошо ли это,— подумайте-ка!

— Вот и я так-то им говорю завсегда,— добавляет старшина, указывая на просителей,— потому нам в законе показано: ты бабу кормить корми, а учить учи!

— Ну, это ты врешь,— останавливает его посредник. Этого в законе не показано; но мы должны жить в любви и в согласии, потому что так богу угодно.

— Это справедливо-с,— подтверждает старшина.

— Ну да; однако мне некогда тут с вами растабарывать. Ты, голубушка, дурь-то из головы выкинь! Ежели кто тебя станет сбивать, приди и скажи вот ему — старшине. А ты, молодец, присматривай за женой и внушай ей почтение к старшим! Ну, теперь поди сюда, Аграфена, и ты, как тебя?

— Митрий.

— Аграфена и Дмитрий, поцелуйтесь и живите, как бог повелевает: любите друг друга, уважайте родителей, слушайте начальников. Дай бог вам счастия!

— Семен Семеныч! — говорит старшина.

— Что ты?

— Да уж прикажите ее кстати поучить старичкам-то. Маненько попужать бы ее здесь, в правлении, для страху.

— Нет; пока не нужно. Итак, друзья, ступайте с богом.

Просители кланяются и уходят. Старшина с писарем усаживают посредника в тарантас.

— Ну, совсем, что ли? — спрашивает старшина.

— Совсем.

— Хорошо сели?

— Хорошо.

— Ну, господи бослови! Ямщик, трогай!

— А, дуй вас горой!

Поехали.

— Теперь еще от них многого и не требуйте,— говорит Рязанову посредник.

— Да я ничего не требую. Впрочем, и теперь уж успехи заметны значительные.

Разговор не клеится. Посредник понемногу начинает напевать романс.

— «Скажите ей, как дорого мне стоит...» Здорово! — между пением покрикивает он встречным мужикам.

— «И трудно мне...» Откуда везешь? — высунувшись из тарантаса, спрашивает он у мужика, везущего бревна. Мужик торопливо останавливает лошадь и, скинув шапку, кричит:

— Из Ключей.

— Почем покупал?

Но уже ничего не слышно, что отвечает мужик; видно только, что он дергает лошадь, разевает рот и машет рукою.

— «Скажите ей, как стрррашно сердце ноет»,— снова затягивает посредник.

Едут полем; земские лошади с выщипанными хвостами бегут резво; ноги у них косматые, уши длинные.

— Эх, вы, гусары,— весело покрикивает ямщик, постегивая их по резвым ногам.

Жарко становится. В поле тишь; на небе неподвижно стоят белые облака с висящими в воздухе ястребами.

Посредник перестает петь — одолела его дремота; у Рязанова тоже начинают слипаться глаза...

— Ты что же не кланяешься? а?

Рязанов открывает глаза: деревня, у тарантаса стоит мужик, посредник его спрашивает:

— Отвалятся у тебя руки — шапку снять? а?

Мужик молчит.

— Мне твой поклон не нужен,— толкует ему посредник.— Вас, дураков, вежливости учат, для вашей же пользы, понимаешь?

— Понимаем,— глядя в поле, отвечает мужик.

— А вот, чтобы ты вперед помнил и со всеми был вежлив, я тебя велю на сутки в анбар. Друзья,— обращается посредник к стоящим поодаль мужикам,— отведите этого невежу к старосте и скажите, что, мол, посредник велел его на сутки в холодную запереть.

Два мужика подходят, берут невежу под руки и ведут, не оглядываясь, тихо ведут, держа свои шапки под мышками. Невежа растопырил локти и переваливается из стороны в сторону; ноги у него короткие, босые.

— Трогай,— говорит ямщику посредник.

— Но! милые,— задумчиво вскрикивает ямщик.

Едут молча.

— Все еще из них эту грубость никак не выбьешь,— смеясь обращается посредник к Рязанову.

— Да,— отвечает Рязанов.

Съехали под гору. За речкой другая деревня видна Попадаются мужики из поля, конные и пешие с косами на плечах.

— Здорово, ребятушки! Обедать, что ли? — спрашивает их посредник.

— Обедать, кормилец.

— Хлеб да соль,— вслед им кричит посредник.

Въехали в деревню. По самой средине улицы лежит что-то большое, покрытое холстиною.

— Стой! Что это? ямщик, открой!

Лежит мужичье тело, в стоптанных лаптях, брюхо у него раздуло, глаза выпучены; в головах чашечка стоит, в чашечке медные деньги.

— Эй, баба, что это за тело?

— Прохожий, родимый, прохожий. Вот уж пяты сутки помер,— подходя к тарантасу, отвечает баба.— Бог его знает, с чего это он так-то. Пришел с товарищем, начал разуваться, закатился, закатился...

— Где ж товарищ?

— В избе сидит, воет.

— Сотник донес становому?

— Донес.

— Что ж он?

— А бог его знает, что он.

— Пахнет покойник-то?

— И-и, бяда! Ишь раздуло как.

— Ну, царство небесное,— вздохнув, говорит посредник и бросает в чашку двугривенный.

— Трогай!

Опять полевая дорога, жар и пыль, вьющаяся из-под лошадей; чахлый кустарник вдоль оврага; мужики, вереницею далеко стоящие в траве и дружно машущие косами; жидкий осиновый лесок, с кочками, комарами и небольшими лужицами зеленоватой воды между кочек. Сейчас же за осинником начинается село, разбросанное по косогору; за речкой стоит старый помещичий дом, с серыми стенами, зелеными ставнями и развалившеюся деревянною оградою; немного дальше, в лощине, другой, маленький, новенький, с молодым стриженым садом и с купальнею на пруду. Дальше еще барская усадьба — длинный, неуклюжий дом, с галереями, колоннами, выбитыми окнами и провалившеюся крышею; на косогоре виднеется еще дом, с соломенною крышею, но все-таки барский: ходят по двору тощие борзые собаки, клокочут индейки, попадаются и дворовые люди, с длинными примазанными висками, в казакинах.

— Помещиков, помещиков-то здесь...— как будто всматриваясь во что-то, говорит посредник.

— Много?

— Как собак.

— И хорошие помещики? — немного помолчав, спрашивает Рязанов.

— Куды к черту хорошие! Всё голь одна. Разорено! Гроша ни у кого за душой нет.

— Значит, все погибло, кроме чести.

— Нет; тут все, тут уж и честь погибла. Да и какая там честь, когда нечего есть. Поверите ли,— вдруг оборачиваясь к Рязанову, говорит посредник,— обидно! за своего брата, дворянина, обидно.

— Я думаю.

— Нет, ведь что они только делали, если порассказать; да и до сих пор что делают с этими несчастными крестьянами. Вы себе представить не можете, что это за народ. Где только можно прижать мужика, уж он прижмет, своего не упустит.

— Ну, а мужики-то свое упускают?

— Разумеется, если правду сказать, и мужик себя в обиду не даст: не тем, так другим, а уж доедет и он помещика.

— Стало быть, здесь происходит взаимное доезжание. Ну, а вы-то что же тут?

— Как что? Да ведь роль мирового посредника состоит...

— В чем-с?

— Ну, в разбирательстве там разных недоразумений.

— Из-за чего же возникают эти недоразумения?

— Да ведь вот вы видели: из-за разных там потрав и так далее.

— Одним словом, из-за имущества. Так ведь?

— Да, так.

— То есть одному желательно приобресть то, что другой вовсе не желает отдавать. Из-за этого?

— Ну, да.

— Так в чем же тут может быть недоразумение? В том, что ли, что в душе-то я и желал бы отдать вам эту вещь, но мне кажется, что я не желаю? Так, что ли?

— То есть как?

— Да вот я, например, возьму эту подушку и думаю себе: не отдам я ему; лучше я сам на ней буду спать. А тут приходит такой прозорливец и говорит мне: это — недоразумение. Ты хотя и думаешь, что тебе не хочется отдать Семен Семенычу эту подушку, но тебе это только так кажется, а в душе ты сам этого желаешь и даже после будешь благодарить меня за то, что я велел тебе отдать эту вещь Семен Семенычу Так-с?

— Разумеется, оно... видите ли... да я вот вам случай расскажу. Есть тут у меня в участке имение, в котором я должен сделать разверстание угодий; вот я и хочу приступить, а земля-то, оказывается, принадлежит крестьянам с незапамятных времен. Деды еще их купили на свои кровные деньги; но так как они сами тогда были помещичьи и не имели права владеть землею, то и купили на имя помещика. Тот помещик давно умер, а нынешний владелец ничего знать не хочет.

— Ну, и что же-с?

— Да то-с, что отнимут ее у крестьян, то есть не отнимут, а заставят ее выкупать.

— В другой раз?

— Да; в другой раз. Что ж прикажете?

— А вы-то что же?

— Да я тут ничего сделать не могу.

— А губернское присутствие?

— И оно тоже ничего не может, потому что в подобных случаях принимаются в расчет только одни письменные документы. Нет, мое-то положение представьте себе! Я говорю крестьянам: владелец желает отдать вам вот такой-то участок, а они мне отвечают: да ведь это вся земля-то наша.

— И вы уверены, что она действительно им принадлежит?

— Да как же! Совершенно уверен.

— А все-таки говорите, что владелец дает вам такой-то участок?

— А все-таки говорю. Что ж делать-то?

— Да. Это действительно недоразумение. И все в таком роде?

— Что?

— А недоразумения-то?

— Да почти что.

— Мм... Деятельность почтенная.

В это время тарантас поравнялся с помещичьей усадьбой: новенький домик, крытый соломою *под щетку*, вокруг с десяток молодых лип; тут же неподалеку новая изба, сарай и амбар. На дворе стоит сам владелец, седой, в архалуке, без шапки, кланяется.

— Мое почтение! — крикнул ему посредник и сделал ручкою.— Вот анафема-то,— прибавляет он, обернувшись к Рязанову.— То есть такая треклятая бестия, я вам скажу, что вы и в Петербурге ни за какие деньги не сыщете. Замечательная бестия! Он какие штуки делает, например: снял он полдесятины земли у кого-то подле самой дороги, посеял там овса, что ли, и караульщика посадил караулить. Как только скотина пойдет мимо, уж непременно какая-нибудь заденет или щипнет,— караульщик сейчас ее цап. Потрава! Ну, и берет штраф. Вот ведь шельма какая! А начнешь ему говорить,— помилуйте, говорит, что ж, ведь я человек небогатый; меня всякий может обидеть. Я этим только и кормлюсь. Ну, что вы тут сделаете с таким человеком? Остается плюнуть.

За усадьбою пошли крестьянские зады, с гумнами и коноплянниками; кузница, мельница на пригорке.

— А вот сейчас будет дом тоже одного любопытного субъекта,— объяснял посредник.— Представьте, он что сделал: когда получен был манифест об освобождении, и он, разумеется, получил, прочел, потом сейчас же запер в стол и говорит своим людям: «Если кто-нибудь из вас да посмеет только пикнуть об этой воле,— запорю».

Вправо показался помещичий дом, стоящий задом к лесу, выкрашенный дикою краскою с белыми разводами. Собаки выскочили со двора и бросились под лошадей.

— Знаете что? — заедемте обедать к одному господину. Мне же кстати нужно к нему, для соглашения с крестьянами.

Рязанов согласился; посредник велел ямщику завернуть на двор. На крыльцо вышла баба, с лоханкою, выливать помои.

Дома барин? — спросил ее посредник.

Дома,— сказала баба, выплеснув помои.

Ну, тоже и этот гусь хорош,— сказал Рязанову на ухо посредник, вылезая из тарантаса.— Наш брат, военный.

В передней никого не было, только охотничий рог да волчья шкура висели на стене. В зале, среди комнаты, стоял сам хозяин, еще молодой человек, с подвязанной щекой, и жаловался на зубную боль.

— Ничего говорить не могу,— сказал он, придерживая щеку.— Садитесь, пожалуйста.

Посредник спросил его о деле и намекнул насчет обеда.

— А я вот ничего есть не могу третьи сутки — зуб смеерть болит. Впрочем, я сейчас велю.

Подали водки и огурцов.

— Вы бы выдернули,— посоветовал посредник.

— Ммм...— застонал хозяин и замахал рукой.— Боюсь.

Посредник вздохнул и выпил водки; Рязанов тоже выпил. Помолчали. Хозяин ходил по комнате и плевал в угол. Через час принесли битки и яиц всмятку. Поели.

— Нельзя ли кликнуть мужиков? — спросил посредник.

Кликнули мужиков, посредник вышел к ним на крыльцо и начал соглашать их с помещиком. Мужиков было немного, всего человек пять; однако они не соглашались. Посредник несколько раз входил в комнату, весь красный и в поту, выпивал наскоро рюмку водки и, закусывая черным хлебом, вполголоса говорил хозяину:

— Ничего не поделаешь. Главное, этот, анафема, кузнец. Да вы прикажите его удалить!

— Ах да вы не слушайте их, делайте, что нужно,— отвечал хозяин, сходив предварительно в угол.

Посредник задумался, пожал плечами и опять отправился на крыльцо, но через несколько минут вернулся, говоря, что мужики еще требуют лугов. Хозяин выслушал, не говоря ни слова, потом вышел на крыльцо, сделал из своих пальцев какой-то знак и молча показал его мужикам. Мужики посмотрели и тоже ничего не сказали.

— Ну, что, православные, видели луга? — спросил их посредник, когда хозяин вернулся в комнаты.

— Видели,— отвечали мужики.

— Вот то-то и есть.

Хозяин ходил по зале, придерживая щеку и покачивая головой из стороны в сторону. Вдруг он повернулся, опять вышел к мужикам и, сдвинув со рта повязку, сказал кузнецу в самую бороду:

— Вот только что у меня зубы, а то бы я тебе показал. Моли бога, что зубы болят.

Кузнец попятился.

Соглашение продолжалось до заката солнца, и все-таки ничего из этого не вышло. Наконец посредник махнул рукой и велел подавать лошадей.

Поехали. Стало смеркаться.

— Куда ж теперь ночевать?— спросил у ямщика посредник.

— Да в волостную, к Петру Никитичу. Больше некуда.

— Ступай к Петру Никитичу.

— Там спокой,— заметил ямщик.

— Что-о?

— Спокой, мол.

— Черта там спокой,— недовольным голосом сказал посредник. Он был расстроен; но, приехав в волостную, несколько успокоился действительно.

Писарь, отставной солдат, собрался было спать. Зажгли свечку, послали за старшиной.

— Поглядите,— говорит посредник Рязанову.— Сейчас придет Петр Никитич. Вот, батюшка, голова-то — министр! Что, нерешенные дела есть какие-нибудь? — спросил он у писаря, уже стоявшего навытяжке у двери.

— Никак нет, васкродие.

— Стало быть, все благополучно?

— Точно так, васкродие.

— Вот видите,— сказал посредник Рязанову, самодовольно улыбаясь.— Уж я наперед знаю, что у Петра Никитича все в порядке: ни одной жалобы, ни драк, ни пьянства, ничего.

— Что же, тут общество трезвости, что ли? — спросил Рязанов.

Нет, какое там общество? Тут в третьем участке вздумали было крестьяне зарок дать (это еще до меня, впрочем), ну, и чем же кончилось? — передрали только их за это, больше ничего и не вышло. Теперь опять такое пьянство пошло, просто мое почтенье. А здесь нет пьянства благодаря распорядительности Петра Никитича.

Писарь во все время неподвижно стоял у двери и только иногда подходил к столу, ловко плевал себе на пальцы и, расторопно сняв со свечи, опять уходил к двери; кашлять и сморкаться он отправлялся в сени. В комнате было душно, маятник стучал медленно, поскрипывая и задевая за что-то, по стенам сидели мухи; на улице, далеко где-то, слышалось пение; в сенях кто-то возился и сопел...

— А что, не залечь ли нам на боковую,— зевая, сказал посредник, но в это время, мерно стуча сапогами, вошел старшина, поклонился и стал среди комнаты.

— Вот-с! вот вам рекомендую,— показывая на него рукою, сказал посредник.

Старшина, небольшой, плотный мужик, с проседью и спокойным лицом, еще раз поклонился и, заложив руки назад, молчал.

— Ну, Петр Никитич, как у вас, все благополучно? — спросил посредник.

— Все благополучно-с,— степенно отвечал старшина.

— Что уж и говорить про тебя! Разве у тебя бывает когда-нибудь неблагополучно?

— Случается-с.

— Ну, полно!

Старшина почтительно улыбнулся.

— А насчет той бумажки, что я прислал, как? — подписали?

— Подписана-с.

— У тебя, значит, без сумления?

— У меня этого нет-с.

— Молодец!.. Нет, вот я вам про него расскажу анекдот,— говорит посредник.— Праздник тут был в селе; мужики, обыкновенно, перепились. А он, надо вам сказать, заранее их предупреждал: смотрите, говорит, праздник придет, пить можете, гулять сколько угодно; ну, только чтобы безобразия у меня не было никакого. Хорошо. Вот перепились мужики так, что многие валялись на улице. Он их всех велел подобрать и в анбар. На другой день у них, разумеется, голова с пох-

мелья трещит. Петр Никитич мой ведет их к церкви, ставит на паперть на колени и по сту поклонов каждому велит сделать; молитесь! я, говорит, вас наказывать не буду, а вот помолитесь-ка богу, чтобы он простил ваше вчерашнее безобразие! Ну, те, делать нечего, кладут поклоны, а он стоит да считает. Так, я вам скажу, мужики мне говорили: лучше бы, говорят, он нам по двадцати пяти розог дал, только бы не заставлял поклоны класть, потому, понимаете, с пьяной-то головой каково это? Да, молодец, молодец Петр Никитич,— говорил посредник, трепля его по плечу.

Петр Никитич спокойно улыбался.

— Ну, брат, как бы нам теперь постель состроить?

— А я уж приказал там на дворе приготовить. Спокойнее будет-с.

— Отлично, брат.

— Приказов никаких не будет?

— Нету, брат; какие там приказы? Вот завтра уж поговорим.

Старшина пожелал спокойной ночи и ушел.

— Ты, брат, тоже ложись,— сказал посредник писарю.

— Слушаю,васкродие,— ответил писарь и повернулся налево кругом марш — спать. Посредник вышел. Рязанов посидел, посидел и тоже пошел на двор. В сенях кто-то бродил и шарил впотьмах.

— Кто это? — спросил Рязанов.

— Это я,— сказал посредник и запел: — тра-ра-та-та.

Рязанов прошел на двор. Там под навесом была уже приготовлена постель. Он начал было раздеваться и вернулся опять в комнату взять пальто. В сенях он наткнулся на ямщика, которого посредник выпроваживал, говоря:

— Шел бы ты себе, любезнейший, спать к лошадям!

— А вот я зипунишко захвачу. Агафья, посто-кась, где он тут был, зипун-от, у меня? — говорил ямщик сонным голосом, отыскивая впотьмах зипун.— Ах, про́клят он будь! Вот он! Ты на что у меня зипун унесла? Агафья!..

На другой день рано утром Рязанов сидел в комнате и пил чай, в сенях посредник разговаривал с мужиками; входил в комнату, прихлебывал из стакана чаю и опять уходил и все что-то горячился. Мужики возражали сначала, но потом стали стихать больше и больше, наконец совсем стихли; остался один угрюмый, монотонный голос, бесстрастно и ровно звучавший в ответ посреднику. Этот голос не умолкал. Посредник стал горячиться и кричать еще пуще — голос не умолкает... Вдруг...

— Ах, ты!

Бац, бац, бац — раздалось в сенях, и голос умолк. Тихо стало.

Рязанов, не допив стакана, взял фуражку и вышел из комнаты. В сенях стояла толпа мужиков и взбешенный посредник; с полу вставал мужик, дико ворочая глазами... поодаль, так же спокойно и самоуверенно, заложив руки за спину, стоял Петр Никитич.

Рязанов вышел на улицу, завернул в первые ворота и нанял мужика довезти до Щетинина.

К вечеру они приехали. Марья Николавна увидала его в окно, побледнела и выбежала на крыльцо.

— Что случилось? — крикнула она, протягивая руки.

— Да ничего,— спокойно отвечал Рязанов.— Он там драться стал... Ну, я и уехал. Бог с ним!

Щетинин тоже вышел на крыльцо.

— Что такое?

— А то, что вот он... приехал,— задыхаясь, говорила Марья Николавна.

Она не могла скрыть своей радости.

Щетинин холодно поглядел на нее, потом на Рязанова и пошел в комнату.

XI

Марья Николавна сидела в зале за роялью и одной рукою брала аккорды; Рязанов ходил по комнате; прямо в окно ударяло заходящее солнце.

— Что, Александр Васильич ничего вам не говорил? — спросила Марья Николавна, наклоняясь грудью на рояль.

— Ничего. А что?

— Нет. Я так только спросила.

Она взяла еще несколько аккордов и остановилась.

— А знаете,— сказала она,— вы это отлично сделали, что уехали от него[1].

— Что ж тут особенно хорошего?

— Понимаете, теперь весь уезд про это узнает. Скандал. Вот что хорошо.

— Я вовсе об этом и не думал.

Рязанов опять начал ходить. Марья Николавна, размышляя и улыбаясь в то же время, говорила про себя:

[1] От посредника. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

«Это мне очень, очень понравилось,— потом приложила палец к губам, еще подумала немного и сказала так же тихо: — очень... Вообще все хорошо»,— потом вдруг ударила по клавишам и громко, с лихорадочною силою заиграла марсельезу. Эти звуки в одно мгновение преобразили ее: глаза засверкали, она вся вытянулась, подняла голову и, грозно нахмурив брови, смело бросила свои красивые загорелые руки. Сделав последний внезапный переход, она прижала педаль и с новою силою ударила по клавишам. Все лицо ее сияло небывалою отвагою... Она кинула на Рязанова самоуверенный, вызывающий взгляд и остановилась.

Рязанов тоже остановился.

— Привычка-то что значит,— сказал он, подходя к рояли.— Вот вы заиграли марш, мне сейчас же и представилось, что вот тут, рядом со мной, ходит фельдфебель и твердит: левой, правой, левой, правой...

— Что вам за охота вспоминать об этих фельдфебелях,— с неудовольствием ответила Марья Николавна.

— Нет, изредка ничего. Это освежает мысли.

Марья Николавна посмотрела на него и спросила:

— Да вы знаете ли, какой это марш?

— Знаю.

— Так что же вы говорите!

— Я ничего не говорю.

— Однако вы должны же согласиться,— вставая, сказала она,— что и марши бывают разные.

— Еще бы.

— И этот совсем не то, что дармштадтский, например.

— Разумеется. Но какой бы он там ни был, а все-таки марш; следовательно, рано или поздно будет «стой — равняйсь» и «смирррно» будет; и этого никогда не нужно забывать.

— Я и не забываю.

— То-то же. Стало быть, не из чего и горячиться.

Марья Николавна замолчала; постояв немного перед Рязановым и соображая что-то, она отошла к окну и взглянула на солнце, которое в эту минуту кровавым пятном опустилось над лесом и нижним краем своим уже касалось его зубчатых верхушек; несколько минут она прямо, не сморгнув ни разу, смотрела на солнце, озарявшее все лицо ее грозным красноватым светом.

— Вы понимаете, что я делаю? — спросила она не шевелясь.

— Что?

— Я хочу *его* переглядеть.— Она указала на солнце.— Знаете, такая игра есть — кто кого переглядит.

Рязанов ничего не отвечал; прислонившись плечом к косяку, он глядел на нее сбоку: она по-прежнему стояла неподвижно, положив обе руки на спинку стула и слегка закинув голову, вся облитая горячим сиянием, и продолжала упрямо, почти с дерзостью смотреть на солнце. Наконец выражение лица ее стало напряженнее, брови сдвинулись, она вдруг быстро заморгала, закрыла глаза руками и отвернулась от окна.

— Ну, что? — спросил Рязанов.

— Не переглядела,— ответила она и засмеялась.

Рязанов тоже отошел от окна.

— Какая глупость мне пришла в голову,— продолжала она, не открывая глаз,— когда я смотрела на солнце. Я вспомнила, как меня в детстве пугали господом богом: мне тогда говорили, что и на него тоже нельзя смотреть.

— И вы верили?

— Нет; я и тогда не верила. Мне все это как-то смешно было. У моей няньки иконка была: бог-отец, сидящий на воздухе; только воздух был так гадко нарисован, точно будто Саваоф сидит на яйцах. Нянька меня, бывало, пугает им, а я ничего не боюсь. Как посмотрю на него, так и засмеюсь.

— А теперь-то вы не боитесь его?

— Конечно, не боюсь.

— Да так ли это? Подумайте-ка хорошенько! Может быть, это вы только так храбритесь.

— Какой вздор! Не только [его], я и вас даже не боюсь. Я вас только... уважаю...

Последнее слово она произнесла почти шепотом, как будто нечаянно обронила его, и в то же время бросила быстрый, пугливый взгляд на Рязанова.

Он стоял потупившись и щипал свою бороду.

— Пойдемте куда-нибудь,— вдруг сказала она, сделав движение к двери.

— Куда же?

— Да куда-нибудь, все равно, только уйдемте отсюда!

Рязанов пристально посмотрел на нее.

— Что же вам здесь-то не сидится? Кто вам мешает?

— Все мешает: стены, потолок, все. Я хочу теперь идти идти куда-то дальше, дальше...

Она остановилась.

— А вы знаете, что я вас теперь совсем не вижу,— говори-

ла она прищурясь.— Вместо лица у вас теперь зеленое пятно. Ах, как это странно! Ну, пойдемте же!

Она сбежала с террасы в сад и оглянулась: Рязанов задумчиво и медленно спускался с лестницы, продолжая одной рукой щипать свою бороду. Она подождала его и, когда он поравнялся с нею, спросила:

— А как вы думаете, Александр Васильич боится [бога] или нет?

— Я думаю, что боится.

В это время тихими шагами, с нахмуренным лицом, в залу вошел Щетинин и, засунув руки в карманы, остановился в дверях; потом вышел на террасу и начал было спускаться с лестницы, но на последней ступеньке остановился, поглядел вслед Марье Николавне с Рязановым, приложил к носу палец, подумал и вернулся.

XII

На дворе все еще жары стоят; жнитво подошло. У Марьи Николавны с Рязановым всё разговоры идут, и конца нет этим разговорам.

— Господи, что ж это такое будет? — вслух рассуждает сам с собою Щетинин, прохаживаясь из угла в угол в своем кабинете.

Полдень. На берегу озера, под тенью, на траве сидит Рязанов и, не двигаясь, смотрит на воду; солнце печет; по ту сторону, из-за кустов, белеет песок, поросший лопушником; у самой воды, пугливо оглядываясь кругом, сидит цапля; где-то кто-то в жилейку дудит. В двух шагах от Рязанова, прислонившись к дереву плечом, с зонтиком в руке, стоит Марья Николавна; по лицу ее и по белому платью медленно, почти незаметно ползут прозрачные тени. Глаза у нее полуоткрыты — ей трудно смотреть на свет; она утомлена зноем и тяжкою полуденною тишиною. Они оба молчат.

— Когда это лето кончится? — говорит она, безнадежно глядя в даль.— Хоть бы уехать, что ли, куда-нибудь.

— Не все ли равно, летом везде жарко,— помолчав, говорит Рязанов.

Опять молчат.

— Я воображаю, каково теперь этим несчастным бабам жать на такой жаре.

— Да-а.

— Ужасно!

— Вы бы им зонтики купили.

Марья Николавна нахмуривается, потом вдруг опускает зонтик и застегивает его на пуговку.

— Не хочу больше зонтика носить. Поле подарю.

Рязанов улыбается.

— Кому же это назло?

— Никому, самой себе.

— Да ведь им-то от этого не легче.

— Кому?

— Бабам-то. Они все-таки без зонтиков останутся.

Марья Николавна молчит и, крепко стиснув зубы, порывисто тычет зонтиком в землю.

— Зачем же вы чужой зонтик ломаете?

— Какой чужой?

— Да ведь это Полин.

— Это... это я не знаю, что такое,— быстро поднимая голову, говорит Марья Николавна и уходит домой.

Сумерки. Рязанов сидит в своей комнате у окна и, подпершись локтями, смотрит в сад. К окну из сада подходит Марья Николавна.

— Что вы тут сидите?

Рязанов подбирает свои локти.

— Какая скука!

— А вы бы музыкой занялись.

— Какой вздор! Разве музыка поможет?

— Ну, книжку почитайте!

— Все это не то вы говорите.

— Чего же вам нужно?

— Сама не знаю. Мне как-то все это... грустно мне очень.

Рязанов ничего не отвечает.

— Понимаете,— скороговоркой продолжает она,— я знаю, что все это никуда не годится, что нужно что-то такое делать, поскорей, поскорей... Ну, может быть, не удастся... страдание... Что же такое? Это ничего... По крайней мере знаешь, за что. А то что это такое? Я хочу жить. Что же вы молчите?

— Что же мне прикажете говорить?

— Скажите что-нибудь!

— Да разве на это можно отвечать сколько-нибудь основательно: вы сами посудите!

— Да вы хоть так, неосновательно отвечайте!

— Что же толку-то будет?

— Все толк, толк...

— Странная вы женщина! Да ведь сами же вы его добиваетесь.

— Ну, да, да. Разумеется. Не слушайте меня. Я сама не знаю, что говорю. Прощайте!

Вечер. На террасе сидит Марья Николавна и приготовляет чай; Рязанов на другом конце просматривает только что привезенные газеты. Входит Щетинин, бросает на них небрежный взгляд, стоит несколько минут на средине террасы, зевает и говорит:

— Однако вечера-то прохладнее стали. Сыро, я думаю, гулять.

Молчание.

— Не наливай мне чаю: я не хочу,— говорит он жене.

Она молча отодвигает его стакан в сторону.

— А вы хотите? — спрашивает она Рязанова.

— Что-с? — очнувшись, спрашивает он.

— Чаю хотите?

— Хочу.

Он подходит к столу и, всматриваясь в Щетинина, подвигает себе стул.

Щетинин задумчиво стучит по столу пальцами.

— Ну, что в газетах? — спрашивает он, не глядя на Рязанова.

— Да ничего особенного; по части внутренних дел все хорошо: усмирение идет успешно, крестьяне освобождаются, банки учреждаются, земские собрания собираются. Ну, а в европейской политике небольшое замешательство вышло по случаю того, что Наполеон опять имел с Бисмарком дружеское шептание.

Марья Николавна улыбается; Щетинин сидит, опершись на руку щекою, и смотрит на лепешки; потом берет одну из них, разламывает и говорит:

— Как этот Степан стал скверно лепешки печь,— просто ни на что не похоже, точно деревянные.

На это никто ничего не отвечает.

— Маша, ты хоть бы сказала ему, что ли.

— Ты бы сам сказал.

Щетинин, не поворачивая головы, а подняв только брови и скосив глаза, долго смотрит на жену; она очень внимательно пьет чай.

— О-охо-хо,— насильно зевает Щетинин.— Когда же это мы в лес-то соберемся? — опять заговаривает он немного

погодя.— Собирались, собирались, так и не собрались. Вот и Иван Павлыч с женою тоже хотели с нами.

— Что за лес? — вполголоса замечает Марья Николавна.

— Нет; оно бы хорошо, знаешь, съездить эдак чаю напиться, отдохнуть. А? Как ты думаешь, Рязанов?

— Да, ничего.

— Ну, вот видишь! Вот и он тоже согласен, Маша!

— Что?

— И он с нами поедет!

— Ну, и пусть его едет. Мне-то какое дело?

— Да ведь ты прежде сама это любила.

— Прежде!..

— Нет; я думал... одним словом... черт знает, ужасно както здесь.. душно,— внезапно сдергивая с себя галстух, говорит Щетинин и встает из-за стола.

— Вот осень придет,— рассуждает он сам с собою, стоя уже на другом конце террасы и глядя в сад,— здесь еще нужно акаций подсадить, а то пусто как-то оно... выходит. Опять эти мужики проклятые,— раздражительно произносит он, заметив подходящих к крыльцу мужиков,— когда они меня оставят в покое? — говорит он, хватаясь за голову, и уходит.

На террасе опять наступает молчание. Рязанов, прочитав письмо, рассматривает конверт.

— Что вы рассматриваете? — спрашивает его Марья Николавна.

— Печать смотрю. Скверный какой нынче сургуч стали делать.

— А что?

— Да не держится.

— Послушайте: сколько стоит дорога отсюда до Петербурга?

— Это смотря по тому как ехать.

— Ну, самый дешевый способ?

— Рублей пятьдесят.

— Только-то! Это ничего.

— Уже вы не собираетесь ли?

— Н-не знаю. А что?

— Ничего...

Марья Николавна пристально всматривается в него.

— А что бы вы сказали, если бы я поехала?

— Ничего бы не сказал. Я не знаю, зачем бы вы поехали.

— Не знаете?

— Не знаю.

— Гм.

Марья Николавна придает своему лицу небрежное выражение, встает из-за стола и, напевая что-то, подходит к перилам террасы; долго стоит, опершись обеими руками, и, прищурясь, всматривается в картину, широко раскинувшуюся позади сада: на синие озера, подернутые вечерним туманом, на лиловатые кучи столпившихся на западе облаков и бледное, мало-помалу холодеющее небо... В саду наступила уже тихая, росистая ночь, и на дворе совсем тихо; только слышно, как во флигеле Иван Степаныч играет на скрипке «Коль славен наш...»

— Любили вы когда-нибудь прежде? — вдруг оборачиваясь к Рязанову, спрашивает Марья Николавна.

— Нет.

Она долго и недоверчиво смотрит ему в лицо.

— Отчего?..

— Некого было.

Она медленно поворачивается к нему спиною и, нагнувшись лицом к перилам, почти шепотом спрашивает:

— А теперь?..

— Н-н...

— Хоть бы ужинать, что ли,— неожиданно входя в двери, говорит Щетинин.

Воскресенье. Утром, после обедни, пришел батюшка и принес Марье Николавне просвирку. Подали завтрак.

— В церковь что редко жалуете? — спросил ее батюшка.

— Не хотите ли водочки? — спросила она батюшку.

Он на это ничего не сказал, только крякнул и, засучив правый рукав, потянулся к графину.

— Жарко, батюшка,— ответил Щетинин.

— Тепло-с,— ответил он, намазывая масло.

Щетинин ходил по комнате; Марья Николавна сидела за столом и рассеянно крошила хлеб.

Выпив рюмку, батюшка откусил кусок хлеба и, поглядев на следы своих зубов, оставшиеся на масле, спросил:

— А этот, как его? господин... студент... все еще здесь проживает?

— Здесь,— глухо ответил Щетинин и сейчас же спросил батюшку: — Как дела ваши?

— Что дела-с? Дела худы.

— Что такое?

— С коровой своей никак не соображусь: молока не дает,

и так надо думать, что лишится она молока совсем. Да и попадья что-то не тово — животом все жалуется.

— Это нехорошо,— заметил Щетинин и опять пошел ходить из угла в угол.

— Утомился,— сказал батюшка, усаживаясь за стол.— О боже мой! День-то жаркий, да и сверх того проповедь сказывал.

— Какую проповедь? — с участием спросил Щетинин, очевидно думая о другом.

— Так, небольшое слово сказал. Да и слово-то, признаться, давно уж оно завалялось у меня; старое слово, от тестя покойника досталось мне. Ну, все-таки, как бы то ни было. Нельзя. Строгости эти пошли...

— О чем же слово-то? — спросила Марья Николавна.

— О любомудрии-с.

— О чем?

— О любомудрии, сударыня,— отчетливо повторил батюшка.

— Это что же такое? Это значит, если кто любит мудрить, что ли? — улыбаясь, спросила она.

— Н-да-с; мудрить,— тоже улыбаясь, ответил батюшка.— Сами знаете, какое ныне время. Мне вон онамедни в городе кафедральный протопоп сказывал,— преосвященный его призывал,— уж он, говорит, уж он, говорит, мне пел, пел; ежели, говорит, да чуть что услышу, в порошок истолку, сгниешь в дьячках, говорит; так я, говорит протопоп,— вы как думаете? — насилу ушел; дверей-то, говорит, не найду. Не найду дверей, и шабаш. Спасибо, служка указал. Так вот оно какое дело. Гордость-то нас до чего доводит,— заключил батюшка, обращаясь к Щетинину.

— Да,— заметил Щетинин.

— Не хотите ли еще? — спросила его Марья Николавна, указывая на графин.

Батюшка посмотрел на него испытующим взглядом.

— Гм. Да как вам сказать? Оно точно что... С горя нешто? Ха, ха, ха!

Батюшка выпил.

— Да; строго, строго нынче насчет этих порядков,— говорил он, нюхая корку.— Фф! строго.

— Без строгости нельзя,— проходя мимо стола, рассеянно сказал Щетинин.

Батюшка обернулся.

— Хорошо вам говорить, Александр Васильич, нельзя. А я вот вам скажу теперь наше дело.

Щетинин остановился.

— Благочинный?

— Да. Вы как об нем полагаете?

— Так что же?

— А то же-с, что в старые годы, например, книги представлять, метрики там эти,— гусь, ну, много, много, ежели я ему поросенка сволоку, полтинник денег. И еще как довольны-то были! А теперь поди сунься-ка я к нему с поросенком-то,— осрамит. «Что ты, скажет, к писарю, что ли, пришел?» Бутылку рому, да фунт чаю, да сверх того три целковых деньгами. Глядишь, они, метрики-то эти, в шесть целковых тебе и влетят, как одна копеечка. Верно. Вот что-с. Новые порядки. А попу теперь ежели еще рюмку выпить,— вдруг заговорил батюшка, переменяя тон,— то это будет в самую препорцию. Чего-с?

— На здоровье,— сказала Марья Николавна.

Батюшка налил рюмку и, поглядев в нее на свет, спросил:

— Дворянская?

— Дворянская,— ответил Щетинин.

— Пронзительная, шут ее возьми,— заметил батюшка, покачав головой, потом выпил и с решимостию отодвинул от себя графин.

— Ну ее к богу!

Щетинин все ходил по комнате, по-видимому чем-то сильно озабоченный, и почти не обращал внимания на то, что вокруг него происходит. Он время от времени останавливался, рассеянно смотрел в окно, ерошил себе волосы с затылка, говорил сам себе «да» и опять принимался ходить. Марья Николавна равнодушно следила за ним глазами и вообще имела скучающий вид; батюшка замолчал, начал вздыхать и вдруг собрался уходить. В то же время вошел Рязанов. Марья Николавна оживилась и предложила ему идти провожать батюшку. Рязанов согласился. Марья Николавна взяла зонтик, но сейчас же его бросила и торопливо повязала себе на голову носовой платок. Пошли.

Сходя с лестницы, батюшка покосился на Рязанова, потом на Марью Николавну и, вздохнув, сказал: «Грехи!»

Едва успели они отойти от крыльца, как Марья Николавна, поравнявшись с Рязановым, начала его спрашивать:

— Где же вы вчера целый день пропадали? Что же я вас не видала?

— Марья Николавна! — крикнул сзади батюшка.

Она оглянулась. Батюшка прищурил один глаз и, подняв палец кверху, сказал:

— Не доверяйтесь ему — обманет.

Она улыбнулась и опять заговорила с Рязановым.

— А я вчера вас все в саду искала.

Они вышли на улицу.

— Поведения худого,— рассуждал батюшка, идя позади их.— Так и запишем: весьма худого. Гордость, тщеславие, презорство, самомнение, злопомнение... Нехорошо...

Марья Николавна шла, не обращая внимания.

— Господин Рязанов!

Рязанов оглянулся.

— Квоускве тандем, Катилина... Доколе же, однако... По-латыни знаешь? А? как небось не знать. Пациенция ностра... утор, абутор, абути — испытывать, искушать. Худо, брат, садись! А вы, барыня, тово... Вы меня извините!

— Что вы тут городите,— сказал Рязанов, отставая от Марьи Николавны.

— Сшь!

Батюшка взял Рязанова под руку и подморгнул ему на Марью Николавну.

— Не пожелай!.. Понятно? Парень ты, я вижу, хороший, а ведешь себя неисправно. А ты будь поскромней! С чужого коня, знаешь? — середь грязи долой. Согрешил, ну, и кончено дело. Тáците![1] Сшь. И прииде Самсон в Газу, и нечего тут разговаривать.

— И шли бы вы лучше спать,— сказал Рязанов.

— И пойду. Захмелел... Что ж с меня взять, с пьяного попа? Мы люди неученые.

— Прощайте, батюшка,— сказала Марья Николавна, останавливаясь у церкви.

— Прощайте, сударыня! Вы меня извините, бога ради. А тебе...— Батюшка обратился к Рязанову,— тебе не простится. Мне все простится, а тебе нет. Вовек не простится. Нельзя. Никак невозможно простить, потому этого презорства в тебе много. Вот что. Адью!

Батюшка сделал ручкой и запер за собой калитку.

Расставшись с батюшкою, они долго шли рядом и оба молчали. Тропинка, по которой они шли, вывела их к мельнице. Запертая по случаю праздника, вода глухо шумела внизу, пробираясь сквозь щели затвора; в пруде полоскались утки. Перебравшись через плотину, они очутились по ту сторону

[1] Тáците!— молчите! (От *лат.* tacere — молчать.)

реки, на песчаном берегу, в кустарнике. Высоко стоящее солнце жарко палило широкие заливные луга, усеянные зелеными кочками, и темные, подернутые зеленою плесенью воды; сквозь прозрачно-волнующийся воздух четко виднелся противоположный гористый берег, густо заросший мелким лесом и залитый ярким полуденным светом. Марья Николавна остановилась в кустах и села на траву. Рязанов тоже сел.

— Славно как здесь,— сказала она, усаживаясь в тени.

Рязанов опустился на один локоть и посмотрел вокруг. Марья Николавна подумала и улыбнулась.

— Как это странно,— сказала она,— что меня все это теперь только забавляет. Право. И этот поп. Прелесть как весело!

Она повернулась к воде, ярко блиставшей между кустов, и жадно потянула в себя свежий воздух.

— Хорошо здесь,— повторила она,— прохладно; а там, видите, на горе какой жар? Деревья-то. Видите, как они стоят и не шевелятся? Их совсем сварило зноем. А?

— Вижу.

— И трава вся красная...— прищуриваясь, говорила она.— Мелкая травка... а там точно лысина на бугре. Вон лошадь в орешнике. Видите, пегая лошадь стоит? И ей, бедной, тоже тяжко... Хорошо бы теперь,— помолчав, продолжала она,— хорошо бы, знаете что? на лодке уехать туда вверх по реке; заехать подальше и притаиться в камышах. Тихо там как!.. А? Поедемте,— вдруг сказала она, решительно вставая.

— Что это вам вздумалось? Да и лодка-то рассохлась, течет.

— Так что ж такое?

— Намочитесь.

— Вот еще! Велика важность.

— Как хотите.

— Мы вот что сделаем: заедем туда, за острова, и пустим лодку по течению; пусть она несет нас куда хочет.

— Да ведь дальше плотины не уедем. Опять сюда же нас принесет.

— А впрочем...— сообразив, сказала она,— впрочем, в самом деле уж это я что-то очень... расфантазировалась. Пойдемте! Домой пора. Но мне все-таки весело,— начала она опять, когда они прошли через плотину,— мне сегодня как-то особенно легко. Мне хочется со всеми помириться, простить всем моим врагам. Ведь можно? Как вы думаете? Только на один день заключить временное перемирие? на один день? а? Ведь можно?

— Да вы знаете ли, зачем хорошие полководцы заключают временные перемирия?

— Зачем?

— А затем, чтобы под видом дружбы высмотреть неприятельскую позицию и дать отдохнуть войскам.

— Ну, и я хочу высмотреть позицию; пойдемте по селу,— смеясь, сказала она и, свернув с дороги, пошла мимо амбаров в солдатскую слободку.

— С кем же это вы воюете, любопытно знать? — спросил Рязанов.

— Сама с собой пока.

— А.

Место, по которому они шли, было гухое, несмотря на то, что находилось вблизи большого села: какой-то косогор, внизу лужа с навозными берегами, навозный мосток. В луже, подобрав портчёнки, бродили ребята; по берегу торчали кривые ощипанные ветлы; сквозь их жидкие листья белели крошечные, сбитые в кучу, кое-как лепившиеся по косогору мазанки одиноких солдаток, с огородами, в которых тоже кое-где стояли обломанные и загаженные птицами деревья; с разоренных плетней шумно кинулись воробьи. Дальше в одну сторону пошел овраг, заросший чахлым кустарником; в овраге валялась ободранная собаками дохлая лошадь. В другую сторону — крестьянские гумна и село.

Марья Николавна остановилась на площадке и, подняв руку над глазами, посмотрела кругом.

— Как я, однако, давно не была здесь,— сказала она, как будто удивляясь чему-то.

И чем дальше они шли, тем серьезнее становилось ее лицо, тем внимательнее и тревожнее начала она оглядываться по сторонам, как будто она нечаянно зашла в какое-то новое, незнакомое место и не узнает, совсем не узнает, куда это она попала...

Пустынная сельская улица, ярко освещенная солнцем, была мертва и безлюдна: мужики кое-где лениво слонялись у ворот; бабы и девки, притаившись в тени, шарили в голове друг у дружки; маленькие девчонки забрались в новый избяной сруб и, сидя в нем, что есть мочи визжали какую-то песню; на крышах неподвижно торчали ошалевшие от зноя галки.

Марья Николавна сняла с головы платок и пошла по холодку край дворов. Рязанов шел за нею следом, глядя в землю.

В одном проулке, у плетня, кучей сидели девки и затянули

было «ох и уж и что»... но, заметив господ, остановились. Марья Николавна подошла к ним и ласково спросила:

— Что ж вы остановились?

Девки встали.

— Что ж вы не поете?

Девки, ничего не отвечая, глядели по сторонам.

— Мы бы вот послушали,— уже не так твердо прибавила Марья Николавна.

Девки вдруг начали фыркать, зажимая себе носы и прятаться друг за дружку.

Марья Николавна с сожалением поглядела на них, потом взглянула на Рязанова и пошла дальше.

Девки захохотали. Марья Николавна оглянулась — они затихли и вдруг всею кучею бросились бежать от нее на гумно. Марья Николавна слегка нахмурилась и пошла.

Миновав несколько дворов, она остановилась и начала присматриваться к одной избе. Изба была ветхая, с одним окном, подпертая с двух сторон подпорками; в отворенные ворота глядела старая слепая кобыла с отвисшею нижнею губою и выдерганною гривою. Она стояла в самых воротах и, качая головою из стороны в сторону, потряхивала ушами. Тут же перед избою стоял мальчик лет четырех и держал длинную хворостину в руках.

Марья Николавна подошла к мальчику и погладила его по голове; мальчик не трогался с места и не шевелился.

— Где твоя мать? — спросила его Марья Николавна.

Он ничего не ответил и даже не поглядел на нее, только поднял плечи кверху и стал языком доставать свою щеку; потом бросил хворостину и ушел в избу. Марья Николавна заглянула в ворота: на дворе валялся всякий хлам, на опрокинутой сохе сидела курица.

— Мамка к тётки Матлёни побигла,— вдруг крикнул тот же мальчик из окна.

Марья Николавна подошла к окну; но в избе было темно, и со свету ничего нельзя было разглядеть; только пахло холодною гарью и слышно было, что где-то там плачет еще ребенок. Марья Николавна начала всматриваться и понемногу разглядела черные стены, зипун на лавке, пустой горшок и зыбку, висящую середь избы; в зыбке сидел ребенок, весь облепленный мухами. Он перестал кричать и с удивлением смотрел на Марью Николавну; мальчик, которого она видела у ворот, дергал зыбку и приговаривал:

— Чу! Мамка скола плидет. Чу!

— Это брат твой, что ли? — спросила Марья Николавна.

— Это Васька,— ответил мальчик.

Мальчик, сидевший в зыбке, ухватился руками за ее края и покачивался из стороны в сторону, вытаращив испуганные глаза на Марью Николавну,— посмотрел, посмотрел и вдруг закашлялся, заплакал, закричал...

— Он у нас хваляит,— заметил мальчик и опять принялся его качать.

Марья Николавна хотела было еще что-то спросить, но поглядела в окно, подумала и пошла. У ворот по-прежнему стояла слепая кобыла и, потряхивая ушами, беззаботно шлепала своею отвисшею губою.

Рядом с этою избою стояла другая, точно такая же, и дальше все то же: гнилые серые крыши, черные окна с запахом гари и ребячьим писком, кривые ворота и дырявые, покачнувшиеся плетни с висящими на них посконными рубахами. Людей совсем почти не видно было, только среди улицы стоял, выпучив бессмысленные глаза и развесив слюни, Мишка-дурачок и, покачиваясь, тянул: лэ-лэ-лэ...

Марья Николавна шла все скорее и скорее, опустив глаза и стараясь, по возможности, не взглядывать по сторонам.

— Что вы приуныли? — шутя спросил ее Рязанов.

Она ничего не ответила, только вскинула на него своими черными печальными глазами и опять сейчас же опустила их в землю.

— А как же перемирие-то? Или уж раздумали?

— Раздумала,— тихо сказала он, кивнув головою, и пошла еще скорее.

В самом конце села, у волостного правления, толпился народ. Марья Николавна остановила какую-то старуху и спросила ее:

— Что это они там делают?

— А господь их знает, родима. Должно, судьбишша у их там идет. Промеж себя что-нибудь.

Марья Николавна пошла было прямо, но потом остановилась и, сообразив, обошла вокруг пожарного сарая; подкралась сзади к плетню и посмотрела. Рязанов подошел и тоже стал смотреть. Сквозь щели было видно все, что происходит на дворе: на крылечке в рубашке сидел старшина; неподалеку от него, опершись на палочки, стояли старики в затасканных шляпенках, с медными бляхами на зипунах; дальше толпился народ. Время от времени на крыльце появлялся писарь, спорил с мужиками, кричал кому-то: «нет, ты поди сперва почешись! Почешись поди, знаешь, где? а потом уж я с тобой буду разговаривать»,— и опять уходил. Мужики что-то кри-

чали ему вслед и спорили между собою. Сначала ничего нельзя было разобрать, но потом понемногу дело разъяснилось; спор шел о податях; спорила и горячилась собственно, толпа, должностные же лица в это дело не мешались; старшина, сидя на приступочке, зевал и рассеянно посматривал по сторонам, старики разговаривали между собою, ковыряя батожками землю. Но тут же, у стены, только немного поодаль от прочих, стояли еще два мужика без шапок и в спор не вступались. Один из них, высокий, черноватый, с широким, угрюмым лицом, скрестив на груди руки и подавшись немного вперед, внимательно вслушиваясь в говор толпы, тревожно поворачивал голову то правым, то левым ухом и в то же время то поднимал, то опускал, то сдвигал свои густые черные брови; у другого лицо было совсем бабье, дряблое, с жиденькою белокурою бороденкою и маленькими красными глазками. Он преспокойно смотрел вверх и очень внимательно следил за воробьями, как они скачут по крыше пожарного сарая и что мочи орут, стараясь отнять друг у дружки какую-то корку. Ему даже это смешно стало...

— Ну, так как же, братцы? — громко спросил один старик, отходя от стены и оглядывая всю толпу.— Колько ни толкуй, а, видно, тово...

Оба мужика встрепенулись — и вытянулись.

— Да нет, ты погоди! Нет, постой,— опять заговорили в толпе.

— Чаво стоять-то? Отбузунил их, да и к стороне.

— Знамо. Рожна ли тут еще,— подтвердил другой.

— Им потачки давать нечего.

— Зачем потачку давать?

— Что на них глядеть? Да пра.

— Гляди — не гляди, а подать за них все плати.

— Ишь они ловки!

— Мир за них плати, а они этому и рады.

— Что ж, неужели им теперь плакать? Ах, братцы мои,— пошутил кто-то.

Все засмеялись, даже старшина полюбопытствовал:

— Чаво это?

— А мы про то, ваше степенство, что, мол, попужать их маненько. Эдак-то лучше,— скромно доложил один маленький мужичок.

— Это не вредно,— подтвердил старшина и опять зевнул.

— Для страху, чтобы страх знали,— заметил один старик.

— Опосля сами благодарить станут,— прибавил мужичок.

— Обнаковенно.

Вдруг все замолкли; совсем тихо стало, только слышно, как старик какой-то кашляет и кто-то все еще бормочет про себя недовольным голосом: «Ишь ты... на-ка что... так-то...» Чернобровый мужик притаился и, зажмурив глаза, не трогался с места; другой, с полуоткрытым ртом и наклоненной набок головою, тоже остался недвижим... Но тут старшина встал и, потягиваясь, произнес:

— Что ж, драть так драть; черта ли прохлаждаться?

Народ колыхнулся; неплательщики, стоявшие у стены, оба в одно время взглянули на старшину и потупились. Опять начался бестолковый говор, кто-то крикнул: «Погодить бы...», но уже никто никого не слушал, толпа задвигалась, мужики всходили на крыльцо, путались, некоторые пошли вон из ворот. Из правления вышел сотский, неся под мышками два пучка хворосту; перед крыльцом опросталось место.

— Кого вперед? — спросил один десятский, снимая с себя зипун и расстилая по земле; толпа расступилась, потому что в это время один из неплательщиков (чернобровый) продирался одним плечом вперед, выпучив глаза и с ожесточением потряхивая бородой; маленький выборный мужичок держал его за рукав. В то же время на этого чернобрового мужика наскочили двое и хотели его повалить; но он отчаянно замахал руками и повалился перед стариками на колени, без толку мотая головой и говоря захлебывающимся голосом:

— Отцы! голубчики! кормилицы! батюшки!..

Позади его, слезливо посматривая на стариков и придерживая рукою гашник, стоял другой неплательщик.

— Клади его,— тихо сказал старшина...

Чернобровый мужик заметался, но на него навалилось несколько человек, окружили, толпа осела посередке и глухо завозилась над ним; «Батюшки»,— в последний раз, но уже тихо, как будто под землею простонал тот же голос; толпа отшатнулась, что-то жикнуло, и вслед за тем раздался дикий, безобразный мужичий крик...

Марья Николавна взвизгнула и в ужасе, схватив себя за голову, бросилась от плетня. Она бежала без оглядки, заткнув себе уши, по улице, мимо церкви, сбивая с ног встречных, ничего не видя, добежала домой, бросилась в свою комнату, упала на кровать и зарыдала. К ней вошел Щетинин.

— Что с тобой? Что случилось?

Она махнула рукой:

— Уйди! Все уйдите!..

XIII

Марья Николавна целый день не выходила из своей комнаты: Щетинин ломал руки; наконец велел накрывать на стол и послал Рязанова звать обедать, а сам в волнении ходил по комнате; однако не выдержал — пошел к нему во флигель, но встретился с ним на крыльце, взял его под руку и повел в залу. Войдя в комнату, он поглядел на дверь и, путаясь в словах, сказал:

— Послушай! Ты знаешь, между нами там... несходство в убеждениях, но это ничего не значит... Я тебе верю. Слышишь ли?

— Ну, слышу.

— Я знаю, что... ты меня обманывать не станешь... Мое положение... Ты понимаешь, войдя в мое положение, как это для меня важно, знать причину того, что тут вышло. Я уверен, что ты объяснишь мне все. Ты мне этим докажешь свою... дружбу.

— Это я могу.

— Растолкуй же мне, сделай милость, что это с ней случилось. Какая причина?

— Причина очень простая,— спокойно отвечал Рязанов,— увидала, как мужика дерут!

— И больше ничего?

— Больше ничего.

— Честное слово?

— Чудак! Да ведь сам же ты сказал, что веришь мне.

— Да!..

Щетинин хлопнул себя по лбу.

— Пойдем обедать,— прибавил он, вздохнув.— А я-то сдуру вообразил... Впрочем, и ты, брат, хорош,— говорил он весело, садясь за стол.— Как же это ты позволил ей присутствовать при этой экзекуции?

— То есть как?

— Почему ж ты ее не увел оттуда?

— Зачем?

— Да ведь согласись, что... такая картина хоть кого перевернет.

— Ну так что ж?

— Да ведь ты с ней был?

— Так ты-то что же думал? Ты надеялся, что я с твоею женою поступлю в этом случае так, как поступают осторожные маменьки с своими неопытными дочками, то есть даст ей книжку и говорит: на вот, душенька, это ты можешь чи-

тать, а вот что пальцем закрыто, того тебе нельзя. Так я тебе скажу, друг любезный, что, во-первых, я за это никогда не брался, а во-вторых, такой штуки, брат, пальцем не закроешь.

— Да, ну, положим, что, по-твоему, оно, может быть, и так, только все же... да, как ты хочешь, неприлично, наконец.

— А! ну, это уж твое дело. Напрасно же ты ей прежде не внушал, что благородной даме неприлично смотреть на мужиков в то время, когда их порют.

В продолжении дня Щетинин несколько раз подкрадывался к жениной комнате и прислушивался, но, ничего не расслушав, объявил прислуге, что барыня почивает, и не велел ее беспокоить. Вечером он вздумал было заняться делом, но не мог: порылся в бумагах, постучал на счетах, взял книгу, почитал... Нет, что-то не читается; начал лампу поправлять: вертел, вертел ее, только и сделал, что начадил полну комнату, наконец погасил совсем, зажег свечу, отобрал несколько нумеров газет и, осторожно ступая, отправился в залу. Там целый день были заперты окна, а потому было душно, как в бане, и пахло что-то странно, краской не краской, вообще каким-то кадетским корпусом. Щетинин открыл окна, сел у стола и долго просидел так, с газетою на коленях, присматриваясь к своей собственной зале и беспрестанно прислушиваясь к чему-то.

Поздно вечером, часов в одиннадцать, вошел Иван Степаныч.

— Тише, тише,— махая рукой, шепотом сказал ему Щетинин.— Вам что?

— Пожалуйте ружье!

Щетинин удивился.

— Зачем?!

— Чего-с?

— Зачем вам ружье?

— Для собаки-с. По селу бешеная собака ходит, так нужно ее застрелить.

— Как же вы теперь ее застрелите? — темно.

— Я завтра пораньше. Да еще ведомости одолжите, когда прочтете. Мне там очень желательно продолжение насчет стриженых девок. Читали, как их ловко отделывают? Это одна мать. Она прямо об себе говорит: я, говорит, мать. Очень чудесная статья. Вы прочитайте!

Щетинин ничего не ответил и, помолчав, спросил:

— Послушайте, кого это там в волостной сегодня наказывали, вы не знаете?

— Не знаю-с.

— Как это глупо, однако,— продолжал Щетинин.— Черт знает что такое! Хоть бы вы им сказали, зачем они это делают. Неужели так уж другого места нет, непременно на улице.

— Это что,— смеясь, ответил Иван Степаныч,— я у исправника жил, у Петра Иваныча, так вот пороли-то мы их,— страсть! Уж можно сказать, что пороли. Бывало, выйдет на крыльцо, трубку закурит...

— Ну, да; знаю, знаю,— перебил его Щетинин.

— Чего-с?

— Слышал. Так вы возьмите ружье-то, оно там, у Агафьи в кладовой... Да тише только, пожалуйста,— Марья Николавна почивает.

Иван Степаныч с ружьем зашел к Рязанову в комнату и застал его за писаньем.

— Что это вы, сочиняете?

— Да, сочиняю.

— Ну, сочиняйте! А я какую штуку хочу устроить!

— Какую?

— Сельскую стражу хочу завести из крестьянских ребятишек.

— Зачем же это?

— А собак бить бешеных. Я уж их набрал штук двадцать, этих ребят; всем велел, чтобы палки у них были. Такие палки завел с шишками, форменные. И учу их. Вот потеха-то! Учу. Они у меня называются, знаете как? — «гмины». Эй ты, гмина! Я кто такой? — Иван Степаныч.— Сейчас за виски, чтобы не смели Иваном Степанычем звать,— солтыс.— Кто я такой? — Солтыс.— Ну, так; молодец, сахару ему. Ха, ха, ха! И комиссия мне только с этими ребятишками, я вам скажу. Прощайте!

Просидев часу до второго ночи, Щетинин заснул, не раздеваясь, в кабинете на диване; на другое утро проснулся поздно. На дворе было пасмурно, шел мелкий, почти невидимый дождик; в окна пробиралась гнилая, холодная сырость. Щетинин протер глаза, посмотрел вокруг себя и хотел было потянуться, как вдруг увидал на столе запечатанное письмо. Он взял его, повертел, пожал плечами и распечатал. В письме было написано:

«Я уезжаю. Не старайтесь меня уговаривать, потому что это ни к чему не поведет: я уж давно все обдумала, на все решилась и знаю теперь, что мне нужно делать. Я вам теперь скажу, что я *вас не люблю*; да и не только вас, но и вообще все, что здесь делается, все эти люди... я их ненавижу, мне все это гадко. А вас я разлюбила за то, что вы (сознательно или

бессознательно,— все равно) заставили меня играть глупую роль в вашей глупой комедии. Я давно уже догадывалась об этом, но вчера один случай окончательно показал мне, в каком гнусном деле вы заставляли меня принимать невольное участие. Вы, разумеется, этого не понимаете; но тем хуже для вас. После всего этого я не могу здесь жить и не хочу, и кроме того... да, одним словом, не хочу. И больше, пожалуйста, вы со мной не объясняйтесь...»

Пробежав письмо, Щетинин несколько минут стоял среди комнаты с полуоткрытым ртом, держа себя одною рукою за голову, потом бросился в комнату к Марье Николавне,— дверь заперта. Он постучал и просил позволения войти; ему сказали: «Нельзя». Постояв у двери, он пошел и написал записку, в которой повторил просьбу позволить ему переговорить об очень важном деле; через несколько минут на той же записке был получен ответ: «После».

Он скомкал записку и, засунув ее, вместе с рукою, в карман, постоял среди комнаты, подумал и пошел во флигель, к Рязанову; оказалось, что его дома нет. Щетинин вышел на двор и без шапки отправился, глядя в землю, прямо, мимо конюшни, мимо сада, через дорогу, по меже, в поле... Дождик его стал мочить; он все идет, не оглядываясь, не поднимая глаз. Шел, шел и пришел на какой-то пчельник. Тут он остановился, сел на траву, вытащил из кармана руку со сжатою в ней запискою, развернул ее и вдруг припал лицом к земле и заплакал, как дитя, катаясь по траве и оглашая одинокий пчельник своими безумными рыданиями.

XIV

Серый, ненастный день почти незаметно превращался в сумерки; в воздухе сеялась мелкая изморозь. Неподалеку от села, узкой лесной тропинкой, засунув в сапоги панталоны и заложив руки за спину, шел Рязанов. Рядом с ним шел юноша лет семнадцати (дьячков сын), в белом холщовом пальто и босиком — сапоги он нес с удочками вместе на плече; а в другой руке на нитке висели у него караси; впереди бежал, без толку мыкаясь из стороны в сторону, большой легавый щенок, с коричневыми ушами и неуклюжими толстыми лапами. Он то и дело забивался в кусты, но сейчас же являлся обратно, по-видимому для того, чтобы показать свою губастую морду, и, поколотив по ногам дьячкова сына длинным, необрубленным хвостом, сейчас же опять исчезал. Тропинка, по которой они шли, вела их разными изворотами почти по самому краю обрыва, густо поросшего орешником и мелким

дубом; она то заводила их в глубь перелеска, в непроходимый кустарник, где вдруг обдавало их крупными каплями падавшей с листьев росы и где они должны были, нагнувшись, пробираться сквозь мокрую чащу и ломать по дороге сучья; то выводила их эта тропинка на простор, на самый край крутого обрыва, заросшего в этом месте короткой скользкою травою, изрытого дождевыми потоками, усеянного мелкими каменьями. И тут открывалась перед ними картина подернутых сероватым туманом полей и лугов, с посиневшими озерами. Внизу, под обрывом, темными кучами виднелись крестьянские избы.

Дьячков сын шел, не глядя себе под ноги, не засматриваясь по сторонам и только в крайнем случае разводя попадавшиеся навстречу ветви. Он очень скоро и озабоченно что-то объяснял Рязанову, рассуждая при этом рукою, в которой были у него караси:

— Нет, я еще хочу испытать одно средство,— говорил он, подумав.

— Какое же это? опять убеждение?

— Да ведь что же делать-то, Яков Васильич? Больше средств никаких нет.

— Вы вот все лето его убеждаете, да что-то плохо он поддается на это. Что же он вам вчера сказал?

— Все то же. Обыкновенно у него разговор: ты, говорит, несчастный осел, вот женить, говорит, тебя нужно, и больше нечего с тобой разговаривать.

— И вы все-таки надеетесь, что он убедится и пустит вас в университет? Чем же вы его убедите, любопытно знать?

— А я тут в книге нашел одно такое место...

— Да?

— Там очень хорошо развита эта мысль, что родители сами становятся поперек дороги своим детям и лишают их счастия.

— Ну, так что же из этого?

— Там и примеры есть.

— Это все пустяки. Никакие убеждения, никакие примеры для родителей не существуют. Вы придаете книгам значение, а для вашего отца все это — чепуха, которую пишут такие же шелопаи, как и вы; так что ж тут с книгами соваться!

Дьячков сын задумался.

— В таком случае, зачем же он давал мне возможность развиваться?

— Никогда не давал. Он вам доставил возможность сделаться попом, Христа славить, требы исправлять. Он, как

отец, желал вам счастия, которое, по его мнению, для вас доступно.

— Какой он мне отец, он враг мой, больше ничего,— сказал юноша, с ожесточением ломая ветку, загородившую ему дорогу.

— А коли враг, так вы с ним так и поступайте! К чему ж тут убеждения? Тут просто нужна интрига, военная хитрость, коли на то пошло. Чего ж вы смотрите?

— Я тут один ничего не могу сделать, Яков Васильич. Вот если бы...

— Что?

— Если бы вы мне помогли в этом деле, совсем бы другая музыка пошла. А что же я один?

Рязанов молчал и чесал в затылке; дьячков сын смотрел ему в лицо и ждал.

— Хорошо. Пойдемте,— сказал Рязанов.

Дьячков сын весело свистнул; щенок в ту же минуту выскочил из-за куста, и они все трое стали спускаться с обрыва.

Через час Рязанов вернулся домой, усталый и по колено в грязи. Проходя по двору, завернул в кухню и попросил себе самовар.

Когда он пришел во флигель, совсем уже почти смерклось; в комнате было темно и пахло сыростью, в саду шумели деревья, и падавшие с них капли дождя глухо ударяли в окна. Рязанов зажег свечу и, не снимая фуражки, остановился среди комнаты, задумчиво осматривая стены, деревенской работы кровать и стол, с разбросанными на нем книгами и листами писаной бумаги. На перегородке, оклеенной старыми газетами, неподвижно стояла его собственная тень, с перегнувшейся на потолке головою; за перегородкою, спросонья судорожно вздрагивая и шурша крыльями, возился чиж в новой клетке.

Постояв несколько минут, Рязанов снял с себя мокрое платье, надел теплое пальто и, пожимаясь, сел за стол. Бумага, лежавшая перед ним на столе, была исписана мелким неразборчивым почерком и закапана чернилами. Он развернул новую книжку журнала, порывшись в бумагах, отыскал какую-то черновую тетрадь и долго сличал ее с книжкою, пощипывая бороду одной рукой, а другою водя по строкам; потом захлопнул книжку, вместе с тетрадью швырнул ее на окно и задумался. Вошел лакей и принес на подносе чайный

прибор; только что Рязанов принялся наливать, как за перегородкою послышался шорох женского платья.

— Что это вы, нездоровы? — с озабоченным видом говорила Марья Николавна, скоро входя в комнату.

— Нет, ничего, озяб только. Сыро. Был в лесу, ну и промок.

— Как же вам не стыдно что вы себя не бережете,— говорила она, качая головою.- Хотите малины? Постойте, я вам налью. Давайте сюда, вы не умеете. А не лучше ли велеть здесь затопить? а? Я сейчас скажу

— Да вы не хлопочите! Я вот напьюсь горячего, и все пройдет.

— Ну, да. Как же! Так сейчас и прошло. Разве можно этим шутить?

— А вы, кажется, и серьезно меня больным считаете. И зачем вы сюда пришли?

Марья Николавна оглянулась.

— Вы что же этим хотите сказать? Я вам мешаю?

— Нет, я сказал потому, что вот вы ходите по сырости, ноги промочите.

— А вам какое дело до моих ног? Вот это мило. Может быть, я нарочно хочу их промочить, может быть, я умереть хочу.

— Да! ну...

— Что ну-то?

Рязанов улыбнулся.

— Смешная вы женщина,— сказал он, застегивая пальто на все пуговицы, и сел к столу.

Марья Николавна тоже села, налила ему стакан малины и поставила перед ним графин с ромом.

— Если я и умру, так обо мне плакать будет некому,— сказала она, складывая на коленях руки.

Рязанов взглянул на нее исподлобья и ничего не ответил потом взял графин и, наливая себе рому сказал

— А Александр Васильич-то?

Марья Николавна махнула рукой

— Это мне все равно.

Рязанов положил сахару в стакан, помешал и спросил:

— А другие не все равно?

— Разумеется.

Стало быть, вы не то хотите сказать. Плакать-то будут, только не те, кому следует; вы и боитесь, что, в случае вашей смерти. на этот счет может выйти беспорядок. Так, что ли?

— Ну да. Однако какой я глупый разговор завела, об смертях там об разных... Бог знает что!

— Чем же глупый? Нет, ничего; разговор подходящий: сумерки, погода скверная; самое время о смертях рассуждать

Она молча покачала головой; Рязанов подождал, что она скажет и хлебнул из стакана. В это время где-то за садом грянул ружейный выстрел. Марья Николавна вздрогнула

— Что это такое? — тревожно спросила она.

— А это, должно быть, Иван Степаныч забавляется.

Она подумала, и пугливо посмотрев вокруг, сказала:

— Нет, не хочу я умирать, не хочу.

— Да вас, кажется, никто и не принуждает.

— Давайте вот что... давайте лучше говорить о чем-нибудь другом, о хорошем. Я ведь, знаете, зачем к вам пришла?

— Ну-с!

— Я хочу поговорить с вами об одном очень важном для меня деле.

— Так что же?

— Прежде всего я хочу поговорить собственно о вас.

— Обо мне? Ну, это предмет еще не слишком интересный.

— Для меня, напротив, очень; тем более, что с ним связаны и другие еще там разные.

— Да-с. Так что же вам угодно от меня?

— Во-первых, мне угодно, чтобы вы со мной не разговаривали таким образом.

— Каким?

— А вот этим тоном. Я очень люблю, когда вы с другими так говорите, только не со мной.

— Да ведь тон... как вам сказать? это такая вещь, которая зависит не от одного желания.

— От чего же?

— Да больше, я полагаю, от окружающей нас жизни.

— Вы хотите сказать, что в этой жизни диссонансы?

— Нет, я хочу сказать, что тон задается жизнью, а мы только подпеваем. Пожалуй, можно и повыше его поднять, да что толку? Жизнь сейчас и осадит.

— Так вы находите,— подумав, сказала Марья Николавна,— что в этой жизни (она показала рукою вокруг себя) нет ничего такого, что бы заставило вас говорить хотя немножко не так, как вы привыкли. Хорошо. Положим, что это так. Ну, а прежде? Неужели в вашей жизни не было таких случаев, каких-нибудь там происшествий, так чтобы вы рассердились или пришли в восторг? а? Были?

— Конечно были, да что из этого?

— Ну, а теперь? вот здесь? Ну, что вы думаете теперь, в настоящую минуту? О своем положении, например, что вы думаете? Скажите!

— О моем положении-то? Да что ж о нем думать? Вообще живу я теперь на летнем положении, в деревне, время провожу приятно; простудился было немного, но теперь напился малины и начал потеть; ну, вот еще думаю, что сидит передо мною женщина, хорошая женщина, и пересыпаем мы с нею из пустого в порожнее. Вот и все.

— Нет, вы не так меня поняли.

— Очень может быть.

— Я хочу знать, как вы смотрите на все, что окружает вас здесь, в деревне; на все, что здесь происходит. Неужели с тех пор, как вы приехали сюда, не случилось ничего такого, что бы могло вас поразить, удивить, обрадовать или огорчить?

— Не помню, право. Должно быть, не было. Да я не знаю, что это вам кажется странным. Если бы вы захотели подумать, вы убедились бы и сами, что нет тут ничего такого особенного. Жизнь как жизнь: все совершается в строгой зависимости и надлежащем порядке, случайностей никаких нет и быть не может. Чему же радоваться, о чем сокрушаться? В риторике Кошанского есть такой пример (и бог его знает только, как он туда попал): «Вот, говорит, медведь душит волка, волк режет овцу, овца ест траву, трава из земли сок получает; а лев, говорит, и медведя, и волка, и овцу, и всех побеждает». Вот это порядок. Теперь какие же тут могут быть случайности? Разве что резал волк овцу, да не дорезал, потому что его самого в это время медведь задушил, или что лев мимо медведя прошел и не тронул его?.. Такие случайности бывают,— это точно; но удивляться этому я, право, надобности никакой не вижу.

— Это я все понимаю, но почему же, когда вы говорите об разных там делах, у вас выходит так, как будто вы находите, что все это так и должно быть? Я, конечно, этому не верю.

— Напрасно.

— Как напрасно? Да ведь вы это говорите нарочно, для них?

— Напротив; я и для них, и для вас, и для всех говорю именно то, что думаю.

— Стало быть, вы находите, что все эти гадости так и должны быть?

— Какие гадости?

— Да вот, что... ну, я не знаю... Одним словом, все

это хозяйство... ну, вот, что надо мужиков наказывать, давать им за работу как можно меньше и прочее.

— Я никогда не говорил, что так надо и что иначе и быть не может.

— Но ведь вы находите, что все это очень естественно и натурально.

— А вы не находите? Так это потому только, что вы не хотите подумать. Если, положим, человека посадят в угарную комнату, и он там угорит,— так это, по-вашему, будет неестественно? Если ему не дадут есть двое суток и у него живот подведет, так это, по-вашему, будет не натурально?

— Ну, конечно, так; только согласитесь, что уж это вовсе не естественное желание морить другого голодом?

— Я с этим никак не могу согласиться, потому что если на двоих отпущена только одна порция хлеба и из этих двоих один сильнее другого, то со стороны сильнейшего будет самым естественным делом — отнять этот хлеб у слабейшего. Что же может быть натуральнее этого побуждения? И это, однако, нисколько не мешает человеку в другом случае самого себя лишать пищи в пользу другого, то есть следовать совершенно противоположному побуждению, которое в свою очередь тоже очень естественно и натурально. Все зависит от условий, в которые человек поставлен: при одних условиях он будет душить и грабить ближнего, а при других — он снимет и отдаст с себя последнюю рубашку. Видимые результаты всегда естественны и натуральны, когда причина их известна; да сила-то не в них.

— А в чем же?

— В том, чего мы с вами не видим и не знаем. Икс такой есть — неизвестный; так вот в нем-то вся и штука, а это все... все это гроша медного не стоит.

Рязанов замолчал и выпил залпом стакан остывшей малины.

— Вот вы говорите,— начал он опять,— вы говорите, почему я не ужасаюсь, не радуюсь, не удивляюсь тому, что вижу здесь. Хорошо. Но что же я здесь вижу? какие могут быть здесь такие удивления достойные картины? Ну, вот прежде всего я вижу прилежного земледельца, вижу я, что этот земледелец ковыряет землю и в поте лица добывает хлеб; затем примечаю я, что в некотором отдалении стоят коротко мне знакомые люди и терпеливо выжидают, пока этот прилежный земледелец в должной мере насладится трудом и извлечет из земли плод; а тогда уже подходят

к нему и, самым учтивым манером отобрав от него все, что следует по правилам на пользу просвещения, оставляют на его долю именно столько, сколько нужно человеку для того, чтобы сохранить на себе зрак раба и не умереть с голоду. Это картина нумер первый. Чему я тут могу удивляться, я вас спрашиваю? Прилежанию земледельца? Но ведь он потому, собственно, и называется прилежным; это качество ему присвоего издревле; он так и по-латыни даже называется: sedulus rusticus — прилежный земледелец, стало быть, тут и разговаривать нечего. Теперь уж поздно рад не рад, а будь прилежен, потому что реноме такое заслужил. И удивляться нечему. Еще чему же? Великодушию моих знакомых? — Но если бы они не были великодушны и сразу отняли бы у него все, ведь они лишили бы его возможности впредь наслаждаться трудом, они уморили бы его с голоду, тогда кто же бы стал трудиться на пользу просвещения? Стало быть, надо было свеликодушничать; стало быть, и тут удивительного мало. Необходимость! Вот и все. И вы, надеюсь, тоже не удивляетесь? Нет? Прекрасно. Что же еще я вижу здесь? Вижу я других моих знакомых, вижу их сидящих на реках вавилонских, сидящих и плачущих, выкупными свидетельствами горьки слезы утирающих. Это картина нумер второй. Но причина их скорби, вероятно, и вам известна: опять нужда, опять-таки необходимость; стало быть, и тут... да нет, знаете ли,— оживляясь, заговорил Рязанов,— знаете ли, что вся эта механика до такой степени проста, что ведь серьезно нужно удивляться тому, что есть еще на свете люди, которые над этакими пустяками ломают голову, не понимают, удивляются... Ведь после этого что же? После этого надо удивляться тому, что я вот напился потогонного да вдруг и вспотел. Как это странно в самом деле!

— Все это так. Положим. Но ведь согласитесь, что нельзя же на все это смотреть хладнокровно, нельзя не скорбеть, что все это так.

Да что толку в этой скорби? я знаю многих, которые скорбят о том, что вот, дескать, народ, такой великий, доблестный народ, что столько сил, надежд и прочего, и все это, можно сказать, ни за нюх табаку пропадает. Отлично. Это все равно, что я вот пойду в лес, стану перед дубом и буду рассуждать: «Ах, боже мой! Такой прекрасный дуб и весь загажен птицами, и черви-то его, беднягу, точат, и свиньи тут же кстати пользуются провиантом; а кабы этот самый дуб да в хорошие руки, что бы тут можно добра

наделать? одних полозьев сколько бы тут вышло, не говоря уж об ушатах, бочках, ведрах и прочей разной домашней утвари. Да и паркет, пожалуй, вышел бы отличный». А? Как вы находите, прискорбно это или нет?

Ну, да. Я понимаю. Это значит, что здесь нечего делать.

— Нет, это значит только, что есть такая точка зрения, с которой самое любопытное дело кажется таким простым и ясным, что на него скучно смотреть. Вы желали знать мой взгляд на вещи, так вот он самый к вашим услугам. Но обыкновенно люди этого не любят и, как нарочно, выбирают такие дела, в которых черт ногу переломит, потому что, хотя толку от этого бывает мало, зато на каждом шагу можно удивляться, радоваться и ужасаться. Ну, время-то и проходит, и кажется, что как будто в самом деле живешь.

Марья Николавна задумалась.

— Да, это правда,— наконец сказала она,— лучше жить хоть как-нибудь, хоть глупо, да жить, чем так...

— Однако вот эта жизнь уж перестала вам нравиться. А почему? Вы поняли ее нелепость и уж не можете жить этою жизнью. Стало быть, чем больше вы будете узнавать жизнь вообще, тем больше и больше будете лишаться возможности жить, как люди живут.

— Но что же тогда? — почти с ужасом спросила Марья Николавна,— что же остается делать человеку, который потерял возможность жить так, как все живут?

— Остается...— Рязанов посмотрел кругом,— остается выдумать, создать новую жизнь, а до тех пор...

Он махнул рукой

– Нет, погодите! Скажите мне: есть же у вас какая-нибудь жизнь, которой вы живете?

— Конечно, есть.

— Ну, вот мне бы хотелось только узнать ее, какая она.

— Напрасно. Не стоит.

— Но почему же?

— А потому, что это и не жизнь, а так, черт знает что, дребедень такая же, как и все прочие.

Она остановилась.

— Нет, не может быть.

Рязанов пожал плечами.

— Я вам не верю. Вы не хотите только мне сказать.

— Поймите же, что нечего сказать.

— Неужели я этого не стою? Послушайте,— вдруг заговорила она и протянула ему руку.— Хотите вы быть моим другом? а? хотите?

Он молча, не глядя ей в лицо, пожал ее руку, потом осторожно освободил свою и положил ее на стол.

Марья Николавна, покачнувшись к нему, ждала, что он скажет.

— Да,— наконец выговорил он,— это, конечно, очень приятно, только...

Что?

— Только я, право, не понимаю, какая же между нами может быть дружба,— кончил он вполголоса, как будто сам с собой рассуждал.— Ничего из этого не выйдет.

— А если вы не понимаете,— скороговоркой прибавила она,— так я вам скажу, что я уезжаю отсюда.

— То есть как? Совсем?

— Да, совсем. Между мной и моим мужем все кончено Я свободна.

— Вот как,— глядя в пол, тихо произнес Рязанов.

— Теперь я бы желала только одного,— все больше и больше воодушевляясь, говорила Марья Николавна,— я бы желала устроить так мою жизнь, чтобы я могла все силы, все способности мои употребить на то, чтобы хоть в чем-нибудь вам быть полезной. Я много не желаю, мне хотелось бы только хоть чуть-чуть помогать вам в ваших занятиях. Что вы мне скажете, то я и буду делать. Сначала, конечно, мне будет нужна ваша помощь, потому что я ведь ничего не умею; а потом я привыкну понемногу. Таким образом мы и будем помогать друг другу...

— В чем?

— Как в чем?!.

— Подумали ли вы, в чем же это мы с вами будем помогать друг другу? И какое это такое занятие вы нашли, я не понимаю хорошенько. Учиться, что ли, мы будем друг у друга, или так просто жить?.. Да нет; постойте! прежде всего вот что: вы-то собственно, зачем вы едете?

— Вы все-таки не знаете?

— Все-таки не знаю.

— Хорошо. Я вам скажу. Я еду для того, чтобы начать новую, совсем новую жизнь — мне эта опротивела; эти люди мне гадки, да и вся эта деревенская жизнь. Я могла жить здесь до тех пор, пока я еще ждала чего-то, одним словом, пока я верила: теперь я вижу, что больше ждать мне нечего, что здесь можно только наживать деньги, да и то

чужими руками. К помещикам и ко всем этим хозяевам я чувствую ненависть, я их презираю; мужиков мне, конечно, жаль, но что же я могу сделать? Помочь им я не в силах, а смотреть на них и надрываться я тоже не могу. Это невыносимо. Ну, скажите же теперь, ведь это правда? Ведь незачем мне больше здесь оставаться? да?

— Да, разумеется; если уж это вам так противно.

— Вы это так говорите... Мне кажется, вы не желаете, чтобы я ехала?

— Напрасно вам это кажется. Напротив, я желаю, чтобы вы делали именно то, что вам хочется; но, кроме того, я еще желаю получить ответ на вопрос, который я вам сделал: зачем вам хочется *туда?*

Он показал в окно.

— Что вас влечет dahin, dahin? Уж не думаете ли вы серьезно, что там растут лимоны?[1]

— А знаете ли, в самом деле, как я представляю себе, что такое *там?* Я всегда воображала, что там где-то живут такие отличные люди, такие умные и добрые, которые все знают, все расскажут, научат, как и что надо делать, помогут, приютят всякого, кто к ним придет... одним словом, хорошие, хорошие люди...

— Да,- в раздумье говорил Рязанов,— хорошие, хорошие люди... Да, были люди. Это правда.

— А теперь?

— И теперь, пожалуй, еще с пяток наберется.

— Как? Отчего так мало? Где же они?

— Гм! Странно как вы спрашиваете! Да разве они не люди? разве они тоже не подвержены разным человеческим слабостям? Одни умирают, а другие не умирают...

— Так что же?

— Так просто погибают...

— Как погибают?

— Да так вот, пропадет — и кончено. Вон как в балетах: все танцует, все танцует, найдет на такое место — вдруг хлоп! пропал.

Марья Николавна вздохнула и задумалась.

— Да, подобрались покрупнее-то которые, подобрались,— рассуждал между тем Рязанов,— осталась одна мелкота. Впрочем, вы на нее не смотрите, что она мелкота. Это нужды нет. Она, мелкота-то эта, все дела спра-

---

[1] Dahin *(нем.)* - туда. Рязанов цитирует «Песнь Миньоны» Гете «Туда, туда, где цветут лимоны».

вит и все эти артели заведет... на законном основании; они вас там приютят и все порядки вам расскажут, как и что... да, впрочем, сами увидите.

— А вы? — с удивлением спросила Марья Николавна.

— Н-нет, я уж так как-нибудь обойдусь, собственными средствами.

— Да почему же? Разве вы не верите в успех этого дела?

— Как не верить. Нельзя не верить. Успех-то будет несомненно, только мы-то вот, кажется, немножко того... немножко опоздали для этого успеха.

Рязанов медленно обвел глазами комнату и, откинувшись на спинку стула, провел рукой по волосам; Марья Николавна напряженно следила за каждым его словом и, не сморгнув, пристально смотрела ему в лицо.

— Да,— снова заговорил он,— жизнь — штука любопытная, я вам скажу. Так вот всю видишь, кажется, ее насквозь и человека знаешь вдоль и поперек; чего бы, кажется, еще? Так нет; все мало. Еще чего-то нужно. Страсть нужна. Тут нужно просто прийти и взять... Однако я вот говорю, говорю, а сам все эту малину прихлебываю, да и забыл совсем, что она с ромом, черт ее возьми! Пьян напился.

Он отодвинул от себя стакан.

— То-то я замечаю, как-то уж очень я тово... фигурно стал выражаться,— прибавил он, выпрямляясь на стуле.

И действительно, на лице у него выступали багровые пятна, а глаза беспокойно и подозрительно переходили с одного предмета на другой. Он встал и сделал несколько шагов по комнате, видимо стараясь ступать как можно тверже.

— А я было хотела спросить вас еще об одной вещи,— нерешительно сказала Марья Николавна.

— О какой вещи?

Рязанов обернулся и, засунув руки в карманы, остановился перед Марьей Николавной.

— Что ж, спрашивайте! Да только я-то вот закутил по случаю сырой погоды.

— Это ничего.

— Впрочем, вы ведь, кажется, желали даже видеть меня в ненормальном состоянии, так вот вам отличный случай.

Марья Николавна подняла голову и посмотрела ему в лицо.

— Что вы смотрите? Вы думаете, я буду откровеннее? Нет, на меня вино производит совершенно обратное действие: я становлюсь еще недоверчивее, грубее. Да я, кажется, и в трезвом-то виде не слишком деликатно обращался с вами. А? Марья Николавна! Так ведь? Грубо я с вами поступал? Вы на это не сердитесь! это все пустяки...

Он покачнулся.

— Сядьте,— тихо сказала она, взяв его за руку.

— Ну-с, так какая же это вещь-то, о которой вы хотели спрашивать? — говорил он, садясь опять на прежнее место.

— Вы мне все-таки не сказали... Вы мне ничего положительно не сказали о том...— она замялась и, все ниже и ниже нагибаясь к столу, с расстановкой, почти шепотом, прибавила,— неужели вы не знаете до сих пор...

— Я знаю только одно,— перебил ее Рязанов,— и самым положительным образом знаю, что я завтрашний день отсюда уеду.

— Куда? — быстро поднимая голову, спросила Марья Николавна.

— Да это смотря по тому, как... вообще в разные места.

Марья Николавна не спускала с него глаз и все еще ждала чего-то.

— Больше к югу,— прибавил Рязанов.

Она не шевелилась, даже не вздрогнула и продолжала по-прежнему смотреть на него, хотя по глазам ее видно было, что она уже не ждет ничего и мысли ее полетели дальше.

— Время подходит ненастное,— продолжал Рязанов, глядя в окно,— дождь идет. Видите, погода-то какая сволочь!

Марья Николавна все смотрела на него и, должно быть, не слушала; взгляд ее перешел с Рязанова на стену и остановился; на лице у ней ничего не выражалось: оно было совсем неподвижно и только вдруг как-то осунулось, точно после трудной болезни. Рязанов замолчал и начал пристально всматриваться в нее. Слегка нахмурив брови, он водил глазами по всему ее лицу, по вытянутым и неподвижно лежащим на столе рукам ее, а сам в то же время основательно и не торопясь мял свои собственные руки, так что пальцы на них хрустели; потом хотел было вздохнуть, набрал воздуху, но сейчас же закусил губу и подавил этот вздох; потом встал и задел за столовую ножку.

— А?! — вдруг очнувшись, пугливо спросила Марья Николавна.

Рязанов молча доставал с окна какую-то книгу.

Она провела по лицу рукой, посмотрела вокруг и, наступив себе на платье,— ничего не замечая,— сделала было несколько шагов к двери; но тут она остановилась и обернулась. Рязанов стоял, потупившись, у окна, с книгою в руке. Марья Николавна взглянула на него и ровным, холодным тоном сказала:

— Прощайте!

— Куда вы? — тихо спросил он.

— Я еду... то есть теперь я иду домой, а потом поеду...

— Туда?

— Да, туда,— твердо сказала она и пошла к двери.

— Желаю вам успеха,— не трогаясь с места, проговорил он уже в то время, когда она уходила из комнаты, и почти в то же мгновение изо всей силы швырнул книгу под стол и, схватив себя обеими руками за волосы, бросился вперед... но тут же остановился, опустил руки, покачал головой, улыбнулся и стал ходить по комнате.

XV

Ночью шел дождь, и к утру погода совсем расклеилась: небо все сплошь заволокло тучами, пошла слякоть.

Щетинин сидел в кабинете на диване, поджав под себя ноги, и задумчиво смотрел в окно. В последнее время он очень изменился и похудел; да и в самом костюме его стало заметно неряшество: он был без галстуха, в старом затасканном пиджаке и в туфлях. Тут же на диване около него валялась книга; за письменным столом сидел Иван Степаныч и дописывал какую-то бумагу; из передней слышался мужичий кашель и отрывистое чавканье грязных сапог. Щетинин взял было книгу, подержал ее в руках, посмотрел, даже помуслил палец для того, чтобы перевернуть страницу, но тут же опять задумался и загляделся в окно, хотя, собственно говоря, там решительно не на что было смотреть: по двору с ноги на ногу пробирались по кирпичикам какие-то мокрые люди; по крышам, нахохлившись, сидели воробьи и уныло встряхивали мокрыми крыльями

— Дописал-с,— резко произнес Иван Степаныч, кладя перо на стол.— Извольте подписать!

Щетинин нехотя встал с дивана, лениво взял перо, подписал с одного маху: «Землевладелец, коллежский секретарь

Александр Васильев сын Щетинин» — и опять сел на диван.

— А я шкуру-то эту отдал выделать,— заговорил Иван Степаныч, засыпая песком бумагу.

— Ага,— равнодушно произнес Щетинин.

— Шапку хочу сделать, собачью. Скунсовая аккурат будет. Что застрелил-то я.

— Мгм.

— Нет, я вас хочу спросить,— вставая, говорил Иван Степаныч.— Александр Васильич!

— Что?

— Вы науки знаете?

— Знаю.

— Я хочу вас спросить, что правда это или нет?

— Да что?

— Ведь она бешеная была.

— Кто?

— А шапка-то. Ведь она от бешеной собаки.

— Ну, так что ж?

— Я слыхал, что ежели, говорят, ее близко к воде поднести, так она вся вот эдак, шапка-то, дыбом встанет шерсть-то на ней. Вы об этом в книжках не читали?

— Нет, не читал.

Иван Степаныч задумался.

— А может, и врут. Да мне, черт их возьми совсем, я все-таки сошью,— решил он, махнув бумагой.— А то еще, пожалуй, воротник выйдет к шинели. А? Собачища страшенная. Вы как думаете, выйдет? Вот эдакая вот!

Он показал руками.

— Да выйдет. Я знаю, что выйдет,— говорил Иван Степаныч, стоя перед Щетининым,— вот одно только нехорошо,— заметил он, покачав головой.

— Что нехорошо? — очнувшись, спросил Щетинин.

— Да, говорят, в церковь нельзя в этой шинели ходить.

— Почему же?

— Да ведь он собачий, воротник-то.

— Ну, это ничего,— заметил Щетинин,— а вы вот что: вы отдайте бумагу-то мужикам да перетолкуйте там с ними о делах.

— Эх, уж эти мне толки,— с неудовольствием сказал Иван Степаныч и отправился в переднюю. Через минуту оттуда уже слышалась брань.

Щетинин опять задумался. В это время вошел Рязанов. На лице его заметно было желание казаться как мож-

но равнодушнее, а потому оно выходило уж как-то слишком беззаботно. Щетинин, заметив его издали, поморщился было немного, но, взглянув ему в лицо, спросил:

— Что, ты, я слышал, нездоров?

— Нет. Я пришел проститься,— отвечал Рязанов, садясь с ним рядом на диван,— я еду

— Как? уже?

Щетинин привстал.

— Вместе?..

— Я еду один,— отчетливо сказал Рязанов.

Щетинин снова опустился на диван.

— Когда же? — спросил он, переводя дух.

— Когда лошадей приведут. Я уж послал.

Щетинин молча щипал подушку.

— Что ж тебе за охота в такую погоду? — с притворным участием спросил он наконец.

— Да заодно уж мочиться-то: не сегодня, так завтра, не все ли равно?

— Возьми тарантас хоть, по крайней мере до города доехать.

— Вот еще! О пустяках толковать.

Рязанов махнул рукой.

— Ну, как знаешь. Куда ж ты,— в Питер?

— Нет, так, куда придется. Да не в этом дело. Я ведь вот зачем, собственно, пришел...

Щетинин еще раз вздохнул и, поджав под себя ноги, обернулся к Рязанову, стараясь, впрочем, не глядеть ему в лицо.

- В последнее время,— начал Рязанов,— у нас с тобой там какие-то недоразумения вышли. Мне-то это все равно но ты, кажется, имеешь повод быть мною недовольным так я вот объясниться хотел на прощанье.

Щетинин пожал плечами.

— Я, право, не знаю, какое же у нас с тобою может быть объяснение. Впрочем, конечно... я одно только могу сказать, что я этого не ожидал от тебя.

— А я думаю, напротив, что этого всегда надо было ожидать.

Щетинин вспыхнул.

— Чего же ты хочешь от меня, наконец? — закричал он, вскакивая с дивана.— Ты меня лишил всего: ты отнял у меня энергию, спокойствие, мало того, ты разрушил мое семейное счастие... Ведь как бы то ни было, вот ты находишь, что глупо там, но ведь как бы то ни было, да жил

же я до сих пор, делал дело, ну, глупое дело, по-твоему, да я по крайней мере знал, что я тружусь, что я не даром небо копчу... а ты тут с этими своими разговорами... и еще вдобавок я же виноват во всем. Вот это мило!

Щетинин бегал по комнате и сильно размахивал руками.

— Да кто тебя винит? Успокойся, сделай милость,— сказал Рязанов, тоже вставая с дивана.— Разве тут может быть кто-нибудь виноват?

— Так что же это, по-твоему, судьба, стало быть, такая?

— Судьба не судьба, а во всяком случае вещь неизбежная. Рано или поздно, а это должно было случиться.

— Не будь этих разговоров, ничего бы и не было.

— Что ж, разговоры? Ты думаешь, это и бог знает что — разговоры?

— Еще бы! Если целый день, с утра до ночи в уши дудят: то не так, другое не так... женщина молодая, неопытная, понятно, что должна была увлечься.

— Однако ты вот не увлекся же.

— Я! я совсем другое дело.

— В том-то и штука. Тут сила, брат, не во мне. Не со мной, так с другим, не с другим, так с бабой с какой-нибудь поговорила бы по душе, все то же бы вышло. Не теперь, так через год, а уехала бы все равно. Вот разве совсем запретить разговаривать, ...да впрочем, и то надо принять в расчет, что книжки такие есть. И без разговору всю эту штуку поймет. Ничего не поделаешь.

Щетинин задумался.

— И напрасно это ты только стараешься найти виноватого,— прибавил Рязанов,— я уж об этом думал: тут, брат, как ни кинь, все клин.

— Да за что же, наконец, за что? — снова оживляясь, заговорил Щетинин,— что я такое сделал против нее? Ведь нужно же все-таки хоть какое-нибудь основание. Не тряпка же я в самом деле, чтобы мною помыкать: то люблю, то не люблю.

— Основание тут, брат, жизнь. Жить хочет женщина; а мы с тобой так только, в качестве благородных свидетелей, участвуем в этом деле. И роли-то наши самые пустые: ты ей нужен был для того, чтобы освободиться от матери, я ее от тебя освободил, а от меня уж она сама освободилась; теперь ей никто не нужен,— сама себе госпожа.

Щетинин стоял у окна и водил пальцем по стеклу.

— Стало быть, ты с нею не едешь? — тихо спросил он наконец.

— Я тебе сказал уж, что еду один и притом совсем в другую сторону.

— Хм,— размышлял Щетинин,— так это совсем другой разговор выходит.

— Разговор тут самый короткий,— заметил Рязанов,— «спящий в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий!»

— Что ж, не умирать же в самом деле?

— Умирай не умирай, это как ты хочешь, а на жизненном пиру тоже мы с тобой не очень раскутимся. Места-то наши там заняты давно.

— Ну, нет, брат, шалишь! Я еще жить хочу. Я так дешево не расстанусь. Не удалось семейное счастие, ну, что ж делать, попытаем что-нибудь другое. Жизнь еще впереди. Что ж, мне тридцать лет всего. Эка штука!

Рязанов молчал.

— А я вот тут с горя-то,— продолжал Щетинин, значительно понизив тон,— книжонка тут одна мне попалась, я и стал ее перелистывать от нечего делать...

— Да.

— Ничего. Книга дельная.

— Ну, и что же?

— Да я нахожу, что автор совершенно прав: он говорит, что без капитала никакое серьезное, прочное дело невозможно.

— Так.

— Что, говорит, прежде всего необходимо сосредоточить большие денежные средства, а потом уж, как деньги у тебя в руках, тогда что хочешь делай... какие хочешь там перевороты...

— Да. Ну, а тебе-то какое же дело?

— А такое, что эта книга наводит меня на совершенно новые предположения; она мне показала, что еще не все потеряно. По правде тебе сказать, я на тебя совсем и не сержусь. Что сделано, того уж не воротишь. Но сидеть сложа руки и плакаться на судьбу я тоже не могу; мне нужно дело, нужно занятие, и я придумал такое дело.

— Любопытно.

— Да, брат, будет и на нашей улице праздник; авось бог даст и мне порадеть на пользу общую. Дай срок мне только разбогатеть, а с деньгами мы все эти дела обработаем.

— Давай бог.

Щетинин почти повеселел: измятое лицо его оживилось; он начал ходить по комнате и, задумчиво улыбаясь, поглаживал себя по голове, потом вдруг остановился.

— Да! Что ж я? Ведь ты едешь. Я и забыл. Закусить что-нибудь?

— Я не хочу.

— Да нельзя, братец. Хоть мы с тобой и соперники в некотором роде,— шутя говорил Щетинин,— а проводы все-таки следует справить по чину; по крайней мере бутылочку распить.

Он приказал подать вина.

— Так-то, брат,— уже совсем повеселев, сказал Щетинин и хлопнул Рязанова по коленке.— Вот осень подходит, стану хлеб скупать, а к весне овец заведу. Главная вещь — денег сколотить как можно больше, а там... Вот тогда я погляжу, что ты скажешь, по-гля-жу.

— Я все равно и теперь могу сказать.

— Что же такое?

— Старую ты песню поешь: «разбогатею, а потом начну благодетельствовать человечеству».

— Да если и старая, так что ж тут дурного? Ведь я тебе говорю же, куда я употреблю эти деньги.

— Понимаю. Цель-то, положим, что и хорошая, да средство это такое...

— Чем же? Деньги — это сила.

— Сила-то, она, конечно, сила, да только вот что худо,— что пока ты приобретешь ее, так до тех пор ты так успеешь насолить человечеству, что после всех твоих богатств не хватит на то, чтоб расплатиться. Да главное, что и расплачиваться будет как-то уж неловко: желание приобретать войдет в привычку, так что эти деньги нужно будет уж силою отнимать у тебя.

— Зачем ты непременно везде и во всем видишь зло? А разве не могу я честным образом?

— М,— трудно. Впрочем, мне один знакомый протодиакон рассказывал,— был случай, что одна благочестивая девица и невинность соблюла и капитал приобрела. Да, бывают такие случаи, но редко.

Лакей принес на подносе бутылку рейнвейну и два стакана.

— Тебя послушать,— говорил Щетинин, наливая в стаканы вино,— так в самом деле только и остается, что камень

на шею да в воду. Давай-ка выпьем мы с тобой, дело-то вернее будет.

— Это, конечно, верней,— заметил Рязанов и чокнулся со Щетининым.— Но овец-то ты все-таки ведь заведешь?

— Заведу, брат; это уж ты меня извини!

— Ну, да. И хлебом барышничать все-таки будешь?

— Буду, брат; что делать? — Буду. Нельзя, потому наше дело торговое, в убыток продавать не приходится.

— Разумеется. Так ты не слушай! Мало ли что говорится, всего не переслушаешь. Однако мне пора. Вон и лошадей уж привели.

Щетинин взглянул в окно: на дворе, у флигеля, стояла телега, запряженная парою шершавых крестьянских лошаденок; на козлах сидел мужик.

— Да куда же ты стремишься-то, однако? а? — спросил Щетинин.— В какие страны?

— А сие нам доподлинно неизвестно,— улыбаясь, ответил Рязанов.— Ну, прощай же!

— Прощай, брат, прощай,— как-то задумчиво и вместе нараспев протянул Щетинин, пожимая ему руку.— А знаешь ли, что я тебе скажу? Вот хочешь ты мне веришь, хочешь нет; а ведь мне, ей-богу, жаль тебя, то есть душевно жаль. Честное слово.

— Верю,— тихо сказал Рязанов и стал завязывать носовым платком себе шею.

— И что бы я взял теперь вот эдак мыкаться по белу свету,— рассуждал между тем Щетинин, заложив руки в карманы и покачиваясь из стороны в сторону,— то есть кажется, осыпь меня золотом, чтобы я согласился,— да ни за что! Без приюта, без пристанища, ничего назади, ничего впереди...

— До свиданья,— отрывисто сказал Рязанов и вышел. Проходя через переднюю, он заглянул в залу и увидел Марью Николавну; она стояла в дверях, прислонившись к косяку, и, по-видимому, ждала его. Он подошел к ней.

— Я хотела с вами проститься,— сказала она, отходя от двери и приглашая его войти в залу.

— И я тоже хотел,— отряхнув фуражку, сказал Рязанов.

Он взглянул ей в лицо: оно было совершенно спокойно, даже как будто немного торжественно и напоминало то выражение, какое было на нем три месяца тому назад, когда Рязанов только что приехал в деревню.

— Мы с вами,— начала она,— столько говорили все лето, что...

— Все уж переговорили,— подсказал Рязанов.

— Нет, еще не все,— сухо заметила она.— Так как говорили больше вы, а я все только слушала, то теперь ваша очередь выслушать, что я вам скажу.

— Слушаю-с,— наклоняя голову, сказал Рязанов.

— Я хотела... во-первых, я хотела поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, и, кроме того, еще за вчерашний разговор.

Рязанов стоял перед нею, наклонив голову, опустив глаза, и слушал.

— За это объяснение я особенно вам благодарна.

На слове *особенно* она сделала ударение.

— Этим объяснением вы предостерегли меня от очень важной ошибки. В эту ночь я пережила душевный кризис, но теперь я уж совсем здорова. Вы помогли мне в этом. Вы, может быть, и сами не знали, какую оказали мне услугу. Но я вам должна сказать еще одну вещь, которая, вероятно, вас очень удивит. Слушайте! Все наши рассуждения, все, все решительно я помню, я не забыла ничего; каждое ваше слово я помню и знаю, что это так, что вы мне правду говорили...

— Да-с.

— Но, странное какое дело,— представьте, что сегодня я уж вам не верю; то есть я как-то вам именно не верю. Это вас удивит, конечно.

— Нет,— поднимая глаза, отвечал Рязанов.— Я знаю еще другой подобный случай, мне одна барыня вот тоже говорила: я, говорит, знаю, что земля кругла, но я этому не верю.

Марья Николавна закусила губы и торопливо заговорила:

— Ну, да; и я знаю, что у вас на это хватит остроумия, только вы напрасно трудитесь; на этот раз я говорю совсем серьезно.

— И я на этот раз так же серьезно отвечаю вам, что в моем сравненье нет ничего для вас обидного; напротив, это так и следует: не верьте никому и мне в том числе; тем лучше, меньше будет душевных кризисов, меньше ошибок.

— Нет, я на это не согласна.

— В таком случае как вам угодно, а я должен ехать, потому что пока мы здесь беседуем, один прилежный земледелец, приглашенный мною, чтобы довезти меня до города, потеряет много золотого времени.

— Ах, я вас не держу.

— Вы не имеете ничего больше сообщить мне?

— Н-ничего.

Марья Николавна покачала головой.

— Прощайте!

Она протянула ему руку. Рязанов еще раз мельком взглянул ей в лицо: оно было совершенно холодно.

— Прощайте, Иван Степаныч,— сказал Рязанов, входя во флигель.

— Куда вы? Едете? Ну, вот! Не ездите!

— Что ж делать, надо ехать.

— Эх, вы! А я было сбирался с вами за зайцами. А? Как бы закатились! Ну, так постойте же, я вам завяжу,— говорил он, вырывая у Рязанова узел.— Ничего вы не умеете.

Рязанов принялся застегивать чемодан.

— Да что в самом деле,— говорил Иван Степаныч,— я и сам погляжу, погляжу, да и тово... уеду тоже куда-нибудь, в Польшу,— вдруг решил он, поднимая узел.— А? Как вы думаете? отличная штука! Вы тоже в Польшу? Поезжайте, поезжайте! Вот там места-то, говорят.

— Да, места,— не слушая ответил Рязанов, нагнувшись над чемоданом.

Пока Рязанов с помощью Ивана Степаныча укладывал свои пожитки в телегу, ко флигелю подошла старая дьячиха и привела сына, одетого в заячий тулупчик. Она долго крестила его и, усадив в телегу, все еще кутала и прикрывала старым ситцевым одеялом; торопливо доставала из-за пазухи какие-то узелочки и, будто украдкой от кого-то, совала ему в карман; наконец сняла с себя платок и повязала ему шею.

Марья Николавна все время стояла у окна, и когда мужик задергал вожжами и замахал на лошадей хворостиной, она вздохнула; спустив голову, тихо и задумчиво прошла в свою комнату и стала укладываться в дорогу.



ПРИМЕЧАНИЯ

ПИСЬМА ОБ ОСТАШКОВЕ

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1862, № 5 и 1863 № 1—2; 4; 6.

Стр. 21. *Эльдорадо* (исп. el dorado — золотой, золоченый) — мифическая страна, богатая золотом, драгоценностями, которую испанские завоеватели искали на территории Латинской Америки. Здесь — иронически страна богатств, сказочных чудес.

Стр. 22. *Кринолин* — широкая юбка с вшитыми в нее обручами из стальных полос или китового уса, модная в середине XIX в.

Стр. 23. *Пинетти* Джузеппе — известный итальянский фокусник конца XVIII века, выступавший с «мыслящими» автоматами.

Стр. 26. *Драчены* — кушанье из запеченной смеси яиц, молока и муки или же тертого сырого картофеля.

Стр. 27. *...очень искусно сделаны ерши...*— Эти ерши заимствованы из герба г. Осташкова, в нижней части которого на голубом фоне изображены три серебряных ерша, символизировавшие рыбный промысел.

Термопилы (или Фермопилы) — узкий горный проход, соединяющий северный и центральный районы Греции. Во время греко-персидской войны (480 до н. э.) там произошло сражение спартанцев с персами, во время которого все спартанцы погибли.

Стр. 30. *Акростих* (греч.) — стихотворение, в котором начальные буквы стихов (строк) образуют слово или фразу (часто имя автора или адресата).

Стр. 30. *Чернять* — чернь, народ.

Стр. 32. *Трюфели* — земляные деликатесные грибы.

Анемия — малокровие.

Стр. 33. *...видеть сквозь видимый смех невидимые миру слезы.*— Цитата из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» (7-я глава).

Стр. 34. *«Московские ведомости»* — одна из старейших газет Москвы, выходившая в период с 1756 по 1917 г. С 1863 года (под редакцией М. Н. Каткова — см. ниже) носила ярко выраженный реакционный характер, вела ожесточенную борьбу против революционно-демократического лагеря.

Стр. 37. *Славься, славься, наш Осташков!..*— начальные слова торжественного гимна, написанного писателем И. И. Лажечниковым (1792—1869) в честь Осташкова.

Стр. 40. *Фельдфебель* — унтер-офицер в русской армии.

Чуйка — верхняя мужская суконная одежда в виде кафтана, распространенная в мещанской среде в XIX— начале XX вв.

Стр. 41. *Бурнус* — род старинной верхней женской одежды.

Клирос — возвышение по обеим сторонам алтаря, место для певчих в церкви во время богослужения.

Стр. 41. *Паникадило* — большая люстра или многогнездный подсвечник в церкви.

Арабески — сложный орнамент из геометрических фигур и стилизованных листьев, цветов и т. п.

Стр. 42. *...в гильдию записываются во избежание рекрутской повинности...* — Купечество было освобождено (с 1783 г.) от рекрутской повинности, за каждого рекрута в казну вносилось 500 рублей.

Стр. 43. *...есть... фабрика бумажная.* — Должно быть, имеется в виду бумагопрядильная фабрика Савиных, основанная в 1839 году.

Стр. 43. *Поднизи* — жемчужная или бисерная сетка, бахромка на женском головном наряде.

Стр. 44. *...как будто там какой-нибудь Любек, что-ли.* — Любек — один из трех ганзейских независимых городов, получивший с 1226 года политическую самостоятельность.

Стр. 45. *Королева Виктория* (1819—1901) — королева Великобритании с 1837 года.

Стр. 46. *Филятюрная* — бумагопрядильная.

Стр. 47. *Новоторы* — жители города Новый Торг.

Ливерпуль — крупный промышленный и торговый город в Великобритании.

Стр. 48. *...как же теперь согласить этот китаизм...* — Китаизм в представлении европейцев XIX века символизировал отсталость, отсутствие социального прогресса.

Стр. 49. *...не стукнуть ли нам...* — Речь идет о стукалке — азартной картежной игре. *Стучать* — здесь: играть в стукалку.

Стр. 50. *Киндер-бальзам* — лекарство от кашля для детей.

Стр. 53. *...из руководства Паульсона...* — Паульсон (1825—1898) — русский педагог, методист, автор «Книги для чтения и практических упражнений в русском языке» (1860).

Стр. 53. *Финикияне* — жители Финикии, древней страны на восточном побережье Средиземного моря.

Стр. 56. *Аспидная доска* — грифельная доска.

«Лягушка и вол» (1808) — басня И. А. Крылова.

Стр. 59. *Рекреация* — школьная перемена, перерыв между занятиями.

...перевод из Саллюстия... — Гай Саллюстий Крисп (86—35 до н. э.) — древнеримский историк, автор произведений «О заговоре Катилины», «Югуртинская война», «История».

Стр. 60. *Кацавейка* — верхняя теплая короткая одежда.

...Один ученик делал конструкцию в данном случае производил арифметическое сложение.

Стр. 61. *Анафема* — здесь: брань, проклятие.

Стр. 64. *Гергей* Артур (1818—1916) — командующий армией во время венгерской революции 1848—1849.

Стр. 70. *«...подлинная грамата Дмитрия Донского».* — О «подлинности»

грамоты В. А. Слепцов говорит иронически. Ведь краска алицарин (ализарин), которой написана эта Осташковская грамота, стала применяться только в XIX веке.

Стр. 70. *Нумизматика* — наука, изучающая историю монет и их чеканки

Стр. 78. *Аплике* посеребренная или покрытая тонким серебряным листом металлическая вещь (здесь — подсвечники).

Стр. 84. *Сиверко* — северный ветер.

Стр. 85. *Карамзин* Николай Михайлович (1766—1826) — писатель сентименталист, историк.

Стр. 92. *Благовест* — праздничный звон в один колокол.

Архимандрит настоятель монастыря.

Стр. 93. *Пустынь* — уединенная обитель, одинокое жилье, келья отшельника, уклонившегося от сует; нештатный монастырь.

Стр. 99. *Причетник* — низший церковнослужитель (дьячок, пономарь, звонарь).

Стр. 104. *...так называемое соглашение...*— Имеется в виду земельный договор между помещиком и крестьянами, заключение которого после реформы 1861 года входило в обязанности посредников.

Стр. 106. *...гг. Гречникова и Стременаева.*— К. Н. Гречников — бухгалтер Торгового дома Савиных; П. К. Стременаев — повар купца С. К. Савина. Оба подвизались на осташковской сцене.

Стр. 108. *Сладчайшее стихотворение Карамзина к Лизе.*— Речь идет о стихотворении Н. М. Карамзина «Выбор жениха» (1795).

Стр. 109. *Киприда* — в древнегреческой мифологии — одно из имен Афродиты, богини любви и красоты.

Стр. 110. *Изида* — в древнеегипетской мифологии богиня жизни и здоровья, покровительница плодородия и материнства.

Стр. 110. *Кабалистика* (точнее, каббалистика) — средневековое еврейское религиозно-мистическое учение, основанное на толковании библейских текстов Ветхого завета. В данном случае — гадание по различным знакам, знамениям, приметам, якобы имеющим магическую силу.

Стр. 112. *...сведения... почерпнуты... из Татищева, Карамзина, Пантеона российских государей, Зерцала российских государей...* Имеются в виду издания: Татищев В. Н., М., 1768—1848, История российская с самых древнейших времен; Карамзин Н. М., 1816—1829, История Государства Российского; Мальгин Т., Зерцало российских государей, изображающее от рождества Христова с 862 по 1787 год высокое их родословие, союзы, потомство, время жизни, царствования и кончины, место погребения и вкратце деяния, с достопамятными происшествиями, по достоверным российским бытоописаниям. СПб., 1791.; Филиповский Е., Пантеон российских государей, или Краткое историческое и хронологическое описание жизни и деяний великих российских царей, императоров. М., 1805—1807.

Стр. 113. *волостель* — властитель, правительственное лицо, стоящее во главе области.

Стр. 113. *тиун* - судья низшей степени, управитель

Стр. 114. *Мыт* — сбор за перевоз через реку или волок в Древней Руси. Позднее так назывались пошлины за проезд.

Стр. 117. *Юдифь и Олоферн.*— Имеется в виду библейский сюжет о молодой и красивой еврейке Юдифи, которая, добившись притворными ласками доверия ассирийского военачальника Олоферна, осадившего еврейский город Ветилую, отсекла ему голову его же мечом.

Стр. 117. *Это сам художничек-то и был, К[олокольнико]в.*— Колокольников (1803—1867) иконописец, неклассный художник Петербургской академии художеств. Был близок к театру Осташкова.

Стр. 118. *...комедию Потехина...*— Потехин Алексей Антипович (1829—1908) — романист и драматург, автор пьес «Мишура», «Шуба овечья — душа человечья» и др.

Стр. 122. *...Катерина (г-жа П[етр]ова)...*— Речь идет об актрисе Запутряевой, на сцене — Петровой.

Стр. 123. *Вот этот, что «Степана» играл, ...этот библиотекарь.*— Имеется в виду Нечкин, заведующий осташковской библиотекой, который, по свидетельствам современников, был даровитым актером.

Из стихотворения Н. А. Некрасова «Памяти Асенковой» (1853).

Стр. 130. *Эпитафия* (греч.) — надгробная надпись; короткое стихотворение, посвященное умершему.

СПЕВКА

Впервые напечатан в журнале «Отечественные записки» (1862, № 9) с цензурными сокращениями.

Стр. 137. *Регент* руководитель церковного хора.

Берюзовский (Березовский) Максим Созонтович (1745—1777) — композитор, создатель нового типа хорового концерта, автор многих произведений для церковного хора.

Стр. 143. *Клирос* — см. примечание на стр. 41.

Налой (аналой) — высокий столик с покатой крышкой, на который во время богослужения кладут иконы и церковные книги.

Стр. 146. *Партец* (или партес) — многоголосое хоровое пение.

Стр. 147. *Сартиевская штучка* — концерт для церковного хора итальянского композитора Джузеппе Сарти (1729—1802).

Стр. 149. *Капернаум* — город в древней Галилее, где, по преданию, Иисус Христос превращал воду в вино. В семинарском быту — «кабак».

ПИТОМКА

Впервые опубликовано в журнале «Современник» (1863, № 7).

Стр. 153. *Ёрник* — озорник, беспутный человек.

Стр. 157. *Незомь* — пусть.

Стр. 163. *Слеги* — перекладины, жерди, на которые кладут крышу.

НОЧЛЕГ

Впервые опубликовано в журнале «Современник» (1863, № 11).

Стр. 168. *Пишкавой* — пеший.

Стр. 169. *Семитка* — двухкопеечная монета.

Стр. 173. *В желтые ворота меня и послал* — то есть обругал, назвав сумасшедшим. Желтые ворота, желтый дом — от желтой окраски Обуховской психиатрической больницы в Петербурге.

Стр. 175. *Гашник* — веревка, ремень для штанов.

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

Впервые опубликовано в журнале «Современник» (1866, № 4; 5; 7; 8).

Во всех дореволюционных изданиях повесть «Трудное время» печаталась с большими цензурными искажениями. И только после того как были найдены экземпляр повести, изданный в 1866 году, с поправками, сделанными самим Слепцовым, а также рукопись «Трудного времени», К. И. Чуковский восстановил подлинный текст произведения. Он же сумел расшифровать многие места повести, написанные эзоповским языком, объяснить те иносказания и намеки, которых немало встречается на страницах «Трудного времени».

Стр. 182. *Кутейник* — шуточное прозвание церковнослужителей.

...*Волостное правление* — орган местного крестьянского самоуправления, в состав которого входили волостной старшина, сельские старосты и другие должностные выборные лица.

Стр. 184. *Коник* — прилавок, ларь для спанья.

Стр. 186. *«Московские ведомости»* — см. примечание на стр. 34.

...*«Северная почта»* — газета Министерства внутренних дел, выходила в Петербурге (1862—1868), отстаивала и защищала политику правительства, вела борьбу с прогрессивной журналистикой.

...*«Ленор»* («Le Nord» — «Север») — бельгийская газета, издававшаяся на деньги русского правительства.

...*«Ледеба»* («Les Debats» — «Дебаты») — французская газета, издававшаяся в Париже.

...*Мировой съезд* — съезд мировых посредников под председательством предводителя уездного (или губернского) дворянства. Мировые посредники — должностные лица, которые после реформы 1861 года должны были улаживать отношения между освобожденными от крепостной зависимости крестьянами и их бывшими владельцами — помещиками.

Стр. 191. *Уставная грамота* — документ, определявший взаимоотношения помещиков и освобожденных крестьян, устанавливавший размер земельного надела и повинности за их пользование.

Стр. 191. *Dona ferentes* (лат.) — «Тех, кто приносит дары». Цитата из II песни поэмы Вергилия «Энеида», где рассказывается о том, что вероломные данайцы подарили жителям осажденной Трои деревянного коня, внутри которого были спрятаны воины.

В данном случае речь идет о «гуманных» и «щедрых» помещиках, в бескорыстие которых не верят крестьяне.

Стр. 193. *Мериленд* (Мэриленд) — один из штатов Северной Америки. Во время гражданской войны в США (1861—1865) находился в сфере военных действий.

Стр. 199. *Подушные* — подушная подать. В России XVIII—XIX вв. основной прямой налог. Облагались все мужчины податных сословий независимо от возраста. Отменена в 80—90-х гг. XIX в.

Стр. 201. *Выкупные операции.*— «Освободив» крестьян, правительство Александра II заставило их выкупать земельные участки у помещиков.

Стр. 202. *Ныне добродетель должна униженно молить порок, чтоб он позволил ей...*— неточная цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (действие III, сцена IV, перевод А. И. Кроненберга). У Шекспира:

В наш злой, развратный век и добродетель
Должна просить прощенья у порока,
Да, ползать и молить, чтоб он позволил ей
Творить ему добро.

Стр. 204. *...уверенность в невидимом, как бы в видимом...*— Иронически цитируется катехизис православной церкви: «Что есть вера? Вера есть уверенность в невидимом...» и т. д.

Стр. 207. *Становой* — становой пристав. Полицейское должностное лицо, заведовавшее станом, то есть административно-полицейским округом, состоящим из нескольких волостей.

Стр. 211. *...невесты не нашли?* — По церковному уставу, окончивший семинарию, перед тем как «посвятиться в попы», должен был жениться.

Стр. 216. *...о жестоковыйных-то что сказано?* — В библии о «жестоковыйных» сказано: «И накормлю их плотию сыновей их, плотию дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего» (Иеремия, XIX, с. 6—15).

Стр. 217. *Траспор* — правильно: транспорт — бухгалтерский термин, означающий перенос итога с одной страницы на другую.

...Грант Улисс Симпсон (1822—1885) — американский генерал, главнокомандующий армией Севера во время гражданской войны в США (1861—1865), боролся за объединение нации и уничтожение рабства. *Мид* — генерал армии северян. *Ли* Роберт Эдуард (1807—1870) — американский генерал, главнокомандующий армией южан во время гражданской войны в США. Был разбит при Геттисберге (1863). Излагаемые здесь события относятся к маю — июню 1863 г.

Стр. 218. *Жонд* народовы — центральный коллегиальный орган повстанческой власти в ходе польского восстания 1863—1864 гг.

Стр. 218. *Гмина* — крестьянская община в Польше.

Войт — глава крестьянской общины в Польше. *Солтыс* — помощник войта, наделенный административно-полицейскими функциями. Царское правительство требовало упразднения гмин и настаивало на замене войтов и солтысов царскими урядниками.

Стр. 225. *Исправник* — начальник уездной полиции.

Стр. 226. *Дрожки* — легкий открытый рессорный экипаж на 1—2 человек.

Стр. 227. *Сотский* — выборное (обычно от ста дворов) должностное лицо для выполнения общественных, а также полицейских обязанностей.

Стр. 227. *...временно обязанную.*— После реформы 1861 года крестьяне обязаны были в течение двух лет работать на прежних своих помещиков, то есть до того времени, пока были составлены уставные грамоты, определявшие их земельные права.

Стр. 230. *Земство* (земские учреждения) — выборные органы местного самоуправления (земские собрания, земские управы).

Стр. 232. *Поджигателей поймали.*— В Петербурге и в других городах в 1862 году были большие пожары, виновниками которых реакция объявила представителей революционного лагеря.

...телеграмму посылать будут? — Речь идет о приветствии М. Н. Муравьеву (1796—1866), который за необычайную жестокость при подавлении польского восстания 1863 года прозван «вешателем».

Стр. 234. *«Век юный, прелестный, друзья, пролетит...»* — первая строка из «Песни» Н. М. Коншина (1793—1859), поэта-романтика, автора многих повестей и исторических произведений.

...Аксиос (греч.) — достойный. В православной церкви при посвящении в сан священника церковный хор многократно повторяет это слово, которое означает, что посвящаемый достоин своего сана.

Стр. 240. *Пяничка* — местное название земляники.

Стр. 244. *Бочка́, значит, в наград.*— Бочка́ — ножки, которые вставляются в пазы, сделанные специальной пилой — наградкой.

Стр. 247. *...кокапцев разбили...*— Речь идет об одной из операций русских войск против Кокандского ханства.

Стр. 251. *«Библиотека для чтения» 45 года* — ежемесячный журнал, издавался в Петербурге (1834—1865), рассчитан был на мелкопоместное дворянство, городское мещанство и чиновничество. В 40-е годы занимал откровенно реакционные позиции, выступал против В. Г. Белинского и «натуральной школы».

... «Отечественные записки» 52-го — ежемесячный литературно-политический журнал, издавался в Петербурге с 1839 года под редакцией А. А. Краевского. В начале 50-х годов занимал умеренно-либеральные позиции.

Стр. 252. *великая х[артия] в[ольностей]* — грамота, подписанная в 1215 году королем Англии Иоанном Безземельным, которая ограничивала

власть короля и предоставляла некоторые привилегии рыцарству и верхушке свободного крестьянства. В данном случае упоминается в ироническом смысле.

Стр. 257 *Аристид* (ок. 540—ок. 467 до н. э.) — афинский полководец.

Стр. 258. *«...Персия, уж на что, кажется, пошлое государство, а даже и там.. бабы взбунтовались».*— Невежда Иван Степанович называет «бабами» представителей секты бабистов (по имени ее основателя Баба, а точнее, Али-Мухаммеда (1820—1850), которые в начале 1850-х годов подняли восстание против персидских (иранских) феодалов.

Стр. 260. *Соломон* — царь Израильско-Иудейского царства (965—928 до н. э.). Согласно библейской традиции, славился необычайной мудростью.

Стр. 266. *Вот скоро новые суды будут.*— Имеется в виду судебная реформа 1864 г.

...Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости». Выступал с реакционных позиций против реформ 1863—1865 годов.

Стр. 268. *Нанковый пиджак* — пиджак из плотной хлопчатобумажной ткани.

Стр. 271. *Вон они, пожары-то!* — Речь идет о петербургских пожарах 1862 г.

Стр. 272. *Кантонист* — учащийся военно-учебного заведения низшего разряда для солдатских детей.

Стр. 280. *Манифест об освобождении.*— Речь идет о манифесте 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян.

Стр. 285. *Дармштадтский марш* — ироническое название государственного гимна России. Родственники царя (со стороны жены) были выходцами из немецкого города Дармштадта.

Стр. 286. *Саваоф* — одно из ветхозаветных имен бога.

Стр. 289. *...усмирение идет успешно...*— Речь идет о подавлении польского восстания (1863—1864) против царизма.

...Наполеон опять имел с Бисмарком дружеское шептание.— Речь идет о переговорах между французским императором Наполеоном III (1808—1873) и прусским канцлером Бисмарком (1815—1898).

Стр. 290. *Скверный какой нынче сургуч стали делать.*— Намек на то, что полиция перлюстрировала письма лиц, находившихся на подозрении.

Стр. 292. *Преосвященный* — архиерей, епископ.

Стр. 293. *Благочинный* — здесь священник, под надзором которого находится несколько церквей и приходов.

Стр. 294. *Презорство* — высокомерие, гордость, надменность.

...Квоускве тандем, Катилина...— первые слова речи римского политического деятеля, оратора и писателя Марка Туллия Цицерона (106—43 до н. э.), обращенной к своему врагу Катилине (ок. 108—62 до н. э.): «До каких пор, Катилина, будешь ты испытывать наше терпение?»

Стр. 294. ...*«Не пожелай!..»* — первые слова библейской заповеди: «Не пожелай жены ближнего своего...»

...*И прииде Самсон в Газу...*— Имеется в виду предание о посещении героем ветхозаветных преданий Самсоном дома блудницы в Газе.

Стр. 302. *Да еще ведомости одолжите, когда прочтете.*— Речь идет о газете «Московские ведомости» (см. выше).

Стр. 309. *Кошанский* Николай Федорович (1781—1831) — профессор русской и латинской словесности, автор учебника «Общая реторика»

Стр. 318. *Скунсовая аккурат будет* — то есть похожая на шапку из скунса (семейство куньих), животного, обитающего в Америке.

Стр. 321. *«Спящий в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий!»* цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Торжество победителей» (1828).

Стр. 325. *Вы тоже в Польшу?* — После разгрома польского восстания 1863 года царское правительство стремилось насадить в польские учреждения русских чиновников.

СОДЕРЖАНИЕ

Василий Алексеевич Слепцов

ПРОЗА

Редактор Т. М. Мугуев
Художественный редактор Г. Б. Шотина
Технический редактор И. И. Павлова
Корректор Н. В. Бокша

ИБ № 4398

Сдано в набор 10.10.85. Подп. в печать 24.03.86. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2, (на вкл.— мелов.). Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 17,75 (в т. ч. вкл.— 0,11). Усл. кр.-отт. 18,17. Уч.-изд. л. 19,20 (в т. ч. вкл.— 0,05). Тираж 300 000 экз. Заказ № 399. Цена 1 р. 90 к. Изд. инд. ЛХ-66.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Отпечатано с фотополимерных печатных форм «Целлофот»